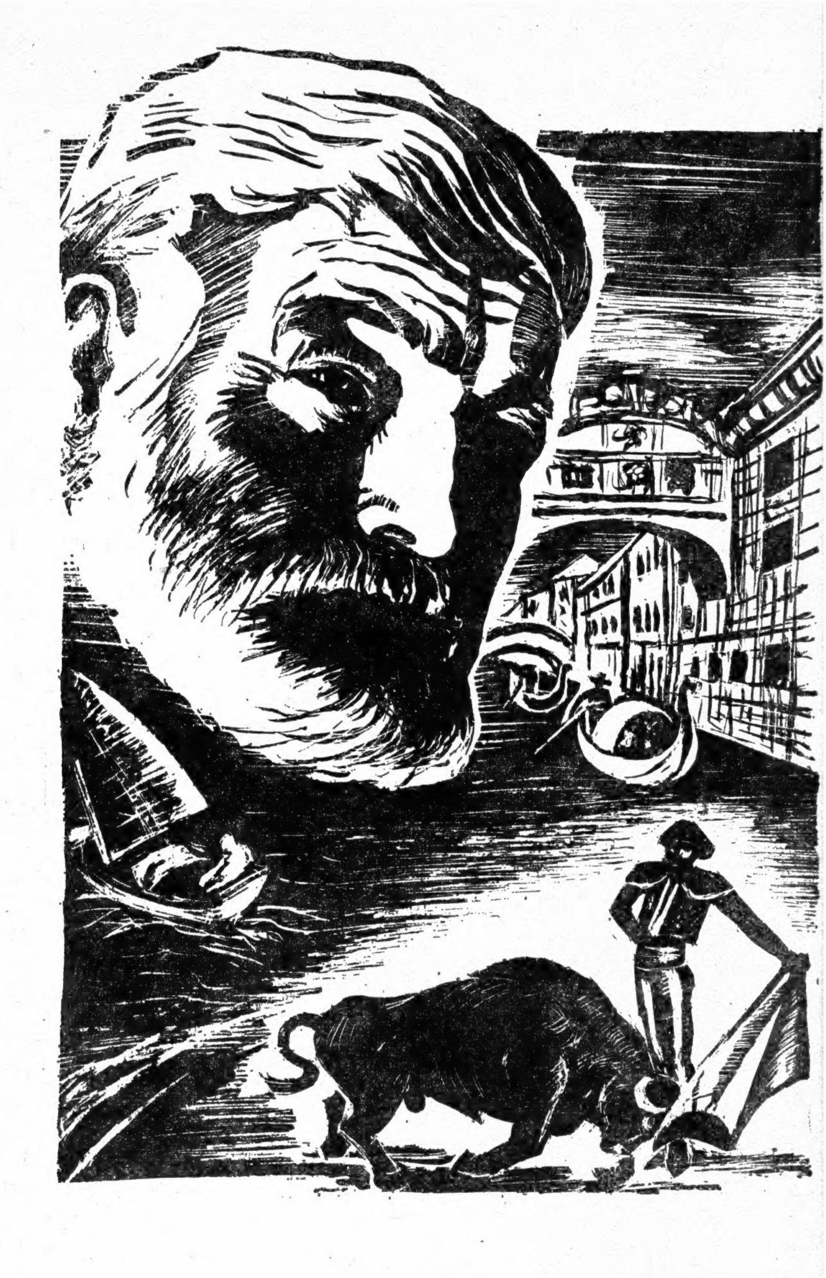
Эрнест Хемингуэй

ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ







Эрнест Хемингуэй



РОМАНЫ

Перевод с английского

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1986

84.7—44
Х—37

Текст печатается по изданию:
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ. Собр. соч. в 4-томах.
М., «Художественная литература», 1981.

Хемингуэй Эрнест.
Х—37 За рекой, в тени деревьев: Романы/Пер. с английского.— Алма-Ата: Жазушы, 1986.— 384 с., портр., ил.

В книгу американского писателя Э. Хемингуэя вошли известные его романы: «И восходит солнце» и «За рекой, в тени деревьев».

Х $\frac{4703000000-107}{402(05)-86}$ 222—86 84.7—44

И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ

(Фиеста)

РОМАН



«Все вы — потерянное поколение».

Гертруда Стайн (в разговоре).

«Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».

Экклезиаст

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа[1] в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило очень много. Он не имел склонности к боксу, напротив — бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему, как к еврею, относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, но нрава он был тихого и кроткого и никогда не дрался, кроме как в спортивном зале. Он был лучшим учеником Спайдера Келли. Спайдер Келли обучал всех своих учеников приемам боксеров веса пера, независимо от того, весили ли они сто пять, или двести пять фунтов. Но для Кона, по-видимому, это казалось то, что нужно. Он и в самом деле был очень ловок. Он так хорошо боксировал, что удостоился встречи со Спайдером, во время которой тот нокаутировал его и раз навсегда сплющил ему нос. Это усугубило нелюбовь Кона к боксу, но все же дало ему какое-то странное удовлетворение и, несомненно, улучшило форму его носа. В последний год своего пребывания в Принстоне он слишком много читал и начал носить очки. Никто из его однокурсников не помнил его. Они даже не помнили, что он был чемпионом бокса в среднем весе.

[1] Принстонский колледж — привилегированное высшее учебное заведение в США.

Я отношусь с недоверием ко всем откровенным и чистосердечным людям, в особенности когда их рассказы о себе правдоподобны, и я долгое время подозревал, что Роберт Кон никогда не был чемпионом бокса,— просто на лицо ему наступила лошадь, а может быть, мать его испугалась, или загляделась, или он в детстве налетел на что-нибудь; но в конце концов мне удалось навести справки у Спайдера Келли. Спайдер Келли не только помнил Кона — он часто думал о том, что с ним сталось.

Роберт Кон со стороны отца принадлежал к одному из самых богатых еврейских семейств в Нью-Йорке, а со стороны матери — к одному из самых старинных. В военном училище, где он готовился к поступлению в Принстонский колледж и занимал почетное место в футбольной команде, ничто не напоминало ему о расовых предрассудках. Никто ни разу не дал ему почувствовать, что он еврей, пока он не приехал в Принстон. Он был славный малый, добродушный и очень застенчивый, но такое отношение озлобило его. В отместку он выучился боксу и вышел из Принстона болезненно самолюбивым, со сплющенным носом, и первая девушка, которая обошлась с ним ласково, женила его на себе. Он прожил с женой пять лет, имел от нее троих детей, потерял почти все состояние в пятьдесят тысяч долларов, полученное в наследство от отца,— остальное имущество перешло к матери,— и под влиянием постоянных ссор с богатой женой превратился в довольно угрюмого субъекта; и вот в тот самый момент, когда он решил бросить жену, она сама бросила его, сбежав с художником-миниатюристом. Так как он чуть ли не полгода собирался бросить жену и только потому не мог на это отважиться, что лишить ее своей особы было бы слишком жестоко, то ее отъезд послужил ему весьма полезным уроком.

Развод состоялся, и Роберт Кон уехал на Западное побережье. В Калифорнии он попал в литературную среду, и поскольку у него кое-что оставалось от пятидесяти тысяч, он вскоре стал финансировать художественный журнал. Журнал начал выходить в Кармеле, штат Калифорния, и кончил свое существование в Провинстауне, штат Массачузетс. К этому времени Кон, на которого прежде смотрели лишь как на доброго ангела и чье имя фигурировало на титульном листе только в списке членов редакционного совета, стал единственным

редактором журнала. Журнал как-никак выходил на его деньги, и он обнаружил, что положение редактора ему нравится. Он очень горевал, когда издание журнала стало слишком дорогим удовольствием и ему пришлось от него отказаться.

Впрочем, к тому времени у него появились другие заботы. Его успела прибрать к рукам некая особа, которая надеялась возвыситься вместе с журналом. Это была весьма энергичная женщина, а прибрать Кона к рукам ничего не стоило. Кроме того, он был уверен, что любит ее. Когда она увидела, что рассчитывать на успех журнала не приходится, она слегка охладела к Кону и решила, что нужно воспользоваться чем можно, пока еще есть чем пользоваться, и настояла на поездке в Европу, где она когда-то воспитывалась и где Кон должен был стать писателем. Они уехали в Европу и пробыли там три года. За эти три года,— первый они провели в путешествиях, а два последние в Париже,— Роберт Кон приобрел двух друзей — Брэддокса и меня. Брэддокс был его литературным другом. Я был его другом по теннису.

Особа, завладевшая Робертом (звали ее Фрэнсис), к концу второго года спохватилась, что красота ее на ущербе, и беспечность, с которой она распоряжалась им и эксплуатировала его, сменилась твердым решением выйти за него замуж. В это время мать Роберта стала выдавать ему около трехсот долларов в месяц. Не думаю, чтобы за последние два с половиной года Роберт хоть раз взглянул на другую женщину. Он был почти счастлив, если не считать того, что он, подобно многим американцам, живущим в Европе, предпочел бы жить в Америке; и вдобавок он открыл в себе призвание писателя. Он написал роман, и этот роман вовсе не был так плох, как утверждали критики, хотя это был очень слабый роман. Он много читал, играл в бридж, играл в теннис и занимался боксом в одном из парижских спортивных залов.

Впервые я понял позицию, занятую Фрэнсис по отношению к нему, в тот вечер, когда я с ними обедал. Мы пообедали в ресторане Лавеню, а потом пошли пить кофе в кафе де Версаль. После кофе мы выпили по нескольку рюмок коньяку, и я сказал, что мне пора уходить. За обедом Кон звал меня уехать вместе с ним куда-нибудь на воскресенье. Ему хотелось вырваться из города и хорошенько размять ноги. Я предложил лететь

в Страсбург и оттуда отправиться пешком в Сент-Одиль или еще куда-нибудь по Эльзасу.

— В Страсбурге у меня есть знакомая, она покажет нам город,— сказал я.

Кто-то толкнул меня ногой под столом. Я думал, что это случайно, и продолжал:

— Она живет там уже два года и знает все, что́ нужно посмотреть в Страсбурге. Очень милая девушка.

Я снова почувствовал толчок под столом и, подняв глаза, увидел выставленный вперед подбородок и застывшее лицо Фрэнсис, подруги Роберта.

— А, впрочем,— сказал я,— зачем непременно в Страсбург? Мы можем поехать в Брюгге или в Арденны.

Кон облегченно вздохнул. Больше меня не толкали. Я пожелал им спокойной ночи и вышел. Кон сказал, что хочет купить газету и дойдет со мной до угла.

— Ради всего святого,— сказал он,— зачем вы заговорили об этой девушке в Страсбурге? Разве вы не видели лицо Фрэнсис?

— Нет. А зачем мне его видеть? Если у меня в Страсбурге есть знакомая американка, какое Фрэнсис до этого дело?

— Все равно. Чья бы ни была знакомая. Я не смог бы поехать, вот и все.

— Что за глупости.

— Вы не знаете Фрэнсис. Любая девушка, безразлично кто. Разве вы не видели, какое у нее было лицо?

— Ладно,— сказал я,— поедем в Санлис.

— Не сердитесь.

— Я не сержусь. Санлис — прекрасное место; мы можем остановиться в Большом Олене, походить по лесам и вернуться домой.

— Отлично. Это будет замечательно.

— Так завтра на теннисе,— сказал я.

— Спокойной ночи, Джейк,— сказал он и пошел обратно в кафе.

— Вы забыли купить газету,— сказал я.

— Ах да.— Он дошел со мной до киоска на углу.— Вы ведь не сердитесь, Джейк?— сказал он, поворачивая назад с газетой в руках.

— Нет, чего ради мне сердиться?

— Увидимся на корте,— сказал он и пошел с газетой обратно в кафе. Я смотрел ему вслед. Он нравился мне, а жилось ему с ней, очевидно, не сладко.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимой Роберт Кон ездил в Америку со своим романом и пристроил его в довольно крупное издательство. Я слышал, что из-за этой поездки между ним и Фрэнсис произошла жестокая ссора, и тут-то, вероятно, она и потеряла его, потому что в Нью-Йорке женщины ухаживали за ним, и он вернулся в Париж совсем другим человеком. Он пуще прежнего восторгался Америкой и уже не был ни таким чистосердечным, ни таким славным. Издательство расхвалило его роман, и это вскружило ему голову. Кроме того, несколько женщин явно дарили его своим вниманием, и перед ним открылись новые горизонты. Целых четыре года его кругозор был ограничен собственной женой. Три года, или около того, он ничего дальше Фрэнсис не видел. Я уверен, что он ни разу в жизни не был влюблен.

Женитьба послужила ему утешением после тягостных лет, проведенных в колледже, а Фрэнсис утешила его после сделанного им открытия, что он был всем на свете для своей первой жены. Сейчас он еще не был влюблен, но уже понимал, что представляет некую привлекательную величину для женщин и что, если женщина любит его и хочет с ним жить,— в этом нет никакого чуда. Под влиянием этой мысли он так изменился, что его общество уже не доставляло мне прежнего удовольствия. Кроме того, играя в бридж по крупной со своими нью-йоркскими знакомыми и делая ставки выше своих средств, он сумел выиграть несколько сот долларов. Поэтому он возомнил себя первоклассным игроком и не раз говорил, что в случае необходимости можно отлично прокормиться игрой в бридж.

Но это еще не все: он начитался У. Хадзона. Занятие как будто невинное, но Кон прочел и перечел «Пурпуровую страну». «Пурпуровая страна»— книга роковая, если читать ее в слишком зрелом возрасте. Она повествует о роскошных любовных похождениях безупречного английского джентльмена в сугубо романтической стране, природа которой описана очень хорошо. В тридцать четыре года пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни так же небезопасно, как в этом же возрасте явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы, вооруженным серией брошюр «От чистильщика сапог до миллионера». Я уверен, что Кон принял каждое слово «Пурпуровой страны» так

же буквально, как если бы это был «Финансовый бюллетень». Понятно, он допускал оговорки, но, в общем, принял книгу всерьез. Только этого не хватало, чтобы «завести» его. Я не представлял себе, до какой степени он «заведен», пока однажды он не пришел ко мне в редакцию.

— Хэлло, Роберт!— сказал я.— Вы пришли развеселить меня?

— Хотите поехать в Южную Америку, Джейк?— спросил он.

— Нет.

— Почему?

— Не знаю. Никогда не испытывал желания. Слишком дорого. Да здесь, в Париже, сколько угодно южноамериканцев.

— Это не настоящие южноамериканцы.

— А по-моему, они даже слишком настоящие.

Я должен был срочно сдать на согласованный поезд корреспонденцию за всю неделю, а написана была только половина.

— Сплетен никаких не знаете?— спросил я.

— Нет.

— Никто из ваших высокопоставленных друзей не разводится?

— Нет. Послушайте, Джейк. Если я возьму на себя все расходы, вы поедете со мной в Южную Америку?

— На что я вам?

— Вы говорите по-испански. И вообще вдвоем веселей.

— Нет,— сказал я,— мне нравится в Париже, а летом я поеду в Испанию.

— Всю жизнь я мечтал о таком путешествии,— сказал Кон. Он сел.— Пока я соберусь, я уже буду слишком стар.

— Не дурите,— сказал я.— Вы можете поехать куда угодно, у вас куча денег.

— Знаю. Но я не могу собраться.

— Не огорчайтесь,— сказал я.— Все страны похожи на кинофильм.

Но мне было жаль его. Он не на шутку расстроился.

— Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, а я не живу по-настоящему.

— Никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров.

— Матадоры меня не интересуют: это ненормальная

жизнь. Я хочу поехать в глубь Южной Америки. Это было бы замечательное путешествие.

— А поохотиться в Британской восточной Африке вы не хотите?

— Нет, туда меня не тянет.

— В Африку я бы с вами поехал.

— Нет, это меня не интересует.

— Потому что вы ничего об этом не читали. Пойдите почитайте об амурах с лоснящейся черной красавицей.

— Я хочу в Южную Америку.

Была в нем эта черта — несокрушимое еврейское упрямство.

— Давайте сойдем вниз и выпьем чего-нибудь.

— А вы не заняты?

— Нет,— сказал я. Мы спустились вниз в кафе первого этажа. Я уже давно открыл, что это лучший способ выпроваживать посетителей. Выпив с приятелем, остается только сказать: «Ну, мне надо подняться наверх,— отправить телеграммы»,— и все. В газетном деле, этикет которого требует, чтобы никто никогда не видел тебя за работой, очень важно изобретать такие непринужденные уходы со сцены. Итак, мы спустились в бар и выпили виски с содовой. Кон поглядел на ящики с бутылками, стоявшими у стены.

— Здесь хорошо,— сказал он.

— Много выпивки,— поддакнул я.

— Послушайте, Джейк.— Он наклонился над стойкой.— У вас никогда не бывает такого чувства, что жизнь ваша проходит, а вы ею не пользуетесь? Вы думаете о том, что вы уже прожили около половины отпущенного вам срока?

— Иногда думаю.

— Вы знаете, что через каких-нибудь тридцать пять лет нас уже не будет?

— Да бросьте, Роберт,— сказал я.— Бросьте.

— Я говорю серьезно.

— Вот уж о чем я не тревожусь,— сказал я.

— Напрасно.

— У меня достаточно было о чем тревожиться в свое время. Хватит.

— А все-таки я хочу в Южную Америку.

— Послушайте, Роберт: ничего не изменится от того, что вы поедете в другую страну. Я все это испробо-

вал. Нельзя уйти от самого себя, переезжая с места на место. Тут уж ничем не поможешь.

— Но вы никогда не ездили в Южную Америку.

— Далась вам Южная Америка! Если вы поедете туда в теперешнем вашем настроении, все будет по-прежнему. Париж — хороший город. Почему вы не можете жить настоящей жизнью в Париже?

— Мне осточертел Париж, осточертел Латинский квартал.

— Не ходите туда. Курсируйте сами по себе и посмотрите, что с вами случится.

— Со мной никогда ничего не случается. Я как-то прошатался один всю ночь и ничего не случилось, только полицейский на велосипеде остановил меня и велел предъявить документы.

— Разве город не хорош ночью?

— Я не люблю Парижа.

Вот вам, извольте. Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи: единственное спасение в Южной Америке, и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги и вторую, вероятно, тоже.

— Ну,— сказал я,— мне надо подняться наверх — отправить телеграммы.

— Вам непременно нужно идти?

— Да, я должен отправить телеграммы.

— Ничего, если я пойду с вами и посижу в редакции?

— Пожалуйста.

Он сидел в первой комнате, читал газеты и журнал «Редактор и издатель», а я целых два часа усердно стучал на машинке. Потом я разобрал рукописи по экземплярам, сделал пометки, положил все в большие конверты и вызвал курьера, чтобы он отнес их на вокзал Сен-Лазар. Я вышел в другую комнату, и там в большом кресле сидел Роберт Кон и спал. Он спал, положив голову на руки. Мне жаль было будить его, но я хотел запереть редакцию и уйти. Я тронул его за плечо. Он замотал головой.

— Не могу я этого сделать,— сказал он и глубже зарылся головой в скрещенные руки.— Не могу. Ни за что не сделаю.

— Роберт,— сказал я и потряс его за плечо.

Он поднял голову, улыбнулся и заморгал глазами.

— Я сейчас говорил что-нибудь?

— Говорили. Но я не расслышал.
— Господи, какой дурацкий сон!
— Это моя машинка усыпила вас?
— Должно быть. Я прошлую ночь совсем не спал.
— Почему?
— Разговаривали,— ответил он.

Я легко мог представить себе их разговор. У меня скверная привычка представлять себе своих друзей в спальне. Мы отправились в кафе Наполитэн выпить аперитив и смотреть вечернее гуляние на Бульварах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Был теплый, весенний вечер, и после того как Роберт ушел, я остался сидеть за столиком на террасе кафе Наполитэн и в наступающей темноте смотрел на вспышки световых реклам, на красные и зеленые сигналы светофоров, на толпу гуляющих, на фиакры, цокающие вдоль края сплошного потока такси, и на «курочек», проходивших по одной и парами в поисках ужина. Я смотрел на хорошенькую женщину, которая прошла мимо моего столика, и смотрел, как она пошла дальше по улице, и потерял ее из виду и стал смотреть на другую, а потом увидел, что первая возвращается. Она снова прошла мимо меня, и я поймал ее взгляд, а она подошла и села за мой столик. Подскочил официант.

— Что ты будешь пить?— спросил я.
— Перно.
— Маленьким девочкам вредно пить перно.
— Сам маленький. Гарсон, рюмку перно.
— И мне рюмку перно.
— Ну, как?— спросила она.— Хочешь время провести?
— Да. А ты?
— Там видно будет. В этом городе разве угадаешь?
— Ты не любишь Парижа?
— Нет.
— Почему ты не едешь в другое место?
— Нет другого места.
— А чем тебе здесь плохо?
— Да, чем?

Перно — зеленоватый суррогат абсента. Если налить в него воды, оно делается беловатым, как молоко. Вкусом напоминает лакрицу и сначала подбадривает, но

зато после раскисаешь. Мы пили с ней перно, и у нее был недовольный вид.

— Ну,— сказал я,— может быть, ты угостишь меня ужином?

Она ухмыльнулась, и я понял, почему она упорно не хочет смеяться. С закрытым ртом она была очень недурна собой. Я заплатил за перно, и мы вышли на улицу. Я кликнул фиакр, и он подъехал к тротуару. Удобно усевшись в медлительном, мягко катящем фиакре, мы поехали по широкой, сияющей огнями и почти безлюдной авеню де л'Опера, мимо запертых дверей и освещенных витрин магазинов. Фиакр миновал редакцию «Нью-Йорк Геральд», где все окно было заставлено часами.

— Зачем столько часов?— спросила она.

— Они показывают время по всей Америке.

— Не остри.

Мы свернули на улицу Пирамид, проехали по тесной Рю де Риволи и через темные ворота въехали в Тюильри. Она прижалась ко мне, и я обнял ее. Она взглянула на меня, ища поцелуя. Она коснулась меня рукой, и я отодвинул ее руку.

— Не надо.

— Что с тобой? Болен?

— Да.

— Все больны. Я тоже больна.

Мы выехали из Тюильри на свет, пересекли Сену и свернули на улицу Святых Отцов.

— Зачем же ты пил перно, если ты болен?

— А ты зачем?

— Для меня это не имеет значения. Это не имеет значения для женщин.

— Как тебя зовут?

— Жоржет. А тебя?

— Джейкоб.

— Это фламандское имя.

— И американское.

— Ты, надеюсь, не фламандец?

— Нет, американец.

— Слава богу, терпеть не могу фламандцев.

Мы подъезжали к ресторану. Я крикнул кучеру, чтобы он остановился. Мы вышли, и Жоржет ресторан не понравился.

— Не очень-то шикарное место.

— Нет,— сказал я.— Может быть, ты предпочита-

ешь поужинать у Фоайо? Села бы обратно в фиакр да поехала.

Я взял ее с собой потому, что у меня мелькнула смутная сентиментальная мысль, что приятно было бы поужинать с кем-нибудь вдвоем. Я давно уже не ужинал с «курочкой» и забыл, как это нестерпимо скучно. Мы вошли в ресторан и мимо конторки, за которой сидела мадам Лавинь, прошли в заднюю комнату. От еды Жоржет слегка повеселела.

— Здесь не так плохо,— сказала она.— Не шикарно, но кормят хорошо.

— Лучше, чем в Льеже.

— В Брюсселе, ты хочешь сказать.

Мы выпили вторую бутылку вина, и Жоржет стала шутить. Она улыбнулась, показывая все свои испорченные зубы, и мы чокнулись.

— Ты, в общем, славный малый,— сказала она.— Свинство, что ты болен. Мы бы поладили. А что с тобой такое?

— Я был ранен на войне,— сказал я.

— Уж эта противная война!

Мы, вероятно, пустились бы в рассуждения о войне и решили бы, что она приводит к гибели цивилизации и что, может быть, лучше обойтись без нее. С меня было довольно. Как раз в эту минуту кто-то крикнул из первой комнаты:

— Барнс! Эй, Барнс! Джейкоб Барнс!

— Это мой приятель,— объяснил я и вышел.

За длинным столом сидел Брэддокс с целой компанией: Кон, Фрэнсис Клайн, миссис Брэддокс и еще какие-то не знакомые мне люди.

— Едем танцевать, да?— спросил Брэддокс.

— Куда танцевать?

— В дансинг, конечно. Разве вы не знаете, что мы снова ввели танцы?— вмешалась миссис Брэддокс.

— Поедем с нами, Джейк. Мы все едем,— сказала Фрэнсис с другого конца стола. Она сидела очень прямо и усиленно улыбалась.

— Конечно, он поедет,— сказал Брэддокс.— Идите сюда, Барнс, и выпейте с нами кофе.

— Хорошо.

— И приведите свою даму,— смеясь, сказала миссис Брэддокс. Она была уроженкой Канады и отличалась свойственной канадцам непринужденностью в обращении.

— Спасибо, сейчас придем,— сказал я. Я вернулся в заднюю комнату.

— Кто такие твои приятели?— спросила Жоржет.

— Писатели и художники.

— Их пропасть в этом районе.

— Слишком много.

— Слишком. Хотя кое-кто хорошо зарабатывает.

— О да.

Мы кончили ужинать и допили вино.

— Пойдем,— сказал я.— Кофе будем пить с ними.

Жоржет открыла сумочку и, смотрясь в зеркальце, провела несколько раз пуховкой по лицу, подкрасила губы и поправила шляпу.

— Идем,— сказала она.

Мы вошли в переполненную публикой комнату; Брэддокс и остальные мужчины за столом встали.

— Позвольте представить вам мою невесту, мадемуазель Жоржет Леблан,— сказал я. Жоржет улыбнулась своей чарующей улыбкой, и мы всем по очереди пожали руки.

— Скажите, вы родственница певицы Жоржет Леблан?— спросила миссис Брэддокс.

— Не знаю,— ответила Жоржет.

— Но вас зовут так же,— приветливо сказала миссис Брэддокс.

— Нет,— сказала Жоржет.— Ничего подобного. Моя фамилия Хобэн.

— Но ведь мистер Барнс представил вас как мадемуазель Жоржет Леблан. Разве нет?— настаивала миссис Брэддокс, которая от возбуждения, что говорит по-французски, плохо понимала смысл своих слов.

— Он дурак,— сказала Жоржет.

— Ах, значит, это шутка,— сказала миссис Брэддокс.

— Да,— сказала Жоржет.— Чтобы посмеяться.

— Слышишь, Генри?— крикнула миссис Брэддокс через весь стол своему мужу.— Мистер Барнс представил свою невесту как мадемуазель Леблан, а на самом деле ее фамилия Хобэн.

— Конечно, дорогая! Мадемуазель Хобэн,— я давно с нею знаком.

— Скажите, мадемуазель Хобэн,— заговорила Фрэнсис Клайн, произнося французские слова очень быстро и, по-видимому, не испытывая, подобно миссис Брэддокс, ни особенной гордости, ни удивления от того, что

у нее действительно получается по-французски.— Вы давно в Париже? Вам нравится здесь? Вы любите Париж, правда?

— Кто это такая?— Жоржет повернулась ко мне.— Нужно мне с ней разговаривать?

Она повернулась к Фрэнсис, которая сидела улыбаясь, сложив руки, прямо держа голову на длинной шее и выпятив губы, готовая снова заговорить.

— Нет, я не люблю Парижа. Здесь дорого и грязно.

— Что вы? Я нахожу, что Париж необыкновенно чистый город. Один из самых чистых городов в Европе.

— А по-моему, грязный.

— Как странно! Может быть, вы недавно здесь живете?

— Достаточно давно.

— Но здесь очень славные люди. С этим нельзя не согласиться.

Жоржет повернулась ко мне.

— Миленькие у тебя друзья.

Фрэнсис была слегка пьяна, и ей хотелось продолжать разговор, но подали кофе, и Лавинь принес ликеры, а после мы все вышли и отправились в дансинг, о котором говорили Брэддоксы.

Дансинг оказался bal musette[1] около Пантеона. Пять вечеров в неделю здесь танцевали рабочие этого района, но один вечер в неделю помещение превращалось в дансинг. В понедельник вечером было закрыто. Когда мы приехали, в дансинге не было ни души, кроме полицейского, сидевшего у двери, жены хозяина за обитой цинком стойкой и самого хозяина. Как только мы вошли, сверху спустилась дочь хозяев. В комнате стояли столы и длинные скамейки, а в дальнем конце была площадка для танцев.

— Жалко, что так поздно собираются,— сказал Брэддокс. Дочь хозяев подошла к нам и спросила, что нам подать. Хозяин взобрался на высокий табурет возле площадки и заиграл на аккордеоне. Вокруг щиколотки у него был шнурок с колокольчиками, и он, играя, отбивал ногой такт. Все пошли танцевать. Было жарко, и мы вернулись к столу потные.

— О господи!— сказала Жоржет.— Я вся мокрая.

— Жарко.

— Просто ужас!

---

[1] Дешевое помещение для танцев *(франц)*.

— Сними шляпу.
— Пожалуй.
Жоржет пригласили танцевать, и я подошел к стойке. Было на самом деле очень жарко, и аккордеон приятно звучал в жарком вечернем воздухе. Я выпил кружку пива, стоя у самой двери, с улицы дул прохладный ветерок. По крутой улице спускались две машины. Оба такси остановились перед дансингом. Из машин вышли молодые люди — кто в джемпере, кто просто без пиджака. В свете, падающем из дверей, я видел их руки и свежевымытые завитые волосы. Полицейский, стоявший возле двери, посмотрел на меня и улыбнулся. Они вошли. Когда они входили, гримасничая, жестикулируя, болтая, я увидел в ярком свете белые руки, завитые волосы, белые лица. С ними была Брет. Она была очень красива и совсем как в своей компании.
Один из молодых людей увидел Жоржет и сказал:
— Вот это марка. Неподдельная шлюха. Желаю танцевать с ней. Летт, можешь полюбоваться мной.
Высокий брюнет, которого звали Леттом, сказал:
— Образумься, умоляю тебя.
Завитой блондин ответил:
— Не тревожься, счастье мое.— И с ними была Брет.
Я очень злился. Почему-то они всегда злили меня. Я знал, что их считают забавными и что нужно быть снисходительным, но мне хотелось ударить кого-нибудь из них, все равно кого, лишь бы поколебать их жеманное нахальство. Вместо этого я вышел на улицу и выпил кружку пива в баре соседнего дансинга. Пиво оказалось плохое, и я запил его коньяком, который был еще хуже. Когда я вернулся в дансинг, на площадке толпились пары, и Жоржет танцевала с высоким блондином, который танцевал, вихляя бедрами, склонив голову набок и закатывая глаза. Как только танец кончился, ее снова пригласили. Они приняли ее в свою компанию. Я знал, что теперь они все будут танцевать с нею. У них всегда так.
Я сел за стол. За этим же столом сидел Кон. Фрэнсис танцевала. Миссис Брэддокс привела кого-то и познакомила его с нами, назвав Робертом Прентисом. Он оказался уроженцем Чикаго, жителем Нью-Йорка и подающим надежды писателем. Говорил он с легким английским акцентом. Я предложил ему выпить.
— Благодарю вас,— сказал он,— я только что пил.

— Выпейте еще.

— Благодарю вас, выпью.

Мы поманили мадемуазель Лавинь и заказали по стакану коньяку с водой.

— Вы, я слышал, из Канзас-Сити,— сказал он.

— Да.

— Нравится вам в Париже?

— Да.

— Правда?

Я был немного пьян. Не совсем пьян, по-настоящему, но достаточно, чтобы не церемониться.

— Ради всего святого,— сказал я,— да. А вам?

— Как вы очаровательно злитесь,— сказал он.— Хотел бы я обладать этой способностью.

Я встал и направился к танцующим. Миссис Брэддокс пошла за мной.

— Не сердитесь на Роберта,— сказала она,— он же еще совсем ребенок.

— Я вовсе не сержусь,— сказал я.— Просто я боялся, что меня стошнит.

— Ваша невеста пользуется большим успехом.— Миссис Брэддокс смотрела на Жоржет, которая кружилась в объятиях высокого брюнета, по имени Летт.

— Не правда ли?— сказал я.

— Безусловно,— сказала миссис Брэддокс.

Подошел Кон.

— Пойдемте, Джейк,— сказал он,— выпьем.— Мы направились к стойке.— Что с вами? У вас такой вид, словно вы чем-то расстроены.

— Ничуть. Просто меня тошнит от всего этого.

К стойке подошла Брет.

— Хэлло, друзья!

— Хэлло, Брет,— сказал я.— Почему вы не пьяная?

— Никогда больше не буду напиваться. Дайте человеку коньяку с содовой.

Она стояла у стойки, держа стакан в руке, и я видел, что Роберт Кон смотрит на нее. Так, вероятно, смотрел его соотечественник, когда увидел землю обетованную. Кон, разумеется, был много моложе. Но взгляд его выражал то же нетерпеливое, требовательное ожидание.

Брет — в закрытом джемпере, суконной юбке, остриженная как мальчик — была необыкновенно хороша. С этого все и началось. Округлостью линий она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни одного изгиба.

— В каком вы блестящем обществе, Брет,— сказал я.

— Правда, они бесподобны? А вы, дорогой мой! Где вы ее подцепили?

— В кафе Наполитэн.

— И хорошо провели вечер?

— Божественно,— сказал я.

Брет засмеялась.

— Это нехорошо с вашей стороны, Джейк. Просто пощечина всем нам. Подумайте, здесь Фрэнсис и Джо.

Это — специально для Кона.

— На безрыбье и рак рыба,— сказала Брет. Она снова засмеялась.

— Вы необыкновенно трезвы,— сказал я.

— Да. Удивительно, правда? А в такой компании, в какой я сегодня, можно бы пить без малейшего риска.

Заиграла музыка, и Роберт Кон сказал:

— Разрешите пригласить вас, леди Брет?

Брет улыбнулась ему.

— Я обещала этот танец Джейкобу.— Она засмеялась.— У вас ужасно старозаветное имя, Джейк.

— А следующий?— спросил Кон.

— Мы сейчас уходим,— сказала Брет.— Мы условились быть на Монмартре.

Танцуя, я взглянул через плечо Брет и увидел, что Кон стоит у стойки и по-прежнему смотрит на нее.

— Еще одна жертва,— сказал я ей.

— И не говорите. Бедный малый. Я сама только сейчас заметила.

— Бросьте,— сказал я.— Вам же нравится набирать их.

— Не говорите вздора.

— Конечно, нравится.

— Ну, а если и так?

— Ничего,— сказал я.

Мы танцевали под аккордеон и банджо, на котором кто-то заиграл. Было жарко, но я чувствовал себя хорошо. Мы почти столкнулись с Жоржет, танцевавшей с очередным юнцом из той же компании.

— Что это вам вздумалось привести ее?

— Не знаю, просто так.

— Романтика одолевает?

— Нет, скука.

— И сейчас?

— Сейчас нет.

— Выйдем отсюда. О ней здесь позаботятся.
— Вы правда хотите?
— Раз я предложила, значит, хочу.
Мы ушли с площадки, и я снял свое пальто, висевшее на вешалке, и надел его. Брет стояла у стойки. Кон что-то говорил ей. Я подошел к стойке и попросил конверт. Я достал из кармана пятидесятифранковую бумажку, вложил ее в конверт, запечатал и передал хозяйке.
— Пожалуйста, если девушка, с которой я приехал, спросит про меня, дайте это ей,— сказал я.— Если она уйдет с кем-нибудь из молодых людей, сохраните это для меня.
— C'est entendu, monsieur [1],— сказала хозяйка.— Вы уже уходите? Так рано?
— Да,— сказал я.
Мы пошли к дверям. Кон все еще что-то говорил Брет. Она попрощалась с ним и взяла меня под руку.
— Спокойной ночи, Кон,— сказал я.
Выйдя на улицу, мы стали искать глазами такси.
— Пропали ваши пятьдесят франков,— сказала Брет.
— Неважно.
— Ни одного такси.
— Можно дойти до Пантеона и там взять.
— Зайдем в соседний бар и пошлем за такси, а пока выпьем.
— Даже улицу перейти не хотите.
— Если можно обойтись без этого.
Мы зашли в ближайший бар, и я послал официанта за такси.
— Ну вот,— сказал я.— Мы и ушли от них.
Мы стояли у высокой, обитой цинком стойки, молчали и смотрели друг на друга. Официант вернулся и сказал, что такси дожидается. Брет крепко сжала мне руку. Я дал официанту франк, и мы вышли.
— Куда велеть ему ехать?— спросил я.
— Пусть едет куда хочет.
Я велел шоферу ехать в парк Монсури, вошел и захлопнул дверцу. Брет прижалась в угол, закрыв глаза. Я сел подле нее. Машина дернула и покатила.
— Ох, милый, я такая несчастная!— сказала Брет.

[1] Хорошо, мсье *(франц.)*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Машина поднялась в гору, пересекла освещенную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темной улицы позади церкви Сент-Этьена-дю-Мон, миновала деревья и стоянку автобусов на площади Контрескарп, потом въехала на булыжную мостовую улицы Муфтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины еще открытых лавок. Мы сидели врозь, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. Брет сняла шляпу. Откинула голову. Я видел ее лицо в свете, падающем из витрин, потом стало темно, потом, когда мы выехали на Авеню де Гобелен, я отчетливо увидел ее лицо. Мостовая была разворочена, и люди работали на трамвайных путях при свете ацетиленовых горелок. Белое лицо Брет и длинная линия ее шеи были ясно видны в ярком свете горелок... Когда опять стало темно, я поцеловал ее. Мои губы прижались к ее губам, а потом она отвернулась и забилась в угол, как можно дальше от меня. Голова ее была опущена.

— Не трогай меня,— сказала она.— Пожалуйста, не трогай меня.

— Что с тобой?

— Я не могу.

— Брет!

— Не надо. Ты же знаешь. Я не могу — вот и все. Милый, ну пойми же!

— Ты не любишь меня?

— Не люблю? Да я вся точно кисель, как только ты тронешь меня.

— Неужели ничего нельзя сделать?

Теперь она сидела выпрямившись. Я обнял ее, и она прислонилась ко мне, и мы были совсем спокойны. Она смотрела мне в глаза так, как она умела смотреть,— пока не начинало казаться, что это уже не ее глаза. Они смотрели и все еще смотрели, когда любые глаза на свете давно перестали бы смотреть. Она смотрела так, словно в мире не было ничего, на что она не посмела бы так смотреть, а на самом деле она очень много в жизни боялась.

— И ничего, ничего нельзя сделать,— сказал я.

— Не знаю,— сказала она.— Я не хочу еще раз так мучиться.

— Лучше бы нам не встречаться.

— Но я не могу не видеть тебя. Ведь не только в этом дело.

— Нет, но сводится всегда к этому.

— Это я виновата. Разве мы не платимся за все, что делаем?

Все время она смотрела мне в глаза. Ее глаза бывали разной глубины, иногда они казались совсем плоскими. Сейчас в них можно было глядеть до самого дна.

— Как подумаю, сколько все они от меня натерпелись. Теперь я расплачиваюсь за это.

— Глупости,— сказал я.— Кроме того, принято считать, что то, что случилось со мной, очень смешно. Я никогда об этом не думаю.

— Еще бы. Не сомневаюсь.

— Ну, довольно об этом.

— Я сама когда-то смеялась над этим.— Она не смотрела на меня.— Товарищ моего брата вернулся таким с Монса. Все принимали это как ужасно веселую шутку. Человек никогда ничего не знает, правда?

— Правда,— сказал я.— Никто никогда ничего не знает.

Я более или менее покончил с этим вопросом. В свое время я, вероятно, рассмотрел его со всех возможных точек зрения, включая и ту, согласно которой известного рода изъяны или увечья служат поводом для веселья, между тем как в них нет ничего смешного для пострадавшего.

— Это забавно,— сказал я.— Это очень забавно. И быть влюбленным тоже страшно забавно.

— Ты думаешь?— Глаза ее снова стали плоскими.

— То есть не в том смысле забавно. Это до некоторой степени приятное чувство.

— Нет,— сказала она.— По-моему, это сущий ад.

— Хорошо быть вместе.

— Нет. По-моему, ничего хорошего.

— Разве ты не хочешь меня видеть?

Теперь мы сидели, как чужие. Справа был парк Монсури. Ресторан, где есть пруд с живыми форелями и где можно сидеть и смотреть в парк, был закрыт и не освещен. Шофер обернулся.

— Куда мы поедем?— спросил я.

Брет отвела глаза.

— Пусть едет в кафе Селект.

— Кафе Селект,— сказал я шоферу.— Бульвар Монпарнас.

Мы поехали дальше, обогнув Бельфорского Льва, который сторожит Монружскую трамвайную линию. Брет смотрела прямо перед собой. На Бульваре Распай, когда показались огни Монпарнаса, Брет сказала:

— У меня к тебе просьба. Только ты не рассердишься?

— Не говори глупости.

— Поцелуй меня еще раз, пока мы не приехали.

Когда такси остановилось, я вышел и расплатился. Брет вышла, на ходу надевая шляпу. Она оперлась на мою руку, когда сходила с подножки. Ее рука дрожала.

— У меня очень неприличный вид?— Она надвинула на глаза свою мужскую фетровую шляпу и вошла в кафе. У стойки и за столиками сидела почти вся компания, которая была в дансинге.

— Хэлло, друзья!— сказала Брет.— Выпить хочется.

— Брет! Брет!— маленький грек-портретист, который называл себя герцогом и которого все звали Зизи, побежал к ней.— Что я вам скажу!

— Хэлло, Зизи!— сказала Брет.

— Я познакомлю вас с моим другом,— сказал Зизи.

Подошел толстый мужчина.

— Граф Миппипопуло — мой друг леди Эшли.

— Здравствуйте,— сказала Брет.

— Ну как, миледи? Весело проводите время в Париже?— спросил граф Миппипопуло, у которого на цепочке от часов болтался клык лося.

— Ничего,— ответила Брет.

— Париж прекрасный город,— сказал граф.— Но вам, наверно, и в Лондоне достаточно весело?

— Еще бы,— сказала Брет.— Потрясающе.

Брэддокс подозвал меня к своему столику.

— Барнс,— сказал он,— выпейте с нами. С вашей дамой вышел ужасный скандал.

— Из-за чего?

— Дочь хозяина что-то сказала про нее. Получился форменный скандал. Но она — молодчина. Предъявила желтый билет и потребовала, чтобы та показала свой. Ужасный скандал.

— А чем кончилось?

— Кто-то увел ее. Очень недурна. Совершенно изумительно владеет парижским арго. Садитесь, выпьем.

— Нет,— сказал я.— Мне пора домой. Кона не видели?

— Они с Фрэнсис уехали домой,— вмешалась миссис Брэддокс.

— Бедняга, у него такой удрученный вид,— сказал Брэддокс.

— Да, да,— подтвердила миссис Брэддокс.

— Мне пора домой,— сказал я.— Спокойной ночи.

Я попрощался с Брет у стойки. Граф заказывал шампанское.

— Разрешите предложить вам стакан вина, сэр?— сказал он.

— Нет, премного благодарен. Мне пора идти.

— Вы правда уходите?— спросила Брет.

— Да,— сказал я.— Очень голова болит.

— Завтра увидимся?

— Приходите в редакцию.

— Вряд ли.

— Ну, так где же?

— Где-нибудь, около пяти часов.

— Тогда давайте на том берегу.

— Ладно. Я в пять буду в Крийоне.

— Только не обманите,— сказал я.

— Не беспокойтесь,— сказала Брет.— Разве я вас когда-нибудь обманывала?

— Что слышно о Майкле?

— Сегодня было письмо.

— Спокойной ночи, сэр,— сказал граф.

Я вышел на улицу и зашагал в сторону Бульвара Сен-Мишель, мимо столиков кафе Ротонды, все еще переполненного, посмотрел на кафе дю-Дом напротив, где столики занимали весь тротуар. Кто-то оттуда помахал мне рукой — я не разглядел кто и пошел дальше. Мне хотелось домой. На Бульваре Монпарнас было пусто. Ресторан Лавинь уже закрылся, а перед Клозери де Лила убирали столики. Я прошел мимо памятника Нею, стоявшего среди свежей листвы каштанов в свете дуговых фонарей. К цоколю был прислонен увядший темно-красный венок. Я остановился и прочел надпись на ленте: от бонапартистских групп и число, какое, не помню. Он был очень хорош, маршал Ней, в своих ботфортах, взмахивающий мечом среди свежей, зеленой листвы конских каштанов. Я жил как раз напротив, в самом начале Бульвара Сен-Мишель.

В комнате консьержки горел свет, я постучал в дверь, и она дала мне мою почту. Я пожелал ей спокойной ночи и поднялся наверх. Было два письма и несколько га-

зет. Я просмотрел их под газовой лампой в столовой. Письма были из Америки. Одно письмо оказалось банковским расчетом. Остаток равнялся 243 260 долларам. Я достал свою чековую книжку, вычел сумму четырех чеков, выписанных после первого числа текущего месяца, и подсчитал, что остаток равняется 1832 долларам и 60 центам. Эту сумму я записал на обороте письма. В другом конверте лежало извещение о бракосочетании. Мистер и миссис Алоизиус Кирби извещают о браке дочери их Кэтрин — я не знал ни девицы, ни того, за кого она выходила. Они, вероятно, разослали извещения по всему городу. Смешное имя. Я был уверен, что, знай я кого-нибудь по имени Алоизиус, я не забыл бы его: хорошее католическое имя. На извещении был герб. Как Зизи — греческий герцог. И граф. Граф смешной. У Брет тоже есть титул. Леди Эшли. Черт с ней, с Брет. Черт с вами, леди Эшли.

Я зажег лампу около кровати, потушил газ в столовой и распахнул широкие окна спальни. Кровать стояла далеко от окон, и я сидел при открытых окнах возле кровати и раздевался. Ночной поезд, развозивший овощи по рынкам, проехал по трамвайным рельсам. Поезда эти громыхали по ночам, когда не спалось. Раздеваясь, я смотрелся в зеркало платяного шкафа, стоявшего рядом с кроватью. Типично французская манера расставлять мебель. Удобно, пожалуй. И надо же — из всех возможных способов быть раненым... В самом деле смешно. Я надел пижаму и лег в постель. У меня было два спортивных журнала, и я снял с них бандероли. Один был оранжевый. Другой — желтый. В обоих будут те же сообщения, потому, какой бы я ни прочел первым, мне не захочется читать другой. «Ле Ториль» лучше, и я начал с него. Я прочел его от доски до доски, вплоть до писем в редакцию и загадок-шуток. Я потушил лампу. Может быть, удастся заснуть.

Мысль моя заработала. Старая обида. Да, глупо было получить такое ранение, да еще во время бегства на таком липовом фронте, как итальянский. В итальянском госпитале мы хотели основать общество. По-итальянски название его звучало смешно. Интересно, что сталось с другими, с итальянцами. Это было в Милане, в Главном госпитале, в корпусе Понте. А рядом был корпус Зонда. Перед госпиталем стоял памятник Понте, а может быть, Зонде. Там меня навестил тот полковник. Смешно было. Тогда в первый раз стало смешно.

Я был весь забинтован. Но ему сказали про меня. И тут-то он и произнес свою изумительную речь. «Вы — иностранец, англичанин (все иностранцы назывались англичанами), отдали больше, чем жизнь». Какая речь! Хорошо бы написать ее светящимися буквами и повесить в редакции. Он и не думал шутить. Он, должно быть, представлял себя на моем месте, «Che mala fortuna! Che mala fortuna!»[1]

Я, в сущности, раньше никогда не задумывался над этим. И теперь старался относиться к этому легко и не причинять беспокойства окружающим. Вероятно, это никогда не помешало бы мне, если бы не встреча с Брет, когда меня отправили в Англию. Я думаю, ей просто захотелось невозможного. Люди всегда так. Черт с ними, с людьми. Католическая церковь замечательно умеет помочь в таких случаях. Совет хороший, что и говорить. Не думать об этом. Отличный совет. Попробуй как-нибудь последовать ему. Попробуй.

Я лежал без сна и думал, и мысль перескакивала с предмета на предмет. Потом я не мог больше отогнать мыслей об этом и начал думать о Брет, и все остальное исчезло. Я думал о Брет, и мысли мои уже не перескакивали с предмета на предмет, а словно поплыли по мягким волнам. И тут, неожиданно для самого себя, я заплакал. Потом, немного спустя, мне стало легче, я лежал в постели и прислушивался к тяжелым вагонам, проезжавшим мимо по улице, а потом я заснул.

Вдруг я проснулся. Снаружи доносился шум. Я прислушался, и мне показалось, что я слышу знакомый голос. Я надел халат и подошел к двери. Внизу раздавался голос консьержки. Она очень сердилась. Услыхав свое имя, я окликнул ее.

— Это вы, мсье Барнс?— крикнула консьержка.

— Да, я.

— Здесь какая-то женщина, она шумит на всю улицу. Что за безобразие, в такую пору! Говорит, что ей нужно вас видеть. Я сказала, что вы спите.

Потом я услышал голос Брет. Спросонья я был уверен, что это Жоржет. Не знаю почему. Она ведь не знала моего адреса.

— Попросите ее наверх, пожалуйста.

Брет поднялась по лестнице. Я увидел, что она совсем пьяна.

---

[1] «Какое несчастье!» *(итал.)*

— Как глупо,— сказала она.— Ужасный скандал вышел. Но ты ведь не спал, правда?

— Как ты думаешь, что я делал?

— Не знаю. А который час?

Я посмотрел на стенные часы. Было половина пятого.

— Понятия не имела, который час,— сказала Брет.— Можно человеку сесть? Не сердись, милый. Только что рассталась с графом. Он привез меня сюда.

— Ну, как он?— Я доставал коньяк, содовую и стаканы.

— Одну каплю только,— сказала Брет.— Не спаивай меня. Граф? Ничего. Он свой.

— Он правда граф?

— Твое здоровье. Пожалуй, правда. Во всяком случае, достоин быть графом. Черт его дери, чего он только не знает о людях! И где он всего этого набрался. Держит сеть кондитерских в Америке.

Она отпила из своего стакана.

— Кажется, он сказал «сеть». Что-то в этом роде. Сплетает их — рассказал мне про них кое-что. Страшно интересно. Но он свой. Совсем свой. Никаких сомнений. Это сразу видно.

Она отпила еще глоток.

— А в общем, какое мне дело до него? Ты хоть не сердишься? Он, знаешь, очень помогает Зизи.

— А Зизи что, настоящий герцог?

— Очень может быть. Греческий, понимаешь? Художник он никудышный. Граф мне понравился.

— Где ты была с ним?

— О, повсюду. А сейчас он привез меня сюда. Предлагал мне десять тысяч долларов, если я поеду с ним в Биарриц. Сколько это на фунты?

— Около двух тысяч.

— Куча денег. Я сказала ему, что не могу. Он принял это очень мило. Сказала, что у меня слишком много знакомых в Биаррице.

Брет засмеялась.

— Лениво ты меня догоняешь,— сказала она. Я до сих пор только пригубил свой коньяк с содовой. Я отпил большой глоток.

— Вот это уже лучше,— сказала Брет.— Очень смешно. Он хотел, чтобы я поехала с ним в Канны. Говорю, у меня слишком много знакомых в Каннах. Монте-Карло. Говорю, у меня слишком много знакомых в Монте-

Карло. И вообще повсюду. Это правда, между прочим. Так вот, я попросила привезти меня сюда.

Она смотрела на меня, поставив локоть на стол, подняв стакан.

— Что ты на меня так смотришь? Я сказала ему, что влюблена в тебя. И это тоже правда. Что ты на меня так смотришь? Он принял это очень мило. Хочет завтра повезти нас ужинать. Поедешь?

— Почему же нет?

— Ну, мне пора идти.

— Зачем?

— Я только хотела повидать тебя. Ужасно глупая затея. Может быть, ты оденешься и сойдешь со мной вниз? Он ждет с машиной в двух шагах отсюда.

— Граф?

— Ну да. И шофер в ливрее. Хочет покатать меня. А потом позавтракать в Булонском лесу. Вино корзинами. Брал у Зелли. Дюжина бутылок Мумм. Не соблазнишься?

— Мне утром нужно работать,— сказал я.— И я слишком отстал от вас, вам будет скучно со мной.

— Не будь идиотом.

— Не могу.

— Как хочешь. Передать ему привет?

— Непременно. Самый нежный.

— Спокойной ночи, милый.

— Как трогательно.

— А ну тебя.

Мы поцеловались на прощание, и Брет вздрогнула.

— Я пойду,— сказала она.— Спокойной ночи, милый.

— Зачем ты уходишь?

— Так лучше.

На лестнице мы еще раз поцеловались, и когда я крикнул консьержке, чтобы она потянула шнур, она что-то проворчала за дверью. Я поднялся к себе и смотрел в открытое окно, как Брет подходит к большому лимузину, дожидавшемуся у края тротуара под дуговым фонарем. Она вошла, и машина тронулась. Я отвернулся от окна. На столе стоял пустой стакан и стакан, наполовину наполненный коньяком с содовой. Я вынес их оба на кухню и вылил коньяк в раковину. Я погасил газ в столовой, сбросил туфли, сидя на постели, и лег. Вот какая она, Брет,— и о ней-то я плакал.

Потом я вспомнил, как она только что шла по улице и как села в машину, и, конечно, спустя две минуты мне уже опять стало скверно. Ужасно легко быть бесчувственным днем, а вот ночью — это совсем другое дело.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Утром я спустился по Бульвару Сен-Мишель до улицы Суфло и выпил кофе с бриошами. Утро выдалось чудесное. Конские каштаны Люксембургского сада были в цвету. Чувствовалась приятная утренняя свежесть перед жарким днем. Я прочел газеты за кофе и выкурил сигарету. Цветочницы приходили с рынка и раскладывали свой дневной запас товара. Студенты шли мимо, кто в юридический институт, кто в Сорбонну. По Бульвару сновали трамваи и люди, спешащие на работу. Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площадке. От церкви Мадлен я прошел по Бульвару Капуцинов до Оперы, а оттуда в свою редакцию. Я прошел мимо продавца прыгающих лягушек и продавца игрушечных боксеров. Я шагнул в сторону, чтобы не наступить на нитки, посредством которых его помощница приводила боксеров в движение. Она стояла отвернувшись, держа нитки в сложенных руках. Продавец уговаривал двух туристов купить игрушку. Еще три туриста остановились и смотрели. Я шел следом за человеком, который толкал перед собою каток, печатая влажными буквами слово CINZANO на тротуаре. По всей улице люди спешили на работу. Приятно было идти на работу. Я пересек Авеню де л'Опера и свернул к своей редакции.

Поднявшись к себе, я прочел французские утренние газеты, покурил, а потом сел за машинку и усердно проработал все утро. В одиннадцать часов я взял такси и поехал на Кэ д'Орсэ, вошел в министерство и просидел там с полчаса вместе с десятком корреспондентов, слушая, как представитель министерства иностранных дел, молодой дипломат в роговых очках, говорит и отвечает на вопросы. Председатель кабинета министров уехал в Лион, где он должен был выступить с речью, или, вернее, он уже находится на обратном пути. Несколько человек задавали вопросы, чтобы послушать самих себя, а кое-кто из представителей телеграфных агентств задавал вопросы, чтобы услышать ответы. Но-

востей не было. Из министерства я поехал в одном такси с Уолси и Крамом.

— Что вы делаете по вечерам, Джейк?— спросил Крам.— Вас нигде не видно.

— Я бываю там, в Латинском квартале.

— Как-нибудь соберусь туда. В кафе Динго. Ведь там самое веселье?

— Да. Или в новом, в Селекте.

— Я сколько раз собирался,— сказал Крам.— Но ведь вы знаете, когда у тебя жена и дети...

— В теннис играете?— спросил Уолси.

— Нет,— сказал Крам.— Можно сказать, что в этом году совсем не играл. Мне хотелось как-нибудь вырваться, но по воскресеньям всегда дождь, да и корты страшно переполнены.

— Англичане не работают по субботам,— сказал Уолси.

— Везет им, подлецам,— сказал Крам.— Ну, погодите. Не вечно же я буду журналистом. Будет и у меня время ездить за город.

— Вот что лучше всего: жить за городом и иметь свою машину.

— Я подумываю купить себе машину в будущем году.

Я постучал в стекло. Шофер затормозил.

— Я уже дома,— сказал я.— Зайдите, выпьем по стаканчику.

— Спасибо,— сказал Крам.

Уолси покачал головой.

— Мне нужно обработать, что он там наговорил сегодня.

Я сунул два франка в руку Крама.

— Вы с ума сошли, Джейк,— сказал он.— Я заплачу.

— Так это же за счет редакции.

— Бросьте. Платить буду я.

Я помахал им на прощанье. Крам высунул голову.

— В среду увидимся, за завтраком.

— Непременно.

Я на лифте поднялся в редакцию. Роберт Кон ждал меня.

— Хэлло, Джейк,— сказал он,— завтракать пойдем?

— Пойдем. Я только посмотрю, нет ли чего срочного.

— Где будем завтракать?

— Все равно.

Я осматривал свой письменный стол.

— А вы где хотите завтракать?

— Может быть, к Ветцелю? Там хорошие закуски.

В ресторане мы заказали и пиво. Официант принес пиво в высоких глиняных кружках — пиво было очень холодное, и на стенках выступили бусинки. Подали с десяток разных закусок.

— Весело вам было вчера?— спросил я.

— Нет. Не очень.

— Как пишется?

— Плохо. Не двигается у меня вторая книга.

— У всех так бывает.

— Я знаю. Но все-таки это меня мучает.

— А Южная Америка? Не забыли еще?

— Нет, не забыл.

— За чем же дело стало?

— Фрэнсис.

— Так возьмите ее с собой,— сказал я.

— Она не захочет. Это не для нее. Ей нужно большое общество.

— Тогда пошлите ее к черту.

— Не могу. У меня все-таки есть обязательства по отношению к ней.

Он отодвинул тарелку с нарезанными огурцами и взял маринованной селедки.

— Скажите, Джейк, что вы знаете о леди Брет Эшли?

— Леди Эшли — ее фамилия. Брет — имя. Она очень милая женщина,— сказал я.— Разводится с мужем и собирается выйти за Майкла Кэмбелла. Он сейчас в Шотландии. А что?

— Она необыкновенно интересная женщина.

— Не правда ли?

— В ней есть что-то такое, какая-то особая утонченность. Мне кажется, она очень чуткий и прямой человек.

— Она очень милая.

— Я не знаю, как вам объяснить,— сказал Кон.— Вероятно, это порода.

— Я вижу, она вам очень нравится.

— Очень. Мне даже кажется, что я влюблен в нее.

— Она пьяница,— сказал я.— Она влюблена в Майкла Кэмбелла и собирается за него замуж. У него со временем будет куча денег.

— Не верю, что она за него выйдет.

— Почему?

— Не знаю. Просто так, не верю. Вы давно ее знаете?

— Да,— сказал я.— Она была сестрой в госпитале, в котором я лежал во время войны.

— Она же совсем девочкой была, вероятно?

— Ей сейчас тридцать четыре года.

— Когда она вышла за Эшли?

— Во время войны. Ее возлюбленный как раз окочурился от дизентерии.

— Почему вы таким тоном говорите?

— Виноват. Я нечаянно. Я просто хотел изложить вам факты.

— Не верю, чтобы она вышла за кого-нибудь не по любви.

— Однако она это сделала дважды,— сказал я.

— Не верю.

— Так зачем же вы задаете мне дурацкие вопросы,— сказал я,— если вам не нравятся ответы?

— Я вас об этом не спрашивал.

— Вы просили сказать вам, что я знаю о Брет Эшли.

— Я не просил вас оскорблять ее.

— А ну вас к черту.

Он встал из-за стола, с побелевшим лицом, и стоял, белый и злой, позади тарелочек с закусками.

— Сядьте,— сказал я.— Не валяйте дурака.

— Возьмите свои слова обратно.

— Бросьте, что мы, приготовишки, что ли?

— Возьмите свои слова обратно.

— Хорошо. Все что угодно. Я в жизни не слыхал о Брет Эшли. Теперь вы удовлетворены?

— Нет. Не это. Вы послали меня к черту.

— О, не ходите к черту,— сказал я.— Сидите здесь. Мы только что начали завтракать.

Кон улыбнулся и сел. Он, видимо, был рад, что можно сесть. Что бы он, в самом деле, стал делать, если б он не сел?

— Вы такие ужасно обидные вещи говорите, Джейк.

— Не сердитесь. У меня уж такой гадкий язык. Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю.

— Я знаю,— сказал Кон.— Вы же, можно сказать, мой лучший друг, Джейк.

«Вот те на»,— подумал я.

— Забудьте, что я сказал,— проговорил я вслух.— Не сердитесь.

— Ладно. Все хорошо. Мне просто в ту минуту стало обидно.

— Вот и отлично. Давайте закажем еще чего-нибудь.

Покончив с завтраком, мы пошли в кафе де ла Пэ и выпили кофе. Я чувствовал, что Кону хочется еще раз заговорить о Брет, но я не поддавался. Мы поговорили о том о сем, потом я простился с ним и пошел в редакцию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В пять часов я был в отеле Крийон и поджидал Брет. Она запаздывала, и я сел и написал несколько писем. Письма вышли не очень складные, но я надеялся, что штамп отеля Крийон спасет положение. Брет все не приходила, и без четверти шесть я спустился в бар и выпил коктейль Джек Роз с барменом Жоржем. В баре Брет тоже не было, и я перед уходом еще раз заглянул наверх, потом взял такси и поехал в кафе Селект. Пересекая Сену, я видел вереницу пустых барж на буксире; высоко сидя в воде, они шли по течению, и когда они проплывали под мостом, матросы отталкивались шестами. Река была красивая. В Париже всегда приятно ехать по мосту.

Такси, объехав памятник создателю семафора, который изображен выполняющим придуманный им маневр, свернуло на Бульвар Распай, и я откинулся назад, чтобы не видеть этого куска пути. Ехать по Бульвару Распай всегда было скучно. На линии Париж — Лион между Фонтенбло и Монтеро есть такое место, где я всегда испытываю скуку, пустоту и усталость, пока не проеду его. Вероятно, такие мертвые точки в пути возникают из-за каких-нибудь ассоциаций. В Париже есть улицы не менее уродливые, чем Бульвар Распай. Пешком я совершенно спокойно могу пройти ее. Но ездить по ней я не выношу. Может быть, я где-нибудь читал о ней. На Роберта Кона все в Париже так действовало. Удивительно, откуда у Кона эта неприязнь к Парижу? Уж не от Менкена ли? Менкен, кажется, ненавидит Париж. Много на свете молодых людей, которые любят и не любят по Менкену.

Такси остановилось перед кафе Ротонда. Какое бы кафе на Монпарнасе вы ни назвали шоферу, садясь в такси на правом берегу Сены, он все равно привезет вас в Ротонду. Через десять лет ее место, вероятно, займет

кафе дю-Дом. Но мне и так было уже близко. Я прошел мимо унылых столиков Ротонды к кафе Селект. Внутри, у стойки, сидели несколько человек, а снаружи, в одиночестве, сидел Харви Стоун. Перед ним стояла горка блюдец, и он был очень небрит.

— Садитесь,— сказал Харви,— я поджидал вас.

— А в чем дело?

— Ни в чем. Просто поджидал вас.

— На скачках были?

— Нет. С воскресенья не был.

— Что вам пишут из Америки?

— Ничего. Решительно ничего.

— А в чем дело?

— Не знаю. Я порвал с ними. Я решительно порвал с ними.— Он наклонился вперед и посмотрел мне в глаза.— Знаете, что я вам скажу, Джейк?

— Что?

— Я уже пять дней ничего не ел.

Я быстро подсчитал в уме. Три дня назад в Нью-йоркском баре Харви выиграл у меня двести франков в покерные кости.

— А в чем дело?

— Денег нет. Деньги не пришли.— Он помолчал.— Знаете, Джейк, это очень странно. Когда я такой, я люблю быть один. Мне хочется сидеть в своей комнате. Я как кошка.

Я порылся в кармане.

— Сотня устроит вас, Харви?

— Да.

— Вставайте. Пойдем обедать.

— Успеется. Выпейте со мной.

— Лучше бы вы поели.

— Нет. Когда я такой, мне все равно, есть или не есть.

Мы выпили. Харви прибавил мое блюдце к своей горке.

— Вы знаете Менкена, Харви?

— Да. А что?

— Какой он?

— Он ничего. Говорит очень смешные вещи. Я недавно обедал с ним, и мы заговорили о Гоффенхеймере. «Беда в том,— сказал Менкен,— что он прикидывается святошей». Это недурно.

— Верно, недурно.

— А вообще он выдохся,— продолжал Харви.— Он

уже написал обо всем, что знает, а теперь берется за все то, чего не знает.

— Он, должно быть, правда, ничего,— сказал я.— Только читать его я не могу.

— Ну, сейчас никто его не читает. Разве что те, кто когда-то читал труды Института Александра Гамильтона.

— Ну что ж,— сказал я.— И это было неплохо.

— Конечно,— поддакнул Харви.

Несколько минут мы сидели, погруженные в глубокомысленное молчание.

— Еще стаканчик?

— Давайте,— сказал Харви.

— А вот Кон идет,— сказал я.

Роберт Кон переходил улицу.

— Кретин,— сказал Харви.

Кон подошел к нашему столику.

— Привет, друзья,— сказал он.

— Привет, Роберт,— сказал Харви.— Я только что говорил Джейку, что вы кретин.

— Что это значит?

— Скажите сразу. Не думайте. Что бы вы сделали, если бы могли сделать все, что вам хочется?

Кон задумался.

— Не надо думать. Выкладывайте сразу.

— Не знаю,— сказал Кон.— А зачем это вообще?

— Просто — что бы вы сделали? Первое, что придет в голову. Как бы глупо это ни было.

— Не знаю,— сказал Кон.— Пожалуй, я охотнее всего опять стал бы играть в футбол, теперь, когда у меня есть тренировка.

— Я ошибся,— сказал Харви.— Это не кретинизм. Это просто случай задержанного развития.

— Вы ужасно остроумны, Харви,— сказал Кон.— Вы дождетесь, что кто-нибудь съездит вам по физиономии.

Харви Стоун засмеялся.

— Вы так думаете? Не съездит, не беспокойтесь. Потому что мне на это наплевать. Я не боксер.

— Вряд ли вам было бы наплевать.

— Именно было бы. В этом ваша основная ошибка. Вы плохо соображаете.

— Хватит говорить обо мне.

— Как угодно,— сказал Харви.— Мне наплевать на вас. Вы для меня нуль.

— Довольно, Харви,— сказал я.— Выпейте еще портвейну.

— Нет,— сказал он.— Я пойду куда-нибудь и поем. Еще увидимся, Джейк.

Он встал из-за стола и пошел по улице. Я смотрел, как он пересекает мостовую, маленький, грузный, с неторопливой уверенностью пробираясь между машинами.

— Он всегда ужасно злит меня,— сказал Кон.— Не выношу его.

— А мне он нравится,— сказал я.— Я даже люблю его. Не нужно на него злиться.

— Я знаю,— сказал Кон.— Просто он действует мне на нервы.

— Поработали сегодня?

— Нет. Сегодня не клеилось. Сейчас мне гораздо труднее, чем когда я писал первую книгу. Никак не могу наладиться.

Бодрая уверенность, с какой он ранней весной вернулся из Америки, уже исчезла. Тогда он не сомневался в своем литературном таланте, и его мучила только жажда приключений. Теперь эта уверенность исчезла. Мне кажется, что я как-то не сумел отчетливо обрисовать Роберта Кона. Дело в том, что, пока он не влюбился в Брет, он никогда не говорил ничего такого, что отличало бы его от других людей. Он красиво играл в теннис, был хорошо сложен, ловок; недурно играл в бридж и чем-то неуловимо напоминал студента. Я ни разу не слышал, чтобы он в большой компании сказал что-нибудь необычное. Он носил рубашки фасона поло,— как мы их называли в колледже и как их, вероятно, называют и теперь,— но не старался казаться моложе своих лет. Не думаю, чтобы он очень любил франтить. Внешне он сформировался в Принстоне. Внутренне он сложился под влиянием двух женщин, воспитавших его. В нем была милая мальчишеская веселость, которую ни той, ни другой не удалось вытравить из него, и я, вероятно, не сумел этого показать. Например, играя в теннис, он очень любил выигрывать. Ему, должно быть, хотелось выиграть не меньше, чем знаменитой Ленглен. С другой стороны, он не дулся, когда проигрывал. После того как он влюбился в Брет, все его мастерство пошло прахом. Он стал проигрывать таким теннисистам, которые никогда и не мечтали побить его. Но относился он к этому очень мило.

Итак мы сидели на террасе кафе Селект, и Харви Стоун только что пересек улицу.

— Поедем в Клозери-де-Лила,— сказал я.

— У меня свидание.

— В котором часу?

— Фрэнсис придет в четверть восьмого.

— А вот и она.

Фрэнсис Клайн переходила улицу, направляясь к нам. Она была очень высокая, шагала быстро, размашисто. Она сделала нам знак и улыбнулась. Мы смотрели, как она пересекает улицу.

— Здравствуйте,— сказал она.— Очень рада, Джейк, что вы здесь. Мне нужно поговорить с вами.

— Хэлло, Фрэнсис,— сказал Кон. Он улыбался.

— Ах, здравствуй, Роберт! И ты здесь?— Она продолжала, говоря очень быстро:— Дурацкий у меня день сегодня. Он,— она кивнула на Кона,— не пришел домой к обеду.

— Я и не должен был.

— О, я знаю. Но ты не предупредил прислугу. Потом я сговорилась с Паулой, но ее не оказалось в редакции. Я поехала к Ритцу и ждала ее там, а она не пришла, и у меня, конечно, не хватило денег, чтобы пообедать у Ритца.

— Ну, и что же вы сделали?

— Ушла оттуда, конечно.— Она говорила нарочито веселым тоном.— Я всегда держу свое слово. Никто этого теперь не делает. Ну, как поживаете, Джейк?

— Хорошо.

— Привел в дансинг хорошенькую девушку, а потом улизнул с этой Брет.

— Она тебе не нравится?— спросил Кон.

— Я нахожу, что она совершенно очаровательна. А ты?

Кон промолчал.

— Послушайте, Джейк. Мне нужно поговорить с вами. Пойдемте со мной напротив в кафе дю-Дом. А ты посидишь здесь, Роберт, ладно? Идем, Джейк.

Мы пересекли Бульвар Монпарнас и сели за столик. Подошел мальчишка-газетчик, я купил парижский выпуск «Таймса» и развернул ее.

— Что случилось, Фрэнсис?

— О, пустяки,— сказала она.— Он только хочет бросить меня.

— Как это «бросить»?

— Он всем говорил, что мы поженимся, и я сказала матери и всем, а теперь он не хочет.

— А что случилось?

— Он решил, что еще не успел насладиться жизнью. Я так и знала, что этим кончится, когда он поехал в Нью-Йорк.

Она взглянула на меня, блестя глазами и стараясь говорить небрежно.

— Я не выйду за него, если он того не хочет. Конечно, не выйду. Я теперь ни за что не выйду за него. Но только мне кажется, сейчас немножко поздно, после того как мы прождали три года и я как раз получила развод.

Я молчал.

— Мы хотели торжественно отпраздновать, а вместо этого у нас сплошная драма. Он как ребенок. Бьет себя в грудь, плачет и просит меня не волноваться, но он говорит, что просто не может этого сделать.

— Плохо дело.

— Еще бы не плохо. Два с половиной года я на него потратила. Теперь я даже не знаю, захочет ли кто на мне жениться. Два года назад я могла выйти за любого, там, в Каннах. Все старички, которые хотели остепениться и искали элегантную жену, за мной бегали. А теперь сомневаюсь, найду ли я кого-нибудь.

— Бросьте, вы и сейчас можете выйти за любого.

— Нет, не думаю. И потом я люблю его. И я хотела бы иметь детей. Я всегда считала, что у нас будут дети.— Она ясными глазами смотрела на меня.— Я никогда особенно не любила детей, но мне не хочется думать, что у меня их никогда не будет. Я всегда считала, что у меня будут дети, и тогда я полюблю их.

— У него есть дети.

— Да, есть. У него есть дети, и у него есть деньги, и у него мать богатая, и он написал книгу, а то, что я пишу, никто не хочет печатать, решительно никто. А пишу я вовсе не так плохо. И денег у меня совсем нет. Я могла бы выговорить себе алименты, но я хотела получить развод как можно скорее.— Она снова очень ясно взглянула на меня.— Это несправедливо. С одной стороны, я сама виновата. Но все-таки не во всем. Конечно, надо было быть умней. А когда я говорю ему, он просто начинает плакать и говорит, что не может жениться. А почему он не может жениться? Я была бы

хорошей женой. Со мной легко ладить. Я ему не мешаю. Но это не помогает.

— Скверная история.

— Да, скверная история. Но что толку говорить об этом. Пойдемте обратно в Селект.

— Я, сами понимаете, ничем не могу вам помочь.

— Нет, не можете. Только не говорите ему, что я вам сказала. Я знаю, что он хочет.— Тут она впервые оставила свой тягостно веселый тон.— Он хочет вернуться в Нью-Йорк один и быть там, когда выйдет его книга, чтобы иметь успех у девчонок. Вот чего он хочет.

— А может быть, он и не будет иметь успеха. И, по-моему, он вовсе не такой. Серьезно.

— Вы, Джейк, не знаете его так, как я. Именно этого он хочет. Я знаю. Знаю. Именно из-за этого он не хочет жениться. Он хочет этой осенью один насладиться своей славой.

— Вернемся в Селект?

— Да. Пойдемте.

Мы встали из-за столика — нам так ничего и не подали — и пошли через улицу в кафе Селект, где Кон сидел за мраморным столиком и, улыбаясь, поджидал нас.

— Ну, чему ты рад?— спросила его Фрэнсис.— Доволен всем на свете?

— Мне смешно, что вы с Джейком секретничаете.

— О, то, что я сказала Джейку, не секрет. Об этом скоро все узнают. Я только хотела преподнести это Джейку в приличной форме.

— О чем это? О том, что ты уезжаешь в Англию?

— Да, о том, что я уезжаю в Англию. Ах, Джейк! Об этом я и забыла сказать. Я еду в Англию.

— Так это же отлично.

— Да, это всегда так делается в порядочном обществе. Роберт отправляет меня в Англию. Он дает мне двести фунтов, и я еду погостить к друзьям. Правда, это будет очаровательно? Кстати, друзья еще ничего об этом не знают.

Она повернулась к Кону и улыбнулась ему. Он уже не улыбался.

— Ты хотел дать мне только сто фунтов, правда, Роберт? Но я заставила его дать двести. Он ведь очень щедрый. Не правда ли, Роберт?

Я не понимаю, как можно было говорить Роберту

Кону такие ужасные вещи. Есть люди, которым говорить оскорбительные вещи невозможно. Кажется, мир развалится, в полном смысле слова развалится тут же, на глазах, если сказать им такое. Но вот Кон сидел и слушал все это. Вот все это происходило при мне, и я даже не испытывал желания остановить ее. И это еще оказались милые шутки по сравнению с тем, что было дальше.

— Как ты можешь так говорить, Фрэнсис?— прервал ее Кон.

— Он еще спрашивает! Я еду в Англию. Я еду к друзьям погостить. Случалось вам гостить у друзей, которым вы не нужны? О, им придется так или иначе принять меня. «Как поживаете, дорогая? Сколько лет, сколько зим! Как поживает уважаемая матушка?» Да, как поживает уважаемая матушка? Она вложила все свои деньги во французский военный заем. Да, да. Вероятно, кроме нее, ни один человек на свете этого не сделал. «А как Роберт?» Или еще как-нибудь, очень осторожно, вокруг да около. «Будьте осторожны, не упоминайте о нем, дорогая. Бедняжка Фрэнсис так много пережила». Правда, Роберт, это будет весело? Как, по-вашему, Джейк, весело будет?

Она повернулась ко мне, улыбаясь своей нестерпимо ясной улыбкой. Она была очень довольна, что есть кому слушать ее.

— А что ты будешь делать, Роберт? Я сама виновата, я знаю. Я во всем сама виновата. Когда я заставила тебя отделаться от этой девочки, секретарши твоего журнала, я должна была понять, что ты также отделаешься от меня. Джейк не знает этой истории. Рассказать ему?

— Замолчи, Фрэнсис, ради бога.

— Нет, я расскажу ему. У Роберта в редакции была секретарша. Совершенно очаровательная девочка, и он считал, что она восхитительна, а потом появилась я, и он решил, что я тоже в достаточной мере восхитительна. Так вот, я заставила его отделаться от нее, а он в свое время, когда редакция перекочевала, привез ее в Провинстаун из Кармеля, и он даже не оплатил ей обратный проезд. И все это, чтобы доставить мне удовольствие. Тогда он находил меня интересной. Правда, Роберт?

Вы не подумайте, Джейк,— с секретаршей все было совершенно платонически. Даже и не платонически. Во-

обще ничего такого. Просто она была очень хорошенькая. А сделал он это, чтобы доставить мне удовольствие. Ну, что ж, взявший меч от меча и погибнет. Кстати сказано, правда? Советую тебе запомнить это, Роберт, для твоей очередной книги. Понимаете, Роберт собирает материал для новой книги. Так ведь, Роберт? Вот из-за этого он и бросает меня. Он решил, что я не фотогенична. Видите ли, все время, пока мы жили вместе, он так был занят своей книгой, что ничего про нас не запомнил. Так вот, он отправляется на поиски свежего материала. Ну что ж,— надеюсь, он набредет на что-нибудь безумно интересное.

Послушай, Роберт, дорогой мой. Вот что я тебе скажу. Ты не рассердишься? Никогда не устраивай сцен своим дамам сердца. Постарайся. Потому что ты не умеешь устраивать сцены и не плакать, а когда ты плачешь, тебе очень жалко себя и ты не можешь запомнить, что́ говорит твоя партнерша. Так ты никогда ни одного диалога не запомнишь. Ты постарайся не волноваться. Я знаю, это ужасно трудно. Но помни: это же во имя литературы. Мы все должны приносить жертвы во имя литературы. Вот я, например. Я еду в Англию и не прекословлю. Все во имя литературы. Мы все обязаны помогать молодым писателям. Не правда ли, Джейк? Но вы не молодой писатель. А ты, Роберт? Тебе тридцать четыре года. Впрочем, для великого писателя это, помоему, немного. Вспомните Харди. Вспомните Анатоля Франса. Он как раз недавно умер. Но Роберт считает, что Франс писатель неважный. Это ему его друзья французы сказали. Сам он не очень-то свободно читает по-французски. Он не был так талантлив, как ты, правда, Роберт? Как ты думаешь, приходилось ему отправляться на поиски материала? А что, по-твоему, он говорил своим любовницам, когда не хотел жениться на них? Интересно, он тоже плакал? Ах, что мне пришло в голову!— Она хлопнула себя по губам рукой в перчатке.— Я знаю, Джейк, настоящую причину, почему Роберт не хочет на мне жениться. Меня только что осенило. Откровение сошло на меня в кафе Селект. Какая мистика, правда? Со временем тут прибьют дощечку. Как в Лурд. Сказать, Роберт? Ну, слушай. Это проще простого. Как это раньше не пришло мне в голову. Видите ли, Роберт всегда хотел иметь любовницу, и если он на мне не женится, значит, у него была любовница. «Знаете, она больше двух лет была его любовницей». По-

нимаете? А если он на мне женится, как он всегда обещал,— тогда сразу конец всякой романтике. Правда, я очень остроумно все это вывела? И так оно и есть. Посмотрите на него и скажите, что это не так. Куда вы, Джейк?

— Мне нужно зайти в бар повидать Харви Стоуна.

Кон поднял глаза, когда я выходил в бар. Он был очень бледен. Почему он сидел тут? Почему он сидел и слушал все это?

Я стоял, прислонившись к стойке, и мне их видно было в окно. Фрэнсис все еще говорила, с ясной улыбкой, заглядывая ему в лицо каждый раз, как спрашивала: «Не правда ли, Роберт?» А может быть, теперь она этого не спрашивала. Может быть, она говорила что-нибудь другое. Я сказал бармену, что мне ничего не нужно, и вышел через другую дверь. Выйдя, я оглянулся, и сквозь двойную толщу стекла увидел их за столиком. Она все еще говорила. Я переулком прошел до Бульвара Распай. Мимо ехало такси, я остановил его и сказал шоферу адрес своей квартиры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда я начал подниматься по лестнице, консьержка постучала в стеклянную дверь своей каморки; я остановился, и она вышла ко мне. Она протянула мне несколько писем и телеграмму.

— Вот почта. И еще к вам приходила дама.

— Она оставила свою карточку?

— Нет. С ней был господин. Та самая, которая приходила сегодня ночью. Вы знаете, она оказалась очень милая.

— Она была с кем-нибудь из моих знакомых?

— Не знаю. Он никогда здесь не бывал. Он очень большой. Очень, очень большой. Она очень милая. Очень, очень милая. Ночью она, должно быть, была немножко...— Она подперла голову рукой и стала раскачиваться взад и вперед.— Скажу вам откровенно, мсье Барнс. Ночью она мне не показалась такой gentille[1]. Ночью я была другого мнения о ней. Но поверьте мне, она очень, очень милая. Она из очень хорошей семьи. Это по всему видно.

[1] Милая *(франц.)*.

— Они ничего не просили передать?

— Просили. Они сказали, что заедут через час.

— Когда они придут, попросите их наверх.

— Хорошо, мсье Барнс. А эта дама, эта дама не кто-нибудь. Немножко взбалмошная, может быть, но не кто-нибудь.

Консьержка, прежде чем стать консьержкой, держала ларек с напитками на парижском ипподроме. Ее трудовая жизнь протекала на кругу, но это не мешало ей изучать публику в ложах, и она с гордостью сообщала мне, кто из моих посетителей хорошо воспитан, кто из хорошей семьи, кто спортсмен,— слово это она произносила в нос и с ударением на последнем слоге. Единственное неудобство заключалось в том, что люди, не относящиеся ни к одной из этих категорий, рисковали никогда не застать меня дома. Один из моих друзей, весьма недокормленного вида художник, который, очевидно, в глазах мадам Дюзинель не был ни хорошо воспитан, ни из хорошей семьи, ни спортсмен, написал мне письмо с просьбой выхлопотать для него пропуск, чтобы он мог пройти мимо моей консьержки, если ему захочется заглянуть ко мне вечерком.

Я поднялся к себе, стараясь угадать, чем Брет пленила мою консьержку. Телеграмма была от Билла Гортона с известием, что он приезжает пароходом «Франция». Я положил почту на стол, пошел в ванную, разделся и принял душ. Когда я вытирался, у входной двери послышался звонок. Я надел халат и туфли и пошел к двери. Это была Брет. За ней стоял граф. В руках он держал большой букет роз.

— Хэлло, милый!— сказала Брет.— Вы не желаете нас принять?

— Пожалуйста. Я только что искупался.

— Вот счастливец — искупался.

— Только душ принял. Садитесь, граф Миппипопуло. Что будем пить?

— Не знаю, сэр, большой ли вы любитель цветов,— сказал граф,— но я взял на себя смелость принести вам эти розы.

— Дайте их мне.— Брет взяла букет.— Налейте сюда воды, Джейк.

Я вышел на кухню, налил воды в большой глиняный кувшин, и Брет сунула в него розы и поставила их на середину обеденного стола.

— Ну и денек выдался!

— Вы не помните, мы как будто условились встретиться в Крийоне?

— Нет. Разве мы условились? Значит, я была пьяна до бесчувствия.

— Вы были совсем пьяная, дорогая,— сказал граф.

— Да. Граф был ужасно мил.

— Консьержка теперь в восторге от вас.

— Ну, еще бы. Я дала ей двести франков.

— Какая глупость!

— Не свои, его,— сказала она, кивая на графа.

— Я решил, что нужно дать ей что-нибудь за беспокойство вчера ночью. Было очень поздно.

— Он изумителен,— сказала Брет.— Он всегда помнит все, что было.

— Как и вы, дорогая.

— Фантазируете,— сказала Брет.— И кому это нужно? Послушайте, Джейк, вы дадите нам сегодня выпить?

— Доставайте, а я пока оденусь. Вы ведь знаете, где что найти.

— Как будто знаю.

Пока я одевался, я слышал, как Брет ставит на стол сифон и стаканы, а потом я услышал их голоса. Я одевался медленно, сидя на кровати. Я чувствовал себя усталым, и на душе было скверно. Брет вошла в комнату со стаканом в руке и села на кровать.

— Что с тобой, милый? Не в духе?

Она поцеловала меня в лоб.

— Ах, Брет, я так тебя люблю.

— Милый,— сказала она. Потом:— Хочешь, чтобы я отправила его?

— Нет. Он славный.

— Я пойду отправлю его.

— Нет, не надо.

— Да, да, я отправлю его.

— Нельзя же так вдруг.

— Нельзя, по-твоему? Посиди здесь. Он без ума от меня, поверь мне.

Она вышла из комнаты. Я лег ничком на кровать. Мне было очень тяжело. Я слышал, как они разговаривали, но не прислушивался. Брет вошла и села на кровать.

— Милый мой, бедненький!— Она погладила меня по голове.

— Что ты ему сказала?— Я лежал, отвернувшись. Я не хотел видеть ее.

— Послала его за шампанским. Он любит покупать шампанское.— Потом, немного погодя:— Тебе лучше, милый? Легче голове?

— Легче.

— Лежи спокойно. Он поехал на другой конец города.

— Нельзя ли нам жить вместе, Брет? Нельзя ли нам просто жить вместе?

— Не думаю. Я бы изменяла тебе направо и налево. Ты бы этого не вынес.

— Сейчас выношу ведь.

— Это другое дело. В этом я виновата, Джейк. Уж такая я уродилась.

— Нельзя ли нам уехать на время из города?

— Это ни к чему не приведет. Поедем, если хочешь. Но я не смогу спокойно жить за городом. Даже с любимым.

— Знаю.

— Это ужасно. Я думаю, можно не говорить тебе, что я тебя люблю.

— Что я тебя люблю, ты знаешь.

— Давай помолчим. Все слова впустую. Я уезжаю от тебя, да и Майкл возвращается.

— Почему ты уезжаешь?

— Так лучше для тебя. И лучше для меня.

— Когда ты едешь?

— Как можно скорее.

— Куда?

— В Сан-Себастиан.

— Нельзя ли нам поехать вместе?

— Нет. Это было бы уже совсем дико, после того как мы только что все обсудили.

— Мы ни до чего не договорились.

— Ах, ты же знаешь не хуже меня. Не упрямься, милый.

— Ну, конечно,— сказал я.— Я знаю, что ты права. Просто я раскис, а когда я раскисаю, я говорю глупости.

Я сел, нагнулся, нашел свои ботинки возле кровати и надел их. Потом встал.

— Не надо так глядеть, милый.

— А как ты хочешь, чтобы я глядел?

— Ах, не ломайся. Я завтра уезжаю.

— Завтра?
— Да. Разве я не говорила? Завтра.
— Тогда пойдем выпьем. Граф сейчас вернется.
— Да, пора бы ему вернуться. Ты знаешь, замечательно, как он покупает шампанское. Для него это страшно важно.

Мы пошли в столовую. Я взял бутылку коньяку и налил Брет и себе. У дверей зазвонил колокольчик. Я пошел отворять — вернулся граф. За его спиной стоял шофер с корзиной шампанского.

— Куда поставить, сэр?— спросил граф.
— На кухню,— ответила Брет.
— Поставьте туда, Анри,— показал рукой граф.— Теперь ступайте вниз и принесите лед.— Пока корзину водворяли на место, граф стоял в дверях кухни и смотрел ей вслед.— Надеюсь, вино вам понравится,— сказал он.— Я знаю, что сейчас у нас в Америке редко приходится отведать хорошего вина, и не считаю себя знатоком. Но это я взял у приятеля, который занимается виноделием.
— Где только у вас нет приятелей,— сказала Брет.
— У него свои виноградники. На тысячи акров.
— Как его фамилия?— спросила Брет.— Вдова Клико?
— Нет,— ответил граф.— Мумм. Он барон.
— Это замечательно,— сказала Брет.— Мы все с титулами. Почему у вас, Джейк, нет титула?
— Уверяю вас, сэр,— граф дотронулся до моего рукава,— титул никогда не приносит пользы. Чаще всего это стоит денег.
— Ну, не знаю. Иногда это очень удобно,— сказала Брет.
— Мне это никогда никакой пользы не приносило.
— Вы не умеете им пользоваться. Мне мой титул всегда открывал огромный кредит.
— Садитесь, пожалуйста, граф,— сказал я.— Разрешите взять у вас трость.

Граф через стол, освещенный газовой лампой, смотрел на Брет. Она курила сигарету и стряхивала пепел на ковер. Увидев, что я заметил это, она сказала:

— Послушайте, Джейк, так я могу испортить ваш ковер. Дайте человеку пепельницу.

Я нашел несколько пепельниц и расставил их. Шофер принес ведро со льдом, посыпанным солью.

— Заморозьте две бутылки, Анри!— крикнул граф.

— Больше ничего не прикажете, мсье?
— Нет. Подождите внизу с машиной.— Он повернулся к Брет и ко мне.— Поедем обедать в Булонский лес?
— Как хотите,— сказала Брет.— Я лично есть не хочу.
— А я никогда не откажусь от хорошего обеда,— сказал граф.
— Принести вино, мсье?— спросил шофер.
— Да, Анри, принесите,— сказал граф. Он вынул толстый портсигар из свиной кожи и протянул его мне.— Не угодно ли настоящую американскую сигару?
— Спасибо,— сказал я.— Я докурю свою сигарету.
Он срезал кончик сигары золотой гильотинкой, висевшей на цепочке от часов.
— Я люблю, когда сигара как следует тянется,— сказал граф.— Половина сигар, которые куришь, не тянутся.
Он раскурил сигару и, попыхивая, глядел через стол на Брет.
— А когда вы получите развод, леди Эшли, у вас титула уже не будет.
— Не будет. Какая жалость.
— Нет,— сказал граф.— Вам титул не нужен. В вас и так видна порода.
— Благодарю вас. Вы очень любезны.
— Я не шучу.— Граф выпустил струю дыма.— Я ни в ком еще не видел столько породы, сколько в вас. Это в вас есть. Вот и все.
— Очень мило с вашей стороны,— сказала Брет.— Мама была бы польщена. Может быть, вы это напишете, а я пошлю ей в письме?
— Я бы и ей это сказал,— ответил граф.— Я не шучу. Я никогда не подшучиваю над людьми. Шутить над людьми — значит, наживать себе врагов. Я всегда это говорю.
— Вы правы,— сказала Брет.— Вы страшно правы. Я всегда вышучиваю людей, и у меня нет ни одного друга на свете. Кроме вот Джейка.
— Над ним вы не подшучиваете.
— Вот именно.
— А может быть, все-таки?— спросил граф.— И над ним подшучиваете?
Брет взглянула на меня, и в уголках ее глаз собрались морщинки.

— Нет,— сказала она.— Над ним я не стала бы подшучивать.

— Вот видите,— сказал граф,— не подшучиваете.

— Господи, какой скучный разговор,— сказала Брет.— Не попробовать ли шампанского?

Граф наклонился и встряхнул бутылки в блестящем ведре.

— Оно еще недостаточно холодное. Вы все время пьете, дорогая. Почему вы не хотите просто поболтать?

— Я и так наболталась. Я всю себя выболтала Джейку.

— Мне бы хотелось, дорогая, послушать, как вы по-настоящему разговариваете. Когда вы говорите со мной, вы даже не кончаете фраз.

— Предоставляю вам кончать их. Пусть каждый кончает их по своему усмотрению.

— Это очень любопытный способ.— Граф наклонился и встряхнул бутылки.— Все же мне бы хотелось послушать, как вы разговариваете.

— Вот дурень, правда?— сказала Брет.

— Ну, вот,— граф вытащил бутылку из ведра,— теперь, должно быть, холодное.

Я принес полотенце, и он насухо вытер бутылку и поднял ее.

— Я предпочитаю пить шампанское из больших бутылок. Оно лучше, но его трудно заморозить.— Он держал бутылку и смотрел на нее.

Я поставил стаканы.

— Не откупорить ли?— предложила Брет.

— Да, дорогая. Сейчас я откупорю.

Шампанское было изумительное.

— Вот это вино!— Брет подняла свой стакан.— Надо выпить за что-нибудь. «За здоровье его величества».

— Это вино слишком хорошо для тостов, дорогая. Не следует примешивать чувства к такому вину. Вкус теряется.

Стакан Брет был пуст.

— Вы должны написать книгу о винах, граф,— сказал я.

— Мистер Барнс,— ответил граф,— все, что я требую от вин, это — наслаждаться ими.

— Давайте насладимся еще немного.— Брет подставила свой стакан. Граф осторожно наполнил его.

— Пожалуйста, дорогая. Насладитесь этим медленно, а потом можете напиться.

— Что-о? Напиться?

— Дорогая, вы очаровательны, когда напьетесь.

— Вы слышите, что он говорит?

— Мистер Барнс,— граф наполнил мой стакан,— это единственная женщина из всех, кого я знавал на своем веку, которая так же очаровательна пьяная, как и трезвая.

— Вы немного, должно быть, видели на своем веку.

— Ошибаетесь, дорогая. Я очень многое видел на своем веку, очень, очень много.

— Пейте и не разговаривайте,— сказала Брет.— Мы все много видели на своем веку. Не сомневаюсь, что Джейк видел ничуть не меньше вашего.

— Дорогая, я уверен, что мистер Барнс очень много видел. Не думайте, сэр, что я этого не думаю. Но я тоже много видел.

— Конечно, видели, милый,— сказала Брет.— Я просто пошутила.

— Я участвовал в семи войнах и четырех революциях,— сказал граф.

— Воевали?— спросила Брет.

— Случалось, дорогая. И был ранен стрелами. Вам приходилось видеть раны от стрел?

— Покажите.

Граф встал, расстегнул жилет и распахнул верхнюю рубашку. Он задрал нижнюю до подбородка, открыв черную грудь и могучие брюшные мышцы, вздувавшиеся в свете газовой лампы.

— Видите?

Пониже того места, где кончались ребра, было два белых бугорка.

— Посмотрите сзади, где они вышли.— Повыше поясницы было два таких же шрама, в палец толщиной.

— Ну-ну! Вот это действительно.

— Насквозь.

Граф засовывал рубашку в брюки.

— Где это вас?— спросил я.

— В Абиссинии. Мне было тогда двадцать один год.

— А что вы делали?— спросила Брет.— Вы были в армии?

— Я ездил по делам, дорогая.

— Я же вам говорила, что он свой.— Брет повернулась ко мне.— Я люблю вас, граф. Вы прелесть.

— Я счастлив, дорогая. Но только это неправда.

— Не будьте идиотом.

— Понимаете, мистер Барнс, именно потому, что я очень много пережил, я теперь могу так хорошо всем наслаждаться. Вы не согласны со мной?

— Согласен. Вполне.

— Я знаю,— сказал граф.— В этом весь секрет. Нужно найти истинные ценности.

— А с вашими ценностями никогда ничего не случается?— спросила Брет.

— Нет. Больше не случается.

— Никогда не влюбляетесь?

— Всегда,— сказал граф.— Я всегда влюблен.

— А как это отражается на ваших ценностях?

— Это входит в число моих ценностей.

— Нет у вас никаких ценностей. Вы мертвый — и больше ничего.

— Нет, дорогая. Вы неправы. Я совсем не мертвый.

Мы выпили три бутылки шампанского, и граф оставил корзину у меня на кухне. Мы пообедали в одном из ресторанов Булонского леса. Обед был хороший. Еда занимала почетное место среди ценностей графа. Как и вино. Граф был в ударе во время обеда. Брет тоже. Вечер прошел приятно.

— Куда вы хотите поехать?— спросил граф после обеда. В ресторане уже никого, кроме нас, не было. Оба официанта стояли прислонившись к двери. Им хотелось домой.

— Можно поехать на Монмартр,— сказала Брет.— Правда, как хорошо мы провели время?

Граф сиял. Он был чрезвычайно доволен.

— Вы — милейшие люди,— сказал он. Он уже опять курил сигару.— Отчего вы не поженитесь?

— Мы хотим жить каждый по-своему,— сказал я.

— Не хотим портить друг другу карьеру,— сказала Брет.— Пойдемте. Выйдем отсюда.

— Выпейте еще коньяку,— сказал граф.

— Там выпьем.

— Нет. Выпьем здесь, здесь тихо.

— Подите вы с вашей тишиной,— сказала Брет.— Что это мужчины вечно ищут тишину?

— Мы любим тишину,— сказал граф,— как вы, дорогая, любите шум.

— Ну, ладно,— сказала Брет.— Выпьем здесь.

— Гарсон!— позвал граф.

— Что прикажете?

— Какой у вас самый старый коньяк?
— Тысяча восемьсот одиннадцатого года, мсье.
— Подайте бутылку.
— Ну-ну. Заforsил. Верните официанта, Джейк.
— Послушайте, дорогая. Старый коньяк стоит своих денег в гораздо большей степени, чем все остальные мои древности.
— У вас много древностей?
— Полон дом.

В конце концов мы поехали на Монмартр. У Зелли было тесно, дымно и шумно. Музыка резала уши. Мы с Брет танцевали. Было так тесно, что мы еле могли двигаться. Негр-барабанщик помахал Брет. Мы попали в затор и танцевали на одном месте, как раз против него.
— Как поживайт?
— Отлично.
— Это карашо.

Белые зубы так и сверкали.
— Это мой большой друг,— сказала Брет.— Изумительный барабанщик.

Музыка кончилась, и мы пошли к столику, за которым сидел граф. Потом музыка снова заиграла, и мы танцевали. Я посмотрел на графа. Он сидел за столиком и курил сигару. Музыка опять кончилась.
— Пойдем к нему.

Брет пошла было к столику. Но музыка опять заиграла, и мы снова танцевали, стиснутые толпой.
— Ты не умеешь танцевать, Джейк. Лучше всех танцует Майкл.
— Он замечательно танцует.
— У него вообще много достоинств.
— Он мне нравится,— сказал я.— Я ужасно люблю его.
— Я выйду за него замуж,— сказала Брет.— Странно, я целую неделю о нем не думала.
— А разве ты ему не пишешь?
— Нет. Никогда не пишу писем.
— Но он, конечно, пишет?
— О да! И очень хорошие письма.
— Когда вы поженитесь?
— Почем я знаю? Как только развод получу. Майкл уговаривает свою мать, чтобы она раскошелилась.
— Может быть, я могу помочь?
— Брось дурить. У его родни куча денег.

Музыка кончилась. Мы подошли к столику. Граф встал.

— Очень мило,— сказал он.— На вас было очень, очень приятно смотреть.

— А вы не танцуете, граф?— спросил я.

— Нет. Я слишком стар.

— Да бросьте,— сказала Брет.

— Дорогая, я танцевал бы, если бы это доставляло мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие смотреть, как вы танцуете.

— Отлично,— сказала Брет.— Я еще как-нибудь потанцую для вас. Да, а где же ваш дружок Зизи?

— Вот что я вам скажу. Я помогаю ему, но я предпочитаю его не видеть.

— С ним трудно.

— Знаете, мне кажется, что из него выйдет художник. Но я лично предпочитаю не видеть его.

— Джейк тоже.

— У меня от него мурашки по спине бегают.

— Да.— Граф пожал плечами.— Нельзя знать, что из него выйдет. Но его отец был большим другом моего отца.

— Идем танцевать,— сказала Брет.

Мы танцевали. Была толкотня и давка.

— Ох, милый!— сказала Брет.— Я такая несчастная.

Я очень ясно почувствовал,— как это иногда бывает,— что все это уже происходило когда-то.

— Минуту назад ты была довольна и счастлива.

Барабанщик громко запел:

— «Напрасно дважды...»

— Все это ухнуло.

— А что случилось?

— Не знаю. Мне просто скверно.

«. . . . . . .»,— пропел барабанщик. Потом снова взялся за свои палочки.

— Хочешь уйти?

У меня было такое чувство, какое бывает во время кошмара — как будто все повторяется, как будто я все это уже раз проделал и теперь должен проделать снова.

«. . . . . . .»,— негромко тянул барабанщик.

— Уйдем,— сказала Брет.— Ты как?

«. . . . . . .»,— громко крикнул барабанщик и ухмыльнулся Брет.

— Хорошо,— сказал я. Мы вышли из толпы.

Брет пошла в гардеробную.

— Брет хочет уйти,— сказал я графу.

Он кивнул.

— Вот как? Отлично. Возьмите машину. Я еще посижу немного, мистер Барнс.

Мы пожали друг другу руки.

— Я чудесно провел вечер,— сказал я.— Прошу вас, позвольте мне...— Я вынул бумажник.

— Бросьте, мистер Барнс,— сказал граф.

Брет, уже в манто, подошла к столику. Она поцеловала графа и положила ему руку на плечо, чтобы он не вставал. Когда мы выходили, я оглянулся в дверях, и за его столиком уже сидели три девицы. Мы сели в просторную машину. Брет сказала шоферу адрес своего отеля.

— Нет, не подымайся,— сказала она у подъезда. Она позвонила, и двери открыли.

— Серьезно?

— Да. Пожалуйста.

— Спокойной ночи, Брет,— сказал я.— Мне очень грустно, что ты чувствуешь себя несчастной.

— Спокойной ночи, Джейк. Спокойной ночи, милый. Мы больше не увидимся.— Мы поцеловались, стоя перед дверью. Она оттолкнула меня. Мы снова поцеловались.— Не надо!— сказала Брет.

Она быстро повернулась и вошла в отель. Шофер отвез меня домой. Я дал ему двадцать франков, он поднес руку к козырьку, сказал: «Спокойной ночи, мсье»,— и уехал. Я позвонил. Дверь открылась, я поднялся к себе и лег в постель.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я увиделся с Брет только после ее возвращения из Сан-Себастиана. Оттуда я получил от нее открытку с видом бухты Конча. Она писала: «Милый! Здесь хорошо и спокойно. Привет всем. Брет».

И Роберта Кона я не видел. Я слышал, что Фрэнсис уехала в Англию, а от Кона я получил записку, в которой он сообщал, что уезжает из города на несколько недель, еще сам не знает куда, но что он непременно хочет отправиться со мной в Испанию на рыбную ловлю, как мы сговаривались прошлой зимой. Адрес, писал он, я всегда могу узнать у его банкира.

Брет не было, Кон не докучал мне своими горестями, я даже радовался, что не нужно играть в теннис, работы было очень много. Я часто бывал на скачках, обедал с друзьями и поздно засиживался в редакции, делая загон материала, чтобы в конце июня, когда мы с Биллом Гортоном поедем в Испанию, можно было все оставить на секретаря. Билл Гортон приехал, пожил у меня несколько дней и отправился в Вену. Он был очень весел и говорил, что в Штатах чудесно. В Нью-Йорке чудесно. Театральный сезон прошел с блеском, и появился целый выводок молодых светил среди боксеров полутяжелого веса. От каждого из них можно было ожидать, что он разовьется, наберет веса и побьет самого Демпси. Билл просто сиял. Он заработал уйму денег своей последней книгой и собирался заработать еще больше. Мы хорошо провели с ним время в Париже, а потом он отправился в Вену. Он хотел вернуться через три недели, и тогда мы должны были поехать в Испанию ловить рыбу, а потом в Памплону, на фиесту [1]. Он писал, что в Вене чудесно. Потом — открытка из Будапешта: «Джейк, в Будапеште чудесно». Потом пришла телеграмма: «Приеду понедельник».

В понедельник вечером он явился. Я услыхал, как остановилось его такси, подошел к окну и окликнул его; он помахал мне и стал подниматься по лестнице со свои-

---

[1] Фиеста — празднество *(испанск.)*.

ми чемоданами. Я вышел к нему на лестницу и взял один из чемоданов.

— Ну,— сказал я,— ты, кажется, чудесно покатался?

— Чудесно,— сказал он.— Будапешт совершенно изумительный город.

— А Вена?

— Совсем не то, Джейк. Совсем не то. Она оказалась хуже, чем я думал.

— А что такое?— Я доставал стаканы и сифон.

— Пьян был, Джейк. Я был пьян.

— Вот странно! На, выпей.

Билл потирал лоб.

— Удивительное дело,— сказал он.— Не знаю, как это случилось. Вдруг, ни с того ни с сего, случилось.

— И долго?

— Четыре дня, Джейк. Ровно четыре дня.

— Где же ты был?

— Не помню. Послал тебе открытку. Это помню отлично.

— А еще что-нибудь делал?

— Не уверен. Возможно.

— Ну, дальше. Рассказывай.

— Не могу вспомнить. Я все рассказал, что помню.

— Ну, ну, дальше. Выпей вот это и вспомни.

— Может быть, кое-что и вспомню,— сказал Билл.— Припоминаю состязание боксеров. Грандиозное состязание на венский приз. Участвовал негр. Негра помню отлично.

— Ну, дальше.

— Изумительный негр. Похож на Тигра Флауерса, но толще раза в четыре. Вдруг все стали швыряться. Кроме меня. Негр только что свалил с ног венца. Негр поднял руку в перчатке. Хотел сказать речь. Страшно благородно выглядел негр. Начал говорить. Тогда белый венец ударил его. Тогда он нокаутировал белого венца. Тогда все стали швыряться стульями. Негр поехал домой в нашей машине. Не успел взять свое платье. Надел мое пальто. Теперь все вспомнил. Большой спортивный вечер.

— А чем кончилось?

— Одолжил негру кое-что из одежды и поехал с ним добывать его деньги. Нам заявили, что негр еще им должен за повреждение зала. Кто же переводил? Я, что ли?

— Вероятно, не ты.

— Правильно. Совсем не я. Кто-то другой. Мы еще

звали его профессором, кажется. Теперь вспомнил его. Учится музыке.

— Ну и что из этого вышло?

— Ничего хорошего, Джейк. Нет на свете справедливости. Импрессарио заявил, что негр обещал сдаться местному чемпиону. Что негр нарушил контракт. Нельзя нокаутировать венского чемпиона в Вене. «Боже мой, мистер Гортон,— сказал негр.— Целых сорок минут я только и делал, что старался ему сдаться. Этот белый мальчик, должно быть, надорвался, замахиваясь на меня. Я и пальцем его не тронул».

— Деньги получили?

— Никаких денег, Джейк. Все, что мы выручили, это одежду негра. Часы его тоже пропали. Замечательный негр. Не нужно мне было ездить в Вену. Неважный город, Джейк. Неважный.

— А негр что?

— Уехал обратно в Кельн. Живет там. Женат. Дети есть. Обещал написать мне и вернуть деньги, которые я одолжил ему. Изумительный негр. Надеюсь, я не перепутал адрес.

— Будем надеяться.

— Ну, ладно, пойдем обедать,— сказал Билл.— Или, может быть, ты хочешь еще путевых очерков?

— Валяй.

— Пойдем обедать.

Мы спустились вниз и вышли на Бульвар Сен-Мишель. Был теплый июньский вечер.

— Куда пойдем?

— Пообедаем на острове?

— Давай.

Мы пошли вниз по Бульвару. На перекрестке улицы Денфер-Рошеро и Бульвара стоит статуя двух мужчин в развевающихся одеждах.

— Я знаю, кто это.— Билл остановился, разглядывая памятник.— Эти господа выдумали фармакологию. Не втирай мне очки. Я знаю цену твоему Парижу.

Мы пошли дальше.

— Вот набивка чучел,— сказал Билл.— Хочешь купить что-нибудь? Чучело собачки?

— Пойдем,— сказал я.— Ты хлебнул лишнего.

— Очень хорошенькие собачки,— сказал Билл.— Они очень украсят твою квартиру.

— Пойдем.

— Только одну собачку. В сущности, мне, конечно,

наплевать. Но послушай, Джейк,— только одну-единственную собачку.

— Пойдем.

— Когда ты купишь ее, ты в ней души не будешь чаять. Простой обмен ценностями. Ты даешь деньги. Тебе дают чучело собачки.

— Купим на обратном пути.

— Ладно. Пусть будет по-твоему. Дорога в ад вымощена некупленными чучелами собак. Не моя вина.

Мы пошли дальше.

— Что тебе вдруг полюбились собаки?

— Всегда любил собак. Всегда был большим любителем чучел.

Мы остановились у киоска и выпили.

— Несомненно люблю выпить,— сказал Билл.— Не мешало бы и тебе, Джейк, попробовать.

— Ты на сто сорок четыре очка впереди меня.

— Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях.

— Где ты успел выпить?

— Заезжал в Крийон. Жорж смешал мне несколько коктейлей. Жорж — великий человек. Знаешь, в чем секрет его успеха? Никогда не падает духом.

— Если ты выпьешь еще три рюмки перно, ты упадешь духом.

— На людях не упаду. Как только я почувствую, что падаю духом, я уйду. Я как кошка.

— Где ты видел Харви Стоуна?

— В Крийоне. Харви слегка упал духом. Три дня ничего не ел. Вообще прекратил есть. Уходит, как кошка. Довольно грустно.

— Он ничего.

— Чудесный. Все-таки лучше бы он не уходил, как кошка. Неприятно.

— Что будем делать вечером?

— Не играет роли. Лишь бы не падать духом. А вдруг тут есть крутые яйца? Если тут есть крутые яйца, мы можем не тащиться на остров.

— Не выдумывай,— сказал я.— Мы пойдем и пообедаем честь честью.

— Я только предлагаю,— сказал Билл.— Хочешь идти?

— Идем.

Мы пошли дальше по Бульвару. Нас обогнал фиакр. Билл посмотрел ему вслед.

— Видишь этот фиакр? Я закажу из него чучело и подарю тебе к рождеству. Всем своим друзьям подарю по чучелу. Я натуралист.

Нас обогнало такси; кто-то, сидящий в нем, помахал рукой, потом постучал шоферу, чтобы тот остановился. Шофер осадил к тротуару. В такси сидела Брет.

— Прекрасная незнакомка,— сказал Билл,— собирается похитить нас.

— Хэлло!— сказала Брет.— Хэлло!

— Познакомьтесь: Билл Гортон, леди Эшли.

Брет улыбнулась Биллу.

— Я только что приехала. Даже ванны не успела принять. Майкл приезжает сегодня вечером.

— Отлично. Пообедайте с нами, и мы все пойдем встречать его.

— Мне нужно помыться.

— Ну, ерунда! Пойдемте.

— Мне нужно принять ванну. Он приедет не раньше девяти.

— Тогда пойдем выпьем, а потом примете ванну.

— Это можно. Очень разумная мысль.

Мы сели в такси. Шофер оглянулся.

— Подъезжайте к ближайшему бистро,— сказал я.

— Уж лучше поедем в Клозери,— сказала Брет.— Не могу пить их противный коньяк.

— Клозери-де-Лила.

Брет повернулась к Биллу.

— Вы давно в этом чумном городе?

— Только сегодня приехал из Будапешта.

— А как было в Будапеште?

— Чудесно. В Будапеште было чудесно.

— Спросите его про Вену.

— Вена,— сказал Билл,— очень странный город.

— Очень похож на Париж.— Брет улыбнулась ему, и в уголках ее глаз собрались морщинки.

— Правильно,— сказал Билл.— Очень похож на Париж в данную минуту.

— Да, нелегко будет вас догнать.

Мы уселись на террасе кафе Клозери. Брет заказала виски с содовой, я себе тоже, а Билл взял еще рюмку перно.

— Как живете, Джейк?

— Отлично,— сказал я.— Я прекрасно провел время.

Брет посмотрела на меня.

— Я сделала глупость, что уехала,— сказала она.— Идиотство уезжать из Парижа.

— Хорошо провели время?

— Ничего. Интересно было. Но не слишком весело.

— Кого-нибудь видели?

— Нет, почти что никого. Я совсем не выходила.

— Разве вы не купались?

— Нет. Ничего не делала.

— Похоже на Вену,— сказал Билл.

Брет посмотрела на него, морща уголки глаз.

— Ах, вот как было в Вене.

— В Вене было по-всякому.

Брет снова улыбнулась ему.

— Ваш друг очень мил, Джейк.

— Он ничего,— сказал я.— Он занимается набивкой чучел.

— Это было в чужой стране,— сказал Билл.— А кроме того, все животные были покойники.

— Еще глоточек,— сказала Брет,— и я побежала. Пошлите, пожалуйста, за такси.

— Да вот они стоят. Как раз напротив.

— Ладно.

Мы выпили по последней и посадили Брет в такси.

— Не забудьте, в Селекте к десяти часам. Пусть он тоже приходит. И Майкл будет.

— Мы придем,— сказал Билл.

Машина тронулась, и Брет помахала нам рукой.

— Вот это женщина,— сказал Билл.— Ужасно мила. Кто такой Майкл?

— Тот, за кого она собирается замуж.

— Ну-ну,— сказал Билл.— Судьба мне знакомиться с людьми именно в этой стадии. Что им послать? Может быть, чучела скаковых лошадей?

— Давай пообедаем.

— Она правда с титулом?— осведомился Билл, когда машина везла нас на остров Сен-Луи.

— О да! Записана в родословной книге и все такое.

— Ну-ну.

Мы пообедали в ресторане мадам Леконт на дальнем конце острова. Там было полно американцев, и нам пришлось стоять и дожидаться места. Кто-то включил ресторан Леконт в список, находящийся в Американском женском клубе, охарактеризовав его как ориги-

нальный уголок на парижской набережной, еще не тронутый американцами, и поэтому мы три четверти часа дожидались столика. Билл обедал здесь в тысяча девятьсот восемнадцатом году, сейчас же после объявления перемирия, и мадам Леконт встретила его с распростертыми объятиями.

— Столика мы все-таки этим не заработали,— сказал Билл.— Но великолепная женщина.

Обед был хороший: жареная курица с зеленым горошком и картофельным пюре, салат, яблочный пирог и сыр.

— У вас просто не протолкнешься,— сказал Билл мадам Леконт.

Она подняла руку.

— И не говорите!

— Разбогатеете.

— Надеюсь.

Выпив кофе и по рюмочке коньяку, мы попросили счет, который, как всегда, был написан мелом на грифельной доске, что, несомненно, составляло одну из «оригинальных» черт ресторана, заплатили, пожали мадам Леконт руку и направились к двери.

— Вас совсем больше не видно, мсье Барнс,— сказала мадам Леконт.

— Слишком много соотечественников.

— Приходите к завтраку. Тогда не так полно.

— Хорошо. Непременно приду.

Мы шли под деревьями, окаймлявшими реку в том конце острова, который обращен к Орлеанской набережной. За рекой виднелись полуразрушенные стены старых домов.

— Их сносят. Там проложат улицу.

— Видимо, так,— сказал Билл.

Мы обошли кругом весь остров. По темной реке, сияя огнями, быстро и бесшумно скользнул паровичок и исчез под мостом. Ниже по течению Собор богоматери громоздился на вечернем небе. С Бетюнской набережной мы перешли на левый берег по деревянному мосту; мы постояли на мосту, глядя вниз по реке на собор. Отсюда остров казался очень темным, деревья — тенями, дома тянулись в небо.

— Красиво все-таки,— сказал Билл.— До чего я рад, что вернулся.

Мы облокотились на деревянные перила моста и смотрели вверх по реке на огни больших мостов. Вода

была гладкая и черная. Она не плескалась о быки моста. Мимо нас прошел мужчина с девушкой. Они шли обнявшись.

Мы перешли мост и поднялись по улице Кардинала Лемуана. Подъем был крутой, и мы шли пешком до самой площади Контрескарп. Свет дугового фонаря падал сквозь листья деревьев, а под деревьями стоял готовый к отправлению автобус. Из открытых дверей кафе «Веселый Негр» доносилась музыка. В окно кафе «Для Любителей» я увидел длинную, обитую цинком стойку. Снаружи, на террасе, сидели рабочие за вином. В открытой кухне кафе «Для Любителей» служанка жарила картофель на постном масле. Тут же стоял чугунок с тушеным мясом. Служанка накладывала мясо на тарелку для старика, который стоял возле нее с бутылкой красного вина в руке.

— Хочешь випить?

— Нет,— сказал Билл.— С меня хватит.

Мы свернули вправо с площади Контрескарп и пошли ровными, узкими улочками, между высокими старинными домами. Одни дома выдвигались вперед, другие отступали назад. Мы вышли на улицу По-де-фер и шли по ней до улицы Сен-Жак, потом свернули к югу, вдоль чугунной ограды обогнули больницу Валь-де-Грас и вышли на Бульвар дю Пор-Рояль.

— Теперь куда?— спросил я.— Зайдем в Селект и посидим с Брет и Майклом?

— Ну что ж.

Мы пошли по Бульвару дю Пор-Рояль, пока он не перешел в Бульвар Монпарнас, и дальше, мимо Клозери-де-Лила, ресторана Лавинь, Дамуа и всех маленьких кафе, пересекли улицу против Ротонды и мимо его огней и столиков дошли до кафе Селект.

Майкл вышел к нам навстречу из-за столиков. Он сильно загорел, и вид у него был цветущий.

— Хэлло, Джейк,— сказал он.— Хэлло! Хэлло! Как живете, дружище?

— Вы прекрасно поправились, Майкл.

— О да! Я страшно поправился. Я ничего не делал, только гулял. Гулял с утра до вечера. И только одну рюмочку с матерью за чаем.

Билл прошел в бар. Он разговаривал с Брет, которая сидела на высоком табурете, положив ногу на ногу. Она была без чулок.

— Рад видеть вас, Джейк,— сказал Майкл.— Я слегка пьян, знаете ли. Такой странный случай. Посмотрите на мой нос.

У него было пятно запекшейся крови на переносице.

— Это от чемоданов одной старушки,— сказал Майкл.— Я хотел достать их, чтобы помочь ей, а они посыпались на меня.

Брет поманила его из бара своим длинным мундштуком, морща уголки глаз.

— Старушка,— сказал Майкл.— Ее чемоданы так и посыпались на меня. Пойдемте к Брет. Она такая прелесть. Ты — очаровательная женщина, Брет. Откуда у тебя эта шляпа?

— Приятель подарил. Тебе не нравится?

— Ужасная шляпа. Купи себе хорошую шляпу.

— Ну конечно, мы теперь такие богатые,— сказала Брет.— Кстати, ты знаком с Биллом? Вы страшно внимательны, Джейк.— Она повернулась к Майклу.— Это — Билл Гортон. Этот пьяница — Майкл Кэмбелл. Мистер Кэмбелл — злостный банкрот.

— Ну, да. Знаете, вчера в Лондоне я встретил своего бывшего компаньона. Того, кто подкузьмил меня.

— Что он сказал?

— Угостил мень стаканчиком. Я решил, что не стоит отказываться. Знаешь, Брет, ты такая прелесть! Правда, она красавица?

— Уж и красавица. С таким-то носом!

— Очаровательный нос. Повернись ко мне носом. Ну, разве она не очаровательна?

— Неужели нельзя было устроить, чтобы он остался в Шотландии?

— Послушай, Брет, пойдем пораньше домой.

— Веди себя прилично, Майкл. Здесь дамы сидят.

— Правда, она очаровательна? Как, по-вашему, Джейк?

— Сегодня вечером бокс,— сказал Билл.— Хотите пойти?

— Бокс,— повторил Майкл.— Кто против кого?

— Леду́ и еще кто-то.

— Леду́ очень хорош,— сказал Майкл.— Мне хотелось бы посмотреть,— он старался взять себя в руки,— но я не могу пойти. У меня свидание, вот с ней. Послушай, Брет, купи себе новую шляпу.

Брет нахлобучила фетровую шляпу на один глаз и улыбнулась из-под широких полей.

— Вы оба ступайте на бокс. Мне придется отвезти мистера Кэмбелла прямо домой.

— Я не пьян,— сказал Майкл.— Может быть, чуть-чуть. Послушай, Брет, ты очаровательна.

— Ступайте,— сказала Брет.— Мистер Кэмбелл начинает заговариваться. Что это за взрывы нежности, Майкл?

— Послушай, ты очаровательна.

Мы попрощались.

— Мне очень жаль, что я не могу пойти с вами,— сказал Майкл. Брет засмеялась. В дверях я оглянулся. Майкл оперся рукой о стойку и, наклонившись к Брет, что-то говорил ей. Брет смотрела на него спокойно, но уголки ее глаз улыбались.

Выйдя на улицу, я спросил:

— Ну, что? Пошли на бокс?

— Пошли,— сказал Билл.— Только не пешком.

— Майкл совсем ошалел от своей возлюбленной,— сказал я в такси.

— Ну,— сказал Билл.— За это его и осуждать не приходится.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Встреча боксеров Леду́ и Фрэнсиса состоялась двадцатого июня. Встреча была интересной. На другое утро я получил письмо от Роберта Кона, из Андайи. Он живет очень тихо, писал он, купается, иногда играет в гольф и очень много в бридж. В Андайи великолепный пляж, но он ждет не дождется, когда поедет с нами ловить рыбу. Скоро ли я приеду? Если я буду так добр и куплю ему двойную лесу, он вернет мне деньги, когда я приеду.

В то же утро, сидя в редакции, я написал Кону, что мы с Биллом выезжаем из Парижа двадцать пятого,— в противном случае я буду телеграфировать,— и встретимся с ним в Байонне, а оттуда автобусом поедем через горы в Памплону. В тот же вечер около семи часов я заглянул в кафе Селект — повидаться с Майклом и Брет. Их там не было, и я пошел в кафе Динго. Они сидели в баре за стойкой.

— Хэлло, милый.— Брет протянула мне руку.

— Хэлло, Джейк,— сказал Майкл.— Я, кажется, был навеселе вчера вечером?

— Мягко выражаясь,— сказала Брет.— Просто безобразие.

— Послушайте,— сказал Майкл,— когда вы едете в Испанию? Вы ничего не имеете против, если мы поедем с вами?

— Это будет замечательно.

— Вы серьезно ничего не имеете против? Я, знаете, бывал в Памплоне. Брет ужасно хочется поехать. Но мы, наверно, не будем вам обузой?

— Не говорите глупостей.

— Я слегка пьян, знаете ли. А то бы я не решился так прямо спросить вас. Вы, наверно, ничего не имеете против?

— Замолчи, Майкл,— сказала Брет.— Что ж ты хочешь, чтобы он тебе ответил? Я его после сама спрошу.

— Но вы ничего не имеете против?

— Если вы еще раз спросите, я рассержусь. Мы с Биллом едем двадцать пятого утром.

— Кстати, где Билл?— спросила Брет.

— Он в Шантильи, приглашен к кому-то на обед.

— Он славный.

— Чудесный,— сказал Майкл.— Именно чудесный.

— Ты же не помнишь его,— сказала Брет.

— Помню. Отлично помню его. Вот что, Джейк, мы приедем двадцать пятого вечером. Брет не может рано встать.

— Ну конечно!

— Если пришлют деньги и если вы наверно ничего не имеете против.

— Деньги пришлют. Я позабочусь об этом.

— Скажите, что нужно выписать.

— Два или три удилища с катушками, лесы и мух.

— Я не буду рыбу удить,— сказала Брет.

— Тогда два спиннинга. И Биллу не придется покупать.

— Хорошо,— сказал Майкл.— Я пошлю телеграмму нашему сторожу.

— Вот будет чудесно!— сказала Брет.— Испания! Повеселимся на славу.

— Двадцать пятого — когда это?

— В субботу.

— Придется поспешить со сборами.

— Ну вот что,— сказал Майкл,— я иду к парикмахеру.

— А мне нужно ванну принять,— сказала Брет.— Проводите меня до отеля, Джейк, будьте другом.

— Мы живем в замечательном отеле,— сказал Майкл.— По-моему, это бордель.

— Мы оставили свои вещи здесь, в кафе, когда приехали, и в отеле нас спросили, на сколько часов нам нужна комната. Страшно обрадовались, что мы остаемся на ночь.

— Уверен, что это бордель,— сказал Майкл.— Уж мне ли не знать.

— Ох, замолчи и ступай подстригись.

Майкл ушел. Брет и я остались сидеть за стойкой.

— Выпьем еще?

— Пожалуй.

— Теперь легче стало,— сказала Брет.

Мы пошли по улице Деламбр.

— Мы еще не виделись с тобой после моего приезда,— сказала Брет.

— Нет.

— Как живешь, Джейк?

— Отлично.

Брет взглянула на меня.

— Послушай,— сказала она.— Роберт Кон тоже едет с вами?

— Да. А что?

— Ты не думаешь, что ему будет тяжело?

— А почему?

— Как ты думаешь, с кем я ездила в Сан-Себастиан?

— Поздравляю,— сказал я.

Мы пошли дальше.

— Зачем ты это сказал?

— Не знаю. А что ты хочешь, чтобы я сказал?

Мы пошли дальше и свернули за угол.

— Он неплохо вел себя. Только с ним скучно.

— Вот как?

— Я думала, это пойдет ему на пользу.

— Советую тебе серьезно заняться благотворительностью.

— Не говори гадостей.

— Не буду.

— Ты правда не знал?

— Нет,— сказал я.— Вероятно, я не думал об этом.

— Как, по-твоему, ему не будет слишком тяжело?

— Это его дело,— сказал я.— Напиши ему, что ты едешь. Он же всегда может не поехать.

— Я напишу ему, чтобы он мог отказаться заранее.

После этого я не видел Брет до вечера двадцать четвертого июня.

— От Кона было что-нибудь?

— Да. Он в восторге.

— О господи!

— Я сама удивилась. Пишет, что ждет не дождется свидания со мной.

— Может быть, он думает, что ты едешь одна?

— Нет. Я написала ему, что мы едем все вместе. И Майкл и все.

— Он бесподобен.

— Правда?

Они рассчитывали, что деньги придут на следующий день. Мы условились встретиться в Памплоне: они едут прямо на Сан-Себастиан, а там пересаживаются. Мы все встретимся в Памплоне, в Отеле Монтойа. Если они не приедут до понедельника, то мы едем без них в горы, в Бургете, ловить рыбу. В Бургете ходит автобус. Я записал им подробный маршрут, чтобы они могли найти нас.

Мы с Биллом уехали утренним поездом с вокзала д'Орсэ. Был чудесный день, не слишком жаркий, и местность с самого начала была красивая. Мы пошли в вагон-ресторан и позавтракали. Уходя, я спросил у проводника билетики на обед в первую очередь.

— Все занято до пятой очереди.

— Что такое?

В этом поезде никогда не подавали обед больше чем в две очереди, и всегда было сколько угодно свободных мест.

— Все расписано,— сказал проводник вагон-ресторана.— Пятая очередь будет в три тридцать.

— Плохо дело,— сказал я Биллу.

— Дай ему десять франков.

— Возьмите,— сказал я.— Мы хотим пообедать в первую очередь.

Проводник сунул десять франков в карман.

— Спасибо,— сказал он.— Я бы посоветовал вам запастись сэндвичами. Все места на первые четыре очереди заказаны через управление дороги.

— Вы далеко пойдете, приятель,— сказал ему Билл по-английски.— Очевидно, дай я вам пять франков, вы посоветовали бы нам спрыгнуть с поезда.

— Comment? [1]

— Подите к черту!— сказал Билл.— Велите подать сэндвичи и бутылку вина. Скажи ему, Джейк.

— И пришлите в соседний вагон.— Я объяснил ему, где мы сидим.

В нашем купе сидели муж с женой и подросток сын.

— Вы, кажется, американцы?— спросил муж.— Приятное путешествие?

— Чудесное,— сказал Билл.

— Хорошо делаете. Путешествуйте, пока молоды. Вот мы с мамашей давно собирались в Европу, но пришлось немного подождать.

— Мы могли поехать десять лет назад, если бы ты хотел,— сказала жена.— Но ты всегда говорил: сперва посмотрим Америку! Что ни говори, а видели мы не мало.

— В нашем поезде полно американцев,— сказал муж.— Целых семь вагонов. Все из Дэйтона, штат Огайо. Это паломники. Они побывали в Риме, а теперь едут в Биарриц и Лурд.

— Ах, вот оно что! Паломники. Святоши сопливые,— сказал Билл.

— Из каких вы краев?

— Я из Канзас-Сити,— сказал я.— А он из Чикаго.

— Оба едете в Биарриц?

— Нет. Мы едем в Испанию ловить рыбу.

— Я сам этим никогда не занимался. Но у нас многие увлекаются. В нашем штате Монтана лучшие места для рыбной ловли. Я тоже рыбачил с приятелями, но никогда не увлекался.

— Страх как много ты рыбачил, когда ездил с приятелями,— сказала жена.

Он подмигнул нам.

— Женщины все одинаковы. Как только почуют флягу с вином или кружку пива, то уж ты, значит, пропащий человек.

— Мужчины всегда так,— сказала жена, обращаясь к нам. Она погладила свои полные колени.— Я голосовала против сухого закона, чтобы сделать ему удовольствие и потому, что я люблю, чтобы в доме было пиво, а теперь он вот что говорит. Удивительно, чего ради мы за них замуж выходим.

---

[1] Что? *(франц.)*

— А вы знаете,— сказал Билл,— что эта орава отцов-пилигримов захватила вагон-ресторан до половины четвертого?

— Что вы говорите? Этого быть не может!

— Пойдите попробуйте достать место.

— Тогда, мамаша, не пойти ли нам еще раз позавтракать?

Она встала и оправила платье.

— Посмотрите, пожалуйста, за нашими вещами. Идем, Хьюберт.

Они втроем отправились в ресторан. Немного спустя по вагону прошел проводник, объявляя о первой обеденной очереди, и паломники под предводительством своих патеров потянулись по коридору. Наш сосед с семейством не возвращался. По коридору прошел официант с нашими сэндвичами и бутылкой шабли, и мы позвали его.

— Достанется вам сегодня,— сказал я.

Он кивнул.

— Сейчас начинают, в десять тридцать.

— А когда мы есть будем?

— А я когда есть буду?

Он поставил бутылку и два стакана, мы заплатили за сэндвичи и дали ему на чай.

— Я приду за тарелками,— сказал он,— или захватите их с собой.

Мы ели сэндвичи, пили шабли и любовались видом из окна. Хлеб только что начал колоситься, и поля пестрели цветами мака. Пастбища были зеленые, мелькали живописные рощи, а иногда большие реки и вдали, среди деревьев — замки.

В Туре мы вышли и купили еще бутылку вина, и когда мы вернулись, джентльмен из Монтаны с женой и сыном Хьюбертом уже удобно расположились в купе.

— А в Биаррице хорошее купанье?— спросил Хьюберт.

— Мальчишка с ума сходит, пока не дорвется до воды,— сказала его мать.— В этом возрасте трудно сидеть смирно в поезде.

— Там хорошее купанье,— сказал я.— Но опасно в бурную погоду.

— Вы пообедали?— спросил Билл.

— Да, пообедали. Мы просто остались сидеть за столом, когда они пришли, и там, наверное, подумали, что

мы с ними. Официант сказал нам что-то по-французски, а потом троих отправили обратно.

— Они, конечно, приняли нас за паломников,— сказал муж.— Все-таки большая сила католическая церковь. Жаль, что вы, молодые люди, не католики. Тогда бы вы вовремя пообедали.

— Я католик,— сказал я.— Вот это-то и обидно.

Наконец в четверть пятого нам подали обед. Билл уже начал выходить из себя. Он взял за пуговицу патера, который возвращался в свое купе во главе партии паломников.

— Скажите, отец, а протестантам есть полагается?

— Я ничего не знаю. Разве у вас нет билетиков?

— Этак, пожалуй, и к Клану белых протестантов примкнешь,— сказал Билл.

Патер оглянулся на него.

В вагон-ресторане официанты в пятый раз подавали обед. Официант, прислуживавший нам, пропотел насквозь. Его белая куртка под мышками была лиловая.

— Он, наверно, много вина пьет.

— Или носит лиловое белье.

— Давай спросим его.

— Не надо. Он слишком устал.

В Бордо поезд стоял полчаса, и мы вышли через вокзал на улицу. Для поездки в город было слишком мало времени. Потом мы ехали по Ландам и любовались закатом. Между соснами виднелись широкие выжженные просеки, уходившие вдаль, точно улицы, а в конце их высились лесистые холмы. В половине восьмого мы пошли ужинать и любовались видом из открытого окна вагон-ресторана. Вся местность — песок и сосна, и повсюду заросли вереска. Попадались поляны с домиками, а время от времени показывалась лесопилка. Стемнело, и за окном чувствовались жаркие темные пески, а к девяти часам мы приехали в Байонну. Муж, жена и Хьюберт попрощались с нами за руку. Они ехали дальше, до Ла-Негресс, где была пересадка на Биарриц.

— Желаю вам всего лучшего,— сказал муж.

— Будьте поосторожнее на бое быков.

— Может быть, увидимся в Биаррице,— сказал Хьюберт.

Мы сошли с поезда, неся чемоданы и чехлы с удочками, и через темный вокзал вышли на освещенную площадь, где стояли фиакры и автобусы отелей. Там,

среди шоферов и агентов, дожидался Роберт Кон. Он не сразу увидел нас. Потом пошел нам навстречу.

— Хэлло, Джейк! Как доехали?

— Отлично,— сказал я.— Это Билл Гортон.

— Здравствуйте.

— Идемте,— сказал Роберт.— У меня фиакр.— Он был немного близорук, я раньше никогда не замечал этого. Он пристально и с видимым смущением вглядывался в незнакомое лицо Билла.

— Мы поедем в мой отель. Там хорошо. Вполне приемлемо.

Мы сели в фиакр, кучер пристроил чемоданы на козлы, потом взобрался сам, щелкнул кнутом, и мы через темный мост поехали в город.

— Я очень рад познакомиться с вами,— сказал Роберт Биллу.— Я столько слышал о вас от Джейка, и я читал ваши книги. Вы привезли мне леску, Джейк?

Фиакр остановился перед отелем, и мы все вылезли и вошли. Отель был хороший, и люди за конторкой очень приветливы, и мы с Биллом получили по уютной маленькой комнате.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утро было ясное, улицы поливали водой, и мы втроем позавтракали в кафе. Байонна красивый город. Он похож на очень чистый испанский город и лежит на большой реке. Уже сейчас, так рано утром, на мосту через реку было очень жарко. Мы прошли через мост, а потом погуляли по городу.

Я отнюдь не был уверен, что удочки Майкла вовремя придут из Шотландии, поэтому мы стали искать магазин рыболовных принадлежностей и в конце концов купили Биллу удочку где-то во втором этаже над галантерейной лавкой. Хозяин отлучился, и нам пришлось дожидаться его. Наконец он пришел, и мы купили недорогую, весьма приличную удочку и два сачка.

Выйдя из магазина, мы пошли посмотреть на собор. Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то,— не помню чего. Мне собор показался красивым, красивым и неярким, как испанские церкви. Потом мы пошли дальше, мимо старой крепости, и дошли до здания конторы, откуда должен был отправляться автобус. Там нам сказали, что автобусное движение откроется не раньше первого июля. В туристском бюро

мы узнали, сколько надо заплатить за автомобиль до Памплоны, и в большом гараже возле Городского театра наняли машину за четыреста франков. Она должна была заехать за нами в отель через сорок минут, и мы зашли в то же кафе на площади и выпили пива. Становилось жарко, но в воздухе еще пахло свежестью раннего утра, и сидеть в кафе было приятно. Подул ветерок, и чувствовалось, что прохладой тянет с моря. По площади расхаживали голуби, и дома были желтые, словно прокаленные солнцем, и мне не хотелось уходить из кафе. Но пора было идти в отель, сложить вещи и уплатить по счету. Расплатившись за пиво,— мы бросили жребий, и, кажется, платил Кон,— мы пошли в отель. На меня с Биллом пришлось только по шестнадцати франков плюс десять процентов надбавки за услуги, и мы отправили свои чемоданы вниз и стали ждать Роберта Кона. Пока мы ждали, я увидел на паркете вестибюля таракана, не меньше трех дюймов длиной. Я показал его Биллу, а потом наступил на него каблуком. Мы решили, что он, вероятно, только что приполз из сада. В отеле действительно было необыкновенно чисто.

Наконец Кон спустился вниз, и мы все вышли к машине. Машина оказалась большая, с откидным верхом, шофер был в белом пыльнике с голубым воротником и такими же обшлагами, и мы попросили его опустить верх. Он погрузил наши чемоданы, и машина тронулась. Мы ехали длинной улицей по направлению к окраине, мимо цветущих садов, и оглядывались назад, прощаясь с городом, а потом очутились среди зеленых холмов, и дорога пошла в гору. То и дело мы обгоняли воловьи и коровьи упряжки, тащившие повозки басков, мелькали аккуратные выбеленные фермы. Бискайя — плодородный, цветущий край, дома чистенькие, деревни, видимо, зажиточные. В каждом селении была площадка для игры в пелоти, где ребятишки кидали мяч под жарким солнцем. На церквах виднелись надписи, запрещающие кидать мяч о церковные стены, домики были крыты красной черепицей,— а потом дорога свернула и пошла еще круче, и мы стали подниматься по склону горы, и под нами была долина, а холмы уходили назад, в сторону моря. Моря не было видно. Оно было слишком далеко. Видны были только холмы и еще холмы, и чувствовалось, в какой стороне море.

Мы пересекли испанскую границу. Там была речка и мост и в одном конце его толстые усатые французы

в кепи, а в другом испанские карабинеры в лакированных треуголках, с короткими ружьями за спиной. У нас открыли только один чемодан, взяли наши документы и заглянули в них. С той и с другой стороны кордона было по большой лавке и по гостинице. Шоферу пришлось зайти в помещение пограничной стражи и заполнить какие-то бумаги, и мы вылезли из машины и подошли к реке посмотреть, есть ли там форель. Билл пытался заговорить по-испански с одним из карабинеров, но из этого ничего не вышло. Роберт Кон, показывая пальцем на воду, спросил, водится ли здесь форель, и карабинер сказал, что да, но ее немного.

Я спросил его, ловит ли он рыбу, и он ответил, что нет, он этим не занимается.

К мосту подходил бородатый старик с длинными выгоревшими на солнце волосами, в сшитой из мешковины одежде. Он опирался на длинную палку, а за спиной у него, головой вниз, висел козленок со связанными ногами.

Карабинер махнул ему саблей, чтобы он воротился. Старик, не сказав ни слова, повернул и пошел обратно по белой дороге в Испанию.

— Почему старика не пустили?— спросил я.

— У него нет пропуска.

Я предложил карабинеру сигарету. Он взял и поблагодарил меня.

— Что же он будет делать?— спросил я.

Карабинер сплюнул в пыль.

— Да просто перейдет реку вброд.

— Много у вас тут контрабанды?

— Да,— сказал он,— бывает.

Вышел шофер, на ходу складывая бумаги и пряча их во внутренний карман. Мы все сели в машину, и она покатила по белой пыльной дороге в Испанию. Сначала местность была почти такая же, как до границы; потом, все время поднимаясь в гору по спиралью вьющейся дороге, мы перевалили через вершину, и тут-то и началась настоящая Испания. Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной, и буковые леса на далеких склонах гор. Дорога сперва шла по верху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофер вдруг дал гудок, затормозил и свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов, заснувших на дороге. Горы остались позади, и мы въехали в дубовый лес, где паслись белые козы. Потом пошли поляны, поросшие травой, и прозрач-

ные ручьи, мы пересекли один ручей, миновали сумрачную деревушку и снова стали подниматься в гору. Мы поднимались выше и выше и опять добрались до перевала и повернули, и дорога пошла вниз, забирая вправо, и к югу открылась новая цепь высоких гор — бурые, словно спекшиеся на солнце и причудливо изборожденные ущельями.

Немного погодя горы кончились, появились деревья по обе стороны дороги, и ручей, и поля спелой пшеницы, и дорога бежала дальше, очень белая и прямая, а потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок, тесно окруженный строениями, и колыхаемое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо — я сидел впереди рядом с шофером. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне. Потом мы пересекли равнину, и справа в пролетах между деревьями сверкала на солнце широкая река, а вдали над равниной уже вставало Памплонское плато, и видны были городские стены, и высокий темный собор, и кресты на куполах других церквей. Позади плато были горы, и повсюду, куда ни повернись, были еще горы, а белая дорога бежала впереди нас по равнине прямо к Памплоне.

Обогнув плато, мы с другой стороны въехали в город по пыльной дороге, круто поднимавшейся между двумя рядами тенистых деревьев, а потом спустились в новую часть города, которую строят за стенами старого. Мы проехали мимо арены боя быков — высокое белое здание, казавшееся бетонным под солнцем, а потом переулком выехали на центральную площадь и остановились у подъезда Отеля Монтойа.

Шофер помог нам вытащить чемоданы. Вокруг машины столпились ребятишки, и на площади было жарко, деревья зеленели, флаги висели на своих шестах, и приятно было уйти от солнца в тень колоннады, которая тянется вокруг всей площади. Монтойа обрадовался нам, пожал нам руки и дал нам хорошие комнаты с окнами на площадь, а потом мы умылись, почистились и спустились в столовую к обеду. Шофер тоже остался обедать, а потом мы заплатили ему, и он уехал обратно в Байонну.

В Отеле Монтойа две столовые. Одна во втором этаже с окнами на площадь. Другая внизу, на целый этаж ниже уровня площади, и оттуда можно выйти на улицу

позади отеля, по которой рано утром пробегают быки, когда их через весь город гонят к арене. В этой столовой всегда прохладно, и мы очень хорошо позавтракали. Первая трапеза на испанской земле — это каждый раз серьезное испытание: закуски, кушанье из яиц, два мясных блюда, овощи, салат, десерт и фрукты. Нужно много вина, чтобы все это одолеть. Роберт Кон пытался сказать, что не хочет второго мясного блюда, но мы не стали переводить его слова, и служанка принесла ему что-то взамен, кажется, холодного мяса. С самой нашей встречи в Байонне Кон нервничал. Он не знал, знаем ли мы, что он ездил с Брет в Сан-Себастиан, и это смущало его.

— Ну,— сказал я,— Брет и Майкл должны приехать сегодня вечером.

— Я сомневаюсь, чтобы они приехали,— сказал Кон.

— Почему?— спросил Билл.— Конечно, приедут.

— Они всегда опаздывают,— сказал я.

— Я почти уверен, что они не приедут,— сказал Роберт Кон.

Он сказал это таким тоном, точно он что-то знает, чего мы не знаем, и мы оба разозлились.

— Держу пари на пятьдесят песет, что сегодня вечером они будут здесь,— сказал Билл. Он всегда держит пари, когда злится, и поэтому обычно заключает глупые пари.

— Хорошо,— сказал Кон.— Пари. Помните, Джейк, пятьдесят песет.

— Я и сам запомню,— сказал Билл.

Я видел, что он злится, и хотел успокоить его.

— Они приедут без всякого сомнения,— сказал я.— Только, может быть, не сегодня.

— Хотите отказаться от пари?— спросил Кон.

— Нет. С какой стати? Давайте хоть на сто песет.

— Пожалуйста. Принимаю.

— Ну, довольно,— сказал я.— А то вам придется зарегистрировать у меня пари и заплатить мне проценты.

— Ладно,— сказал Кон. Он улыбнулся.— Все равно вы их отыграете у меня в бридж.

— Вы их еще не выиграли,— сказал Билл.

Мы вышли на площадь и по колоннаде пошли в кафе Ирунья пить кофе. Кон сказал, что пойдет к парикмахеру побриться.

— Послушай,— сказал мне Билл,— есть у тебя шансы выиграть это пари?

— Плохие у тебя шансы. Они еще никуда не приезжали вовремя. Если они не получили денег, то, конечно, сегодня не приедут.

— Я сразу пожалел, как только рот открыл. Но я не мог не вызвать его. Он как будто ничего, но откуда он знает больше нашего? Майкл и Брет уславливались с нами.

Я увидел Кона — он шел к нам через площадь.

— Вот он идет.

— Пусть лучше бросит свои еврейские повадки и не важничает.

— Парикмахерская закрыта,— сказал Кон.— Только в четыре откроется.

Мы пили кофе в кафе Ирунья, сидя под колоннами в удобных плетеных креслах, и смотрели на площадь. Потом Билл ушел писать письма, а Кон отправился в парикмахерскую. Она все еще была закрыта, и он решил пойти в отель и принять ванну, но я еще посидел на террасе кафе, а потом пошел прогуляться по городу. Было очень жарко, но я держался теневой стороны улиц, и прошелся по рынку и радовался, что я снова здесь. Я зашел в аюнтамиенто [1] и разыскал старика, который каждый год заказывал для меня билеты на бой быков, и узнал, что он получил деньги, высланные мной из Парижа, и возобновил абонемент, так что все это было улажено. Он был архивариусом, и все архивы города помещались в его конторе. Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу. В его конторе была дверь, обитая зеленым сукном, и вторая, из плотного дерева, и когда я ушел, оставив его среди архивов, занимавших сплошь все стены, и притворил обе двери и вышел на улицу, швейцар остановил меня, чтобы почистить мне пиджак.

— Вы, должно быть, ехали в автомобиле,— сказал он.

На воротнике и плечах лежал толстый слой пыли.

— Да, из Байонны.

— Вот-вот,— сказал он.— Я так и знал, что вы ехали в автомобиле, по тому, как пыль легла.— Я дал ему две медных монеты.

Я увидел собор в конце улицы и направился к нему.

[1] Муниципалитет *(испанск.)*.

Когда я в первый раз увидел его, фасад показался мне некрасивым, но теперь он мне нравился. Я вошел. Внутри было мглисто и темно, колонны уходили ввысь, и люди молились, и пахло ладаном, и было несколько изумительных высоких витражей. Я стал на колени и начал молиться и помолился обо всех, кого вспомнил, о Брет и Майкле, о Билле, Роберте Коне, и о себе, и о всех матадорах, отдельно о каждом, кого я любил, и гуртом о всех остальных, потом я снова помолился о себе, и пока я молился о себе, я почувствовал, что меня клонит ко сну, поэтому я стал молиться о том, чтобы бои быков прошли удачно, и чтобы фиеста была веселая, и чтобы нам наловить побольше рыбы. Я старался вспомнить, о чем бы еще помолиться, и подумал, что хорошо бы иметь немного денег, и я помолился о том, чтобы мне нажить кучу денег, и потом начал думать, как бы я мог их нажить, и, думая о наживе, я вспомнил графа и подумал о том, где он теперь, и пожалел, что не видел его с того вечера на Монмартре, и старался вспомнить что-то смешное, что Брет рассказала мне про него, и так как я все это время стоял на коленях, опершись лбом о деревянную спинку скамьи, и думал о том, что я молюсь, то мне было немного стыдно, и я жалел, что я такой никудышный католик, но я понимал, что ничего тут не могу поделать, по крайней мере сейчас, а может быть, и никогда, но что все-таки это — великая религия, и как бы хорошо предаться набожным мыслям, и, может быть, в следующий раз мне это удастся; а потом я стоял под жарким солнцем на паперти собора, и указательный, средний и большой палец правой руки все еще были влажные, и я чувствовал, как они сохнут на солнце. Солнце палило жестоко, и я переулками, прячась в тени зданий, вернулся в отель.

Вечером, за ужином, оказалось, что Роберт Кон принял ванну, побрился, подстригся и вымыл голову и что его волосы чем-то смазаны, чтобы не торчали. Он нервничал, и я ничем не старался ему помочь. Поезд из Сан-Себастиана прибывал в девять часов, и Брет с Майклом могли приехать только этим поездом. Без двадцати девять, когда мы еще и половины ужина не съели, Роберт Кон встал из-за стола и сказал, что пойдет встречать их на вокзал. Я сказал, что пойду вместе с ним,— просто чтобы поддразнить его. Билл сказал, что скорей повесится, чем уйдет, не доев ужина. Я сказал, что мы сейчас же вернемся.

Мы пошли на вокзал. Я наслаждался волнением Кона. Я надеялся, что Брет приедет этим поездом. На вокзале оказалось, что поезд опаздывает, и мы дожидались его, сидя в темноте на багажной тележке за вокзалом. Я никогда, кроме как на войне, не видел, чтобы человек так волновался, как Роберт Кон, или был в таком нетерпении. Я наслаждался этим. Свинство было наслаждаться этим, но я и чувствовал себя свиньей. Кон обладал удивительной способностью пробуждать в человеке все самое скверное.

Наконец мы услышали далекий свист внизу, с другой стороны плато, а потом увидели поднимающиеся в горы огни паровоза. Мы вошли в вокзал и стояли в толпе встречающих у самой решетки; поезд подошел и остановился, и пассажиры потянулись к выходу.

Их не было в толпе пассажиров. Мы подождали, пока все прошли через вокзал и сели в автобусы, или наняли фиакры, или пошли пешком в темноте с друзьями и родственниками.

— Я так и знал, что они не приедут,— сказал Кон.

Мы шли обратно в отель.

— А я думал, может быть, все-таки приедут,— сказал я.

Когда мы вернулись в столовую, Билл ел фрукты и допивал бутылку вина.

— Не приехали?

— Нет.

— Ничего, Кон, если я отдам вам сто песет завтра утром?— спросил Билл.— Я еще не обменял свои деньги.

— Да не нужно,— сказал Роберт Кон.— Давайте лучше держать другое пари. Можно держать пари на бой быков?

— Можно,— сказал Билл,— только не нужно.

— Это все равно, что держать пари на войну,— сказал я.— Здесь не требуется материальной заинтересованности.

— Мне очень любопытно посмотреть бой быков,— сказал Роберт.

К нашему столику подошел Монтойа. В руках у него была телеграмма.

— Это вам.— Он передал ее мне.

Я прочел: «Остались ночевать Сан-Себастиане».

— Это от них,— сказал я. Я спрятал телеграмму в карман. В другое время я показал бы ее.

— Они остановились в Сан-Себастиане,— сказал я.— Посылают вам привет.

Почему меня подмывало бесить его, я и сам не знаю. Впрочем, знаю. Я слепо, непримиримо ревновал к тому, что с ним случилось. Хоть я и считал случившееся в порядке вещей — это ничего не меняло. Я, несомненно, ненавидел его. Не думаю, чтобы я по-настоящему ненавидел его до той минуты, когда он за завтраком напустил на себя всезнающий вид и потом отправился наводить красоту в парикмахерскую. И я спрятал телеграмму в карман. Как бы то ни было, телеграмма была адресована мне.

— Ну, что ж,— сказал я.— Самое правильное — уехать с дневным автобусом в Бургете. Если они приедут завтра вечером, пусть догоняют нас.

Из Сан-Себастиана было только два поезда: один рано утром и другой, вечерний, который мы только что ходили встречать.

— Это неплохая мысль,— сказал Кон.

— Чем скорее мы доберемся до реки, тем лучше.

— Мне все равно, когда бы ни ехать,— сказал Билл,— чем скорее, тем лучше.

Мы посидели в кафе Ирунья и выпили кофе, а потом прошлись до арены, погуляли в поле и под деревьями на краю обрыва, смотрели вниз на темную реку, и я рано лег спать. Билл и Кон, вероятно, поздно засиделись в кафе, потому что я уже спал, когда они пришли.

Утром я взял три билета на автобус до Бургете. Он отходил в два часа дня. Раньше этого ехать было не на чем. Я сидел в кафе Ирунья и читал газеты, когда увидел Роберта Кона, пересекающего площадь. Он подошел к моему столику и сел против меня на плетеное кресло.

— Это очень уютное кафе,— сказал он.— Хорошо выспались, Джейк?

— Я спал как колода.

— Я спал неважно. Да мы с Биллом и легли поздно.

— Где вы были?

— Здесь. А когда здесь закрыли, мы пошли в другое кафе. Где хозяин говорит по-немецки и по-английски.

— Кафе Суисо.

— Вот-вот. Очень симпатичный старик. По-моему, его кафе лучше этого.

— Днем там нехорошо,— сказал я.— Слишком жарко. Между прочим, я взял билеты на автобус.

— Я не поеду сегодня. Вы с Биллом поезжайте вперед.

— Я же взял вам билет.

— Дайте его сюда. Я получу деньги обратно.

— Пять песет стоит.

Роберт Кон достал серебряную монету в пять песет и отдал ее мне.

— Я должен остаться,— сказал он.— Понимаете, боюсь, что вышло недоразумение.

— Имейте в виду,— сказал я,— что они могут приехать и через три дня и через четыре, раз они развлекаются в Сан-Себастиане.

— В том-то и дело,— сказал Роберт.— Я боюсь, что они рассчитывали встретить меня в Сан-Себастиане и поэтому остались там.

— Почему вы так думаете?

— Потому что я писал Брет об этом.

— Почему же, черт возьми, вы не остались там и не дождались их...— начал было я, но остановился. Я решил, что эта мысль сама придет ему в голову, но, кажется, этого так и не произошло.

Теперь он уже не стеснялся, ему приятно было говорить со мной, после того как он дал мне понять, что между ним и Брет что-то есть.

— Мы с Биллом уедем сейчас же после завтрака,— сказал я.

— Жаль, что я не могу. Всю зиму мы мечтали об этой рыбной ловле.— Он даже загрустил.— Но я должен остаться. Серьезно, должен. Как только они приедут, я сейчас же привезу их.

— Надо найти Билла.

— Я пойду к парикмахеру.

— Ну, увидимся за завтраком.

Я нашел Билла в его комнате. Он брился.

— Да, да, он все поведал мне вчера вечером,— сказал Билл.— Изливал душу. Говорит, что у него с Брет было назначено свиданье в Сан-Себастиане.

— Врет, сволочь!

— Ну, ну,— сказал Билл.— Не злись. Рано злиться, мы еще только выехали. Но все-таки, где тебя угораздило подружиться с этим типом?

— Не спрашивай уж, ради бога.

Билл повернул ко мне свое наполовину выбритое лицо, а потом продолжал говорить в зеркало, намыливая себе щеки.

— Если я не ошибаюсь, прошлой зимой он приходил ко мне в Нью-Йорке с письмом от тебя? К счастью, я завзятый путешественник. А почему ты заодно не прихватил с собой еще парочку еврейских друзей?— Он потер большим пальцем подбородок, посмотрел на него и снова начал скрести.

— Твои друзья тоже не все первый сорт.

— Верно. Попадаются и неважные. Но куда им до Роберта Кона. А смешнее всего, что он славный. Он мне нравится. Но он совершенно невозможен.

— Он бывает очень мил.

— Знаю. В этом-то и весь ужас.

Я засмеялся.

— Тебе хорошо смеяться,— сказал Билл.— Ты не сидел с ним вчера до двух часов ночи.

— А что, трудно было?

— Ужасно. Что это у него за история с Брет? Неужели между ними что-то было?

Он взялся за подбородок и поворачивал его вправо и влево.

— Ну конечно. Она ездила с ним в Сан-Себастиан.

— Господи, как глупо! Зачем она это сделала?

— Ей хотелось уехать из города, а она никуда не может ездить одна. Говорит, она думала, что это пойдет ему на пользу.

— Почему люди делают такие сверхъестественные глупости? Почему она не поехала с кем-нибудь из своих? Или с тобой?— Он поперхнулся и торопливо прибавил:— Или со мной? Почему не со мной?— Он внимательно посмотрел на себя в зеркало, шлепнул на каждую скулу по большому комку мыльной пены.— Вот честное лицо. Вот лицо, которому может довериться каждая женщина.

— Она никогда его не видела.

— Напрасно. Все женщины должны видеть его. Это лицо нужно воспроизвести на всех киноэкранах по всей стране. Каждой женщине после венчанья нужно вручать снимок с этого лица. Матери должны говорить дочерям об этом лице. Сын мой,— он ткнул в мою сторону бритвой,— пробивайся на Запад с этим лицом и возвысься вместе с отчизной.

Он нагнулся над тазом, обмыл лицо холодной водой, вытер его одеколоном, потом внимательно посмотрел на себя в зеркало, оттягивая длинную верхнюю губу.

— О господи!— сказал он.— Какое мерзкое лицо!

Он помолчал, все так же глядя в зеркало.

— А что касается этого Роберта Кона,— сказал Билл,— то меня тошнит от него и пусть отправляется ко всем чертям, и я очень рад, что он остается здесь и что мы поедем ловить рыбу без него.

— Вот это верно.

— Мы едем ловить форель. Мы едем ловить форель на реке Ирати, и мы сейчас за завтраком накачаемся здешним вином, а потом чудесно прокатимся на автобусе.

— Отлично. Пойдем в кафе Ирунья и приступим,— сказал я.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На площади сильно припекало, когда мы после завтрака, нагруженные чемоданами и спиннингами в чехлах пошли к автобусу, чтобы ехать в Бургете. На крыше автобуса уже сидели люди, по лестнице карабкались еще пассажиры. Билл влез наверх, и Роберт Кон сел рядом с ним, чтобы занять место для меня, а я пошел обратно в отель и захватил на дорогу несколько бутылок вина. Когда я вернулся, автобус был набит битком. На чемоданах и ящиках, загромождавших крышу, сидели пассажиры, и все женщины обмахивались веерами. Было очень жарко. Роберт слез, освободив занятое для меня место, и я примостился на единственной деревянной скамье, тянувшейся вдоль крыши.

Роберт Кон стоял в тени колоннады и ждал, когда мы тронемся. На полу империала, прислонившись спиной к нашим ногам, полулежал баск с большим мехом на коленях. Он протянул мех Биллу и мне, и когда я поднял мех, чтобы хлебнуть, баск так внезапно и похоже взревел, подражая автомобильному гудку, что я пролил вино, и все засмеялись. Он извинился и настоял, чтобы я хлебнул еще раз. Немного погодя, он опять изобразил гудок, и я во второй раз попался. У него это хорошо выходило. Баски были очень довольны; сосед Билла заговорил с ним по-испански, и Билл ничего не понял, поэтому он протянул ему одну из наших бутылок вина. Сосед отказался. Слишком жарко, и он слишком много выпил за завтраком. Когда Билл вторично протянул ему бутылку, он отпил большой глоток, а потом бутылка пошла по рукам в нашем конце автобуса. Каждый вежливо отпивал глоток, а потом они заста-

вили нас закупорить бутылку и убрать ее. Они наперебой протягивали нам свои мехи с вином. Это все были крестьяне, ехавшие в горы.

Наконец после того как имитатор гудка еще разок-другой обманул нас, автобус тронулся, и Роберт Кон помахал нам на прощанье, и все баски помахали ему в ответ. Как только дорога вывела нас за город, стало прохладно. Приятно было сидеть так высоко и проезжать под самыми деревьями. Дорога спускалась под гору, автобус шел очень быстро, подымая тучи пыли, и пыль оседала на деревьях, а сквозь листву нам виден был город, встающий позади нас на крутом обрыве над рекой. Баск, полулежа на полу, прислонившись к моим коленям, указал горлышком меха на город и подмигнул нам. Потом кивнул головой.

— Неплохо, а?

— Чудесный народ, эти баски,— сказал Билл.

Баск, сидевший у моих ног, загорел до цвета седельной кожи. На нем была черная блуза, как и на всех остальных. Загорелую шею бороздили морщины. Он повернулся и протянул Биллу свой мех. Билл передал ему одну из наших бутылок. Баск повел указательным пальцем перед носом Билла и возвратил ему бутылку, прихлопнув пробку ладонью. Он вскинул мех с вином.

— Подымайте,— сказал он.— Выше! Выше!

Билл поднял мех и, закинув голову, подставил рот под струю вина. Когда он, перестав пить, опустил мех, струйка вина потекла по его подбородку.

— Нет! Нет!— заговорили баски.— Не так.— Кто-то выхватил мех из рук его хозяина, который сам собирался показать, как нужно пить. Выхватил мех молодой парень, и, держа его в вытянутых руках, он высоко вскинул его и крепко сжал, так что вино, зашипев, полилось ему в рот. Он держал мех далеко от себя, и винная струя, описывая пологую траекторию, лилась ему в рот, и он глотал спокойно и размеренно.

— Эй ты!— крикнул хозяин меха.— Чье вино дуешь?

Молодой парень помахал ему мизинцем и улыбнулся нам глазами. Потом он резко остановил струю, подняв горлышко, и опустил мех на руки владельца. Он подмигнул нам. Владелец грустно встряхнул мех.

Мы въехали в какую-то деревню, остановились у трактира, и водитель взял на автобус несколько посылок. Потом мы покатили дальше. За деревней дорога начала подыматься в гору. Кругом были засеянные по-

ля, к ним отлого спускались скалистые склоны. Пашни ползли вверх по откосам. Теперь, когда мы забрались выше, ветер сильнее колыхал колосья. Дорога была белая и пыльная, и пыль поднималась из-под колес и повисала в воздухе за нами. Дорога вела все выше в горы, и цветущие поля остались внизу. Теперь только изредка попадались клочки пашен на голых склонах гор по обе стороны ручьев. Мы круто свернули к обочине, чтобы пропустить упряжку мулов,— шесть мулов, шедших друг за другом, тащили высокий, груженный товаром фургон. Фургон и мулы были покрыты пылью. Сейчас же за первым фургоном шла еще упряжка, таща второй фургон. Этот был гружен лесом, и когда мы проезжали мимо, возница откинулся назад и заложил деревянные тормозные колодки. Здесь местность была совсем голая, склоны каменистые, а спекшаяся глина в глубоких бороздах от дождей.

За поворотом дороги неожиданно открылась зеленая долина, по которой протекал ручей. Направо и налево от ручья раскинулась деревня, виноградники доходили до самых домов.

Мы остановились перед лавкой, много пассажиров сошло с автобуса, и часть багажа на крыше вытащили из-под брезента и спустили вниз. Билл и я тоже слезли и вошли в лавку. Это оказалось низкое, полутемное помещение, где с потолка свисали седла и упряжь, белые деревянные вилы, связки парусиновых башмаков на веревочной подошве, окорока и бруски сала, гирлянды чеснока и длинные колбасы. Здесь было прохладно и сумрачно, и мы стояли у длинного деревянного прилавка, за которым две женщины продавали вино. На полках позади них лежали съестные припасы и разный товар.

Мы выпили по рюмке агуардиенте[1] и заплатили сорок сентимо за обе рюмки. Я дал женщине пятьдесят сентимо, чтобы она оставила себе на чай, но она вернула мне монету, решив, что я не расслышал цены.

Вошли двое из басков, ехавших с нами, и непременно хотели угостить нас. Они угостили нас, а потом мы угостили их, а потом они похлопали нас по плечу и еще раз угостили. Потом мы опять угостили их и вышли все вместе на солнцепек и полезли обратно на крышу автобуса. Теперь для всех было достаточно места, и

[1] Водка *(испанск.)*.

баск, который раньше лежал на железной крыше, теперь сидел между мной и Биллом. Женщина, которая наливала нам водку, вышла из лавки, вытирая руки о передник, и заговорила с кем-то, сидящим в автобусе. Вышел водитель с двумя пустыми почтовыми сумками и влез на свое место, потом автобус тронулся, и все помахали нам на прощанье.

Зеленая долина сразу осталась позади, и мы снова были в горах. Билл беседовал с баском — хозяином меха. Кто-то перегнулся к нам через спинку скамьи и спросил по-английски:

— Вы американцы?

— Да.

— Я жил там,— сказал он.— Сорок лет назад.

Это был старик, такой же смуглый, как все остальные, с седой щетинистой бородой.

— Ну, и как?

— Что вы говорите?

— Понравилось в Америке?

— Я был в Калифорнии. Очень понравилось.

— Отчего вы уехали?

— Что вы говорите?

— Отчего приехали обратно?

— Я приехал, чтобы жениться. Я собирался поехать опять, но жена моя не любит путешествовать. Вы откуда?

— Из Канзас-Сити.

— Я был там,— сказал он.— Я был в Чикаго, в Сент-Луисе, в Канзас-Сити, в Денвере, в Лос-Анжелесе, в Солт-Лейк-Сити.

Он тщательно перечислил все города.

— Долго вы были в Америке?

— Пятнадцать лет. Потом я приехал обратно и женился.

— Выпьем?

— Давайте,— сказал он.— Этого в Америке не достанешь, а?

— Сколько угодно, были бы деньги.

— А зачем вы приехали сюда?

— Мы приехали в Памплону, на фиесту.

— Вы любите бой быков?

— Очень. А вы?

— Да,— сказал он.— Пожалуй, люблю.— Потом, немного погодя:— А сейчас куда едете?

— В Бургете, рыбу ловить.

— Ну,— сказал он,— желаю вам наловить побольше.

Он пожал руку и мне и Биллу, потом опять повернулся к нам спиной. Остальные баски смотрели на него с уважением. Он уселся поудобнее, и каждый раз, когда я поворачивал голову, оглядывая местность, улыбался мне. Но усилия, которых стоил ему разговор с американцами, видимо, утомили его. Он больше не сказал ни слова.

Дорога неуклонно поднималась все выше. Местность была голая, почва глинистая, повсюду торчали камни. Трава не росла по обочине дороги. Оглядываясь назад, мы видели расстилавшуюся внизу долину. Далеко позади на горных склонах мелькали зеленые и бурые квадраты полей. Горизонт замыкали горы, темные, причудливых очертаний. По мере того как мы поднимались выше, картина менялась. Автобус медленно вползал по крутой дороге, и на юге появлялись все новые горы. Потом дорога перевалила через гребень, выравнялась и вошла в лес. Это был лес пробкового дуба, и лучи солнца пучками проникали сквозь листву, а в глубине леса, среди деревьев, пасся скот. Потом лес кончился, дорога пошла по возвышенности, и впереди открылась волнистая зеленая равнина, а за ней высились темные горы. Они были не такие, как бурые, спекшиеся от зноя горы, которые остались позади. Эти были покрыты лесом, и по склонам их спускались облака. Зеленая равнина, прорезанная изгородями, уходила вдаль, пересекавшая ее с юга на север дорога белела между двумя рядами деревьев. Когда мы добрались до края возвышенности, мы увидели красные кровли и белые дома Бургете, выстроившиеся на равнине, а за ними, у вершины первой темной горы, блеснула серая железная крыша Ронсевальского монастыря.

— Вон Ронсеваль,— сказал я.

— Где?

— Вон там, где начинаются горы.

— Холодно,— сказал Билл.

— Здесь высоко,— сказал я.— Наверное, тысяча двести метров.

— Ужасно холодно,— сказал Билл.

Автобус спустился на ровную прямую дорогу, которая вела в Бургете. Мы проехали перекресток и пересекли мост через ручей. Дома Бургете тянулись по обе стороны дороги. Переулков не было. Автобус миновал церковь, здание школы и остановился. Мы с Биллом

сошли, и водитель подал нам наши чемоданы и удочки крест-накрест.

— Что у вас тут?

Он ткнул пальцем в чехол с удочками. Я открыл чехол и показал ему. Он спросил, есть ли у нас разрешение на рыбную ловлю, и я предъявил его. Он посмотрел на число и помахал рукой.

— В порядке?— спросил я.

— Да. Конечно.

Мы пошли в гостиницу мимо выбеленных каменных домов, где целые семьи сидели на пороге и глазели на нас.

Толстая женщина, хозяйка гостиницы, вышла из кухни и поздоровалась с нами за руку. Она сняла очки, протерла их и снова надела. Поднимался ветер, и в гостинице было холодно. Хозяйка послала с нами служанку наверх показать комнату. Там были две кровати, умывальник, шкаф и большая гравюра в рамке — Ронсевальская богородица. Ставни дрожали от ветра. Комната выходила на север. Мы умылись, надели свитеры и спустились в столовую. Пол был каменный, потолок низкий, стены обшиты дубом. Ставни уже закрыли, в комнате стоял такой холод, что видно было дыхание.

— О господи,— сказал Билл,— неужели и завтра будет такой мороз! Я не согласен шлепать по воде в такую погоду.

В дальнем углу, позади деревянных столов, стояло пианино, Билл подошел к нему и начал играть.

— Это чтобы согреться,— сказал он.

Я разыскал хозяйку и спросил ее, сколько стоит комната и стол. Она сложила руки под передником и сказала, не глядя на меня:

— Двенадцать песет.

— Что вы, мы в Памплоне платили не больше!

Она ничего не ответила, только сняла очки и протерла их кончиком передника.

— Это слишком дорого,— сказал я.— Мы в большом отеле платили столько же.

— Мы сделали ванную.

— А дешевле комнат у вас нет?

— Летом нет. Сейчас самый сезон.

Кроме нас, в гостинице не было ни души. Ладно, подумал я, всего-то на несколько дней.

— Это с вином?

— Конечно.

— Ладно,— сказал я.— Согласен.

Я вернулся к Биллу. Он дыхнул на меня, показывая, как холодно, и продолжая играть. Я сел за один из столов и стал разглядывать картины на стенах. На одной были кролики, мертвые, на другой фазаны, тоже мертвые, и на третьей мертвые утки. Все картины были темные и словно закоптелые. На буфете стояла целая батарея винных бутылок. Я пересмотрел их. Билл все еще играл.

— Как насчет горячего пунша с ромом?— спросил он.— Моей игрой надолго не согреешься.

Я вышел и объяснил хозяйке, что такое пунш с ромом и как его делать. Через несколько минут служанка принесла каменный кувшин, из которого валил пар. Билл отошел от пианино, и мы пили горячий пунш и прислушивались к ветру.

— Не похоже, чтобы тут было много рому.

Я подошел к буфету, взял бутылку с ромом и влил в кувшин полстакана.

— Явочным порядком,— сказал Билл.— Без разрешения властей.

Вошла служанка и стала накрывать к ужину.

— Основательно здесь продувает,— сказал Билл.

Служанка принесла большую миску горячего овощного супа и вино. На второе нам подали жареную форель, потом какого-то тушеного мяса и большое блюдо с земляникой. Вино мы пили не в убыток себе, и служанка смущенно, но с готовностью приносила его. Старуха хозяйка один раз заглянула в столовую и сосчитала пустые бутылки.

После ужина мы поднялись к себе и курили и читали в постели, чтобы согреться. Ночью я проснулся и услышал завывание ветра. Хорошо было лежать в теплой постели.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром, как только я проснулся, я подошел к окну и выглянул. Прояснилось, и на горах не было туч. Под окнами стояло несколько повозок и старый дилижанс с ветхой растрескавшейся от непогоды деревянной крышей. Он, вероятно, стоял здесь с тех времен, когда еще не было автобусов. Козел вскочил на повозку, а оттуда на

крышу дилижанса. Он тряс головой на коз, стоящих внизу, а когда я замахнулся на него, он спрыгнул на землю.

Билл еще спал, и я бесшумно оделся, натянул ботинки в коридоре и спустился вниз. Там все было тихо, и я откинул засов на двери и вышел. Утро было прохладное, солнце еще не высушило росу, выпавшую после того, как улегся ветер. Я поискал в сарае за гостиницей, нашел что-то вроде мотыги и пошел на берег ручья, чтобы накопать червей для наживки. Ручей был прозрачный и мелкий, но вряд ли в нем водилась форель. Я всадил мотыгу в мокрую траву и отвалил ком земли. Под ним оказались черви. Как только я приподнял землю, они ускользнули, и я стал копать осторожно и набрал очень много. Копая у самой воды, в мокрой земле, я наполнил червями две пустые банки из-под табаку и сверху набросал земли. Козы смотрели, как я копаю.

Когда я вернулся в гостиницу, хозяйка была на кухне, и я сказал ей, чтобы она дала нам кофе и приготовила завтрак с собой. Билл проснулся и сидел на краю постели.

— Я видел тебя в окно,— сказал он.— Не хотел мешать тебе. Что ты делал? Зарывал свои деньги?

— Ах ты лентяй!

— Трудился для общего блага? Чудесно! Продолжай в том же духе каждое утро.

— Ну, довольно валяться,— сказал я.— Вставай.

— Что? Вставать? Никогда не встану.

Он залез в постель и натянул одеяло до подбородка.

— Попробуй уговори меня встать.

Я молча собирал наше снаряжение и складывал его в мешок.

— Ну, что, не хочешь?— спросил Билл.

— Я иду вниз завтракать.

— Завтракать? Что же ты не сказал, что завтракать? Я думал, ты в шутку предлагаешь мне встать. Завтракать? Замечательно. Теперь ты рассуждаешь здраво. Пойди накопай еще червей, а я сейчас спущусь.

— Иди к черту!

— Трудись для общей пользы.— Билл натянул белье.— Проявляй иронию и жалость.

Я вышел из комнаты с мешком, сачками и удочками.

— Эй, вернись!

Я просунул голову в дверь.

— Неужели ты не проявишь хоть немного иронии и жалости?

Я показал ему нос.

— Это не ирония

Спускаясь по лестнице, я слышал, как Билл напевал: «Ирония и Жалость. Когда ты узнаешь... О, дай им Иронию и дай им Жалость. О, дай нам Иронию. Когда ты узнаешь... Немного иронии. Немножечко жалости...» Он пел до тех пор, пока не спустился вниз. Пел он на мотив: «В церкви звонят для меня, для тебя...» Я читал испанскую газету недельной давности.

— Что это за чепуха про иронию и жалость?

— Что? Ты не знаешь про Иронию и Жалость?

— Нет. Кто это выдумал?

— Все. В Нью-Йорке помешаны на этом. Как когда-то на циркачах Фрателлини.

Вошла служанка с кофе и намазанными маслом гренками. Или, вернее,— с намазанным маслом поджаренным хлебом.

— Спроси ее, есть ли у них джем,— сказал Билл.— Будь ироничен с ней.

— Есть у вас джем?

— Какая же это ирония? Жаль, что я не говорю по-испански.

Кофе был вкусный, и мы пили его из больших чашек. Служанка принесла стеклянную вазочку с малиновым джемом.

— Спасибо.

— Да не так!— сказал Билл.— Скажи что-нибудь ироническое. Состри по адресу Примо де Ривера.

— Надо было сказать, что в Республике Рифов им не жизнь, а малина.

— Слабо,— сказал Билл.— Очень слабо. Не умеешь ты этого. Вот и все. Ты не понимаешь иронии. В тебе нет жалости. Скажи что-нибудь жалостливое.

— Роберт Кон.

— Недурно. Это уж лучше. Дальше: почему Кон достоин жалости? Будь ироничен.

Он отхлебнул большой глоток кофе.

— Да ну тебя!— сказал я.— Разве можно острить в такую рань.

— Вот видишь! А еще туда же — писателем хочешь быть. Ты всего-навсего газетчик. Экспатриированный газетчик. Ты должен быть полон иронии, как только встаешь с постели. Ты должен с раннего утра задыхаться от жалости.

— Ну, дальше,— сказал я.— От кого ты набрался такой чепухи?

— От всех. Ты что же, ничего не читаешь? Ни с кем не видаешься? Знаешь, кто ты? Ты — экспатриант. Почему ты не живешь в Нью-Йорке? Тогда ты все это знал бы. Чем я могу тебе помочь? Прикажешь приезжать каждый год и просвещать тебя?

— Выпей еще кофе,— сказал я.

— Кофе — это хорошо. Кофе тебе полезен. В нем есть кофеин. Все дело в кофеине. От кофеина он садится на ее коня, а она ложится в его могилу. Знаешь, что с тобой? Ты экспатриант и притом худшего сорта. Неужели ты не слыхал об этом? Никто, покинувший свою родину, не написал ничего, достойного увидеть свет. Даже в газетах.

Он допил кофе.

— Ты экспатриант. Ты оторвался от родной почвы. Ты становишься манерным. Европейские лжеидеалы погубят тебя. Пьянство сведет тебя в могилу. Ты помешался на женщинах. Ты ничего не делаешь, все твое время уходит на разговоры. Ты экспатриант, ясно? Ты шатаешься по кафе.

— Какая роскошная жизнь,— сказал я.— А когда же я работаю?

— Ты и не работаешь. По одной версии тебя содержат женщины, по другой — ты не мужчина.

— Нет,— сказал я.— Просто несчастный случай.

— Никогда не упоминай об этом,— сказал Билл.— О таких вещах лучше не распространяться. Это должно быть скрыто под покровом тайны. Как первый велосипед Генри Форда.

До сих пор он сыпал, как из решета, но теперь вдруг замолчал. Я боялся, как бы он не подумал, что задел меня, неосторожно сболтнув лишнее. Я хотел снова завести его.

— Никакого велосипеда не было,— сказал я.— Он верхом ездил.

— Я слышал про трехколесный велосипед.

— Ну, что ж,— сказал я.— Самолет тоже вроде велосипеда. Управление такое же.

— Только педали не нужно нажимать.

— Да,— сказал я.— Педали, пожалуй, нажимать не нужно.

— Ну, хватит,— сказал Билл.

— Как хочешь. Я только заступился за велосипед.

— И пишет Генри тоже хорошо,— сказал Билл.— А ты сам очень хороший. Тебе уже говорили, что ты хороший?

— Вовсе я не хороший.

— Послушай. Ты очень хороший, и я никого на свете так не люблю, как тебя. В Нью-Йорке я не мог бы тебе этого сказать. Там решили бы, что я гомосексуалист. Из-за этого разразилась Гражданская война. Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дреде Скоте было подстроено Лигой Сухого закона. Все это — половой вопрос. Полковника леди и Джуди О'Грэди лесбианки обе в душе!

Он замолчал.

— Хочешь еще?

— Валяй,— сказал я.

— Больше ничего не знаю. Остальное доскажу за обедом.

— Ах ты чучело,— сказал я.

— Дрянь ты этакая!

Мы уложили завтрак и две бутылки вина в рюкзак, и Билл надел его. Я перекинул через плечо чехол с удочками и сачки. Мы пошли по дороге, потом пересекли поляну и нашли тропинку через луга, которая вела к лесистому склону ближайшей горы. Мы пошли по этой песчаной тропинке.

Луга были волнистые, поросшие густой травой, но трава была низкая, оттого что здесь паслись овцы. Коровы паслись выше, в горах. Из лесу доносился звон их колокольчиков.

Тропинка привела нас к бревну, перекинутому через ручей. Бревно было обстругано, согнутое молодое деревцо служило перилами. Возле ручья, на песчаном дне мелкого прудика, чернели головастики. Мы поднялись на крутой берег и снова пошли волнистыми лугами. Оглянувшись, мы увидели белые домики и красные крыши Бургете и белую дорогу, по которой ехал грузовик, вздымая облако пыли.

Луга кончились, и мы вышли ко второму, более быстрому ручью. Песчаная дорога спускалась к броду, а дальше поднималась к лесу. Тропинка опять привела нас к бревну, перекинутому через ручей пониже брода, а потом она слилась с дорогой, и мы вошли в лес.

Это был буковый лес, очень старый. Корни деревьев

выступали над землей, сучья были корявые. Мы шли по дороге между толстыми стволами старых буков, и солнечный свет, проникая сквозь листву, пятнами лежал на траве. Несмотря на высокие деревья и густую листву, в лесу не было сумрачно. Никакого подлеска — только мягкая трава, очень зеленая и свежая, и высокие серые деревья, расставленные просторно, словно в парке.

— Вот это природа,— сказал Билл.

Дорога вела вверх по склону, мы вошли в густой лес, и дорога по-прежнему поднималась в гору. Иногда она вдруг ныряла, а потом снова круто вела вверх. Все время мы слышали позванивание колокольчиков в лесу. Наконец мы вышли на гребень горы. Мы стояли на самой высокой точке самой высокой гряды лесистых гор, которые мы видели из Бургете. На прогалинке между деревьями, на солнечной стороне, росла земляника.

Дальше дорога выходила из лесу и шла вдоль гребня. Впереди уже не было лесистых гор, начинались обширные поля желтого дрока. Вдали темные деревья и серые валуны на отвесном берегу отмечали русло реки Ирати.

— Нам нужно идти этой дорогой вдоль гребня, пересечь эти горы, пройти лесом те горы, подальше, и спуститься в долину Ирати,— показал я Биллу.

— Прогулочка, доложу я вам!

— Это слишком далеко, чтобы дойти, половить рыбу и вернуться в тот же день без спешки.

— Вот именно, без спешки. Хорошо сказано. Нам придется гнать, как сумасшедшим, чтобы вообще дойти туда и обратно и хоть что-нибудь наловить.

Путь был длинный, местность красивая, но мы очень устали, когда наконец спустились по крутой дороге, которая вела с лесистых гор в долину Рио де ла Фабрика.

Дорога вышла из лесной тени на жаркое солнце. Впереди была река. За рекой вставал крутой горный склон. По склону росла гречиха, стояло несколько деревьев, под ними мы увидели белый домик. Было очень жарко, и мы остановились в тени деревьев возле плотины.

Билл прислонил мешок к дереву, мы свинтили удилища, надели катушки, привязали поводки и приготовились ловить рыбу.

— Ты уверен, что в этой луже водятся форели?

— Она кишит ими.

— Я буду ловить на муху. У тебя есть мухи Мак-гинти?

— На, возьми.

— А ты? На червяка?

— Да. Я здесь буду, у плотины.

— Ну, тогда я возьму мух с собой.— Он нацепил одну муху на крючок.— Куда мне лучше пойти? Вверх или вниз?

— Лучше всего вниз. Хотя их достаточно и повыше.

Билл пошел вдоль берега.

— Возьми банку с червями.

— Нет, не нужно. Если они не пойдут на муху, я просто побалуюсь и все.

Билл стоял на берегу и смотрел на реку.

— Послушай!— крикнул он сквозь шум плотины.— Не спустить ли нам вино в родник, там, на дороге?

— Ладно!— крикнул я в ответ.

Билл помахал рукой и пошел вниз по течению. Я достал из мешка обе бутылки и понес их на дорогу, где из железной трубы вытекал родник. Пониже трубы лежала доска. Я приподнял ее и, поплотнее загнав пробки, опустил бутылки в воду. Вода была такая холодная, что пальцы и вся кисть сразу онемели. Я положил доску на место и ушел в надежде, что никто не найдет вино.

Я взял свой спиннинг, прислоненный к дереву, захватил банку с наживкой и сачок и пошел на плотину. Ее соорудили, чтобы сделать реку пригодной для сплава леса. Творило было поднято, и я сел на одно из обтесанных бревен и смотрел, как спокойная перед запрудой река бурно устремляется в водоскат. Под плотиной, там, где вода пенилась, было глубокое место. Когда я стал наживлять, из белой пены на водоскат прыгнула форель, и ее унесло вниз. Я еще не успел наживить, как вторая форель, описав такую же красивую дугу, прыгнула на водоскат и скрылась в грохочущем потоке. Я нацепил грузило и закинул лесу в пенистую воду у самой плотины.

Я не почувствовал, как взяла первая форель. Только начав выбирать лесу, я понял, что клюет, и вытащил форель из белой пены у водоската. Форель билась, сгибая удилище почти пополам, и я провел ее над плотиной и снял. Это была хорошая форель; я ударил ее головой о бревно и, когда она, затрепетав, вытянулась, опустил ее в мешок.

Пока я снимал ее, несколько форелей прыгнули на водоскат. Не успел я наживить и закинуть лесу, как еще одна клюнула, и я вытащил ее так же, как первую. Очень скоро я набрал шесть штук. Все они были приблизитель-

но одной величины. Я положил их рядышком, голова к голове, и смотрел на них. Они были красивого цвета, твердые и крепкие от холодной воды. День был жаркий, поэтому я распорол им брюхо и выпотрошил, вынув все внутренности вместе с жабрами, и закинул все это на тот берег. Потом спустился вниз, вымыл форели в холодной гладкой и плотной воде перед плотиной, нарвал папоротника и уложил все форели в мешок: слой папоротника, потом три форели, потом еще слой папоротника, потом еще три форели, сверху тоже прикрыл папоротником. Переложенные папоротником форели были очень красивы. Я взял раздувшийся мешок и положил в тень под дерево.

На плотине было очень жарко, и я поставил банку с червями в тень, рядом с мешком, достал книгу и уселся под деревом почитать, дожидаясь, когда Билл придет завтракать.

Было немного за полдень, и тени маловато, но я сидел, прислонившись к стволу двух сросшихся деревьев, и читал. Читал я А. Э. Мэзона — замечательный рассказ о том, как один человек замерз в Альпах и провалился в ледник и как невеста его решила ждать ровно двадцать четыре года, пока тело его покажется среди морен, и ее возлюбленный тоже ждал, и они все еще ждали, когда подошел Билл.

— Много наловил?— спросил он. Он держал и спиннинг, и сачок, и мешок с форелями в одной руке и был весь в поту. За шумом плотины я не слыхал, как он подошел.

— Шесть штук. А ты?

Билл сел, раскрыл мешок, положил крупную форель на траву. Он вынул еще три — одна больше другой — и положил их рядышком в тени дерева. Лицо у него было потное и счастливое.

— А твои какие?

— Помельче.

— Покажи.

— Я уже убрал их.

— Все-таки скажи, какие они?

— Они все с твою самую маленькую.

— Врешь!

— К сожалению, нет.

— Всех на червяка брал?

— Да.

— Вот лентяй!

Билл положил форели в мешок и пошел к реке, размахивая открытым мешком. Брюки его промокли до самого пояса, и я понял, что он удил, стоя в воде.

Я поднялся на дорогу и достал наши бутылки вина. Они были холодные. Пока я возвращался под деревья, влага бусинками выступила на бутылках. Я разложил завтрак на газете, откупорил одну бутылку, а другую прислонил к дереву. Билл подошел, вытирая руки, с мешком, набитым папоротником.

— Ну, посмотрим, что это за вино,— сказал он. Он вытащил пробку, поднял бутылку и отхлебнул.— У-у! Даже глаза щиплет.

— Дай попробовать.

Вино было холодное, как лед, с горьковатым привкусом.

— Не так уж плохо,— сказал Билл.

— Спасает то, что холодное,— сказал я.

Мы развернули свертки с едой.

— Курица.

— А вот крутые яйца.

— Соль есть?

— Сначала яйцо,— сказал Билл,— потом курица. Это даже Брайан понимал.

— Он умер. Я прочел вчера в газете.

— Ну? Не может быть!

— Верно. Брайан умер.

Билл положил наполовину очищенное яйцо.

— Джентльмены!— сказал он, развертывая кусок газеты и доставая куриную ножку.— Я действую в обратном порядке. Во имя Брайана. В честь Великого Гражданина. Сначала курица, потом яйцо.

— Интересно, в какой день бог сотворил курицу?

— Ах,— сказал Билл, обсасывая ножку,— откуда нам это знать? Не нужно задавать вопросы. Короток наш жизненный путь на земле. Будем же наслаждаться, веровать и благодарить.

— Съешь яйцо.

Билл жестикулировал, держа куриную ножку в одной руке, а бутылку в другой.

— Насладимся благословенными дарами. Попользуемся птицами небесными. Попользуемся плодами виноградных лоз. Хочешь немножко попользоваться, брат мой?

— Пей, брат мой, прошу тебя.

Билл сделал большой глоток.

— Попользуйся, брат мой.— Он передал мне бутылку.— Отгоним сомнения. Не будем рыться обезьяньими руками в священных тайнах курятника. Примем это чудо на веру и возгласим в простоте души — прошу тебя, присоедини свой голос к моему,— что же мы возгласим, брат мой?— Он ткнул в меня куриной ножкой и продолжал:— Я скажу тебе. Мы возгласим,— я лично горжусь этим и хочу, чтобы ты, брат мой, преклонив колена, возгласил вместе со мной. Да не устыдится никто преклонить колена здесь, среди великой природы! Вспомни, что леса были первыми храмами господа. Преклоним колена и возгласим: не ешьте этой курицы — ибо это Менкен.

— Возьми,— сказал я,— попользуйся немножко вот этим.

Мы откупорили вторую бутылку.

— А в чем дело?— спросил я.— Ты не любил Брайана?

— Я любил Брайана,— сказал Билл.— Мы были как родные братья.

— Где ты с ним познакомился?

— Я с ним учился в школе Святого Креста, с ним и с Менкеном.

— И с боксером Фрэнки Фричем,— сказал я.

— Неправда. Фрэнки Фрич учился в Фордхэмском университете.

— А я учился в школе Лойолы вместе с епископом Мэннингом.

— Неправда,— сказал Билл.— Это я учился в школе Лойолы с епископом Мэннингом.

— Ты пьян,— сказал я.

— От вина?

— Вероятно.

— Это от сырости,— сказал Билл.— Нужно убрать эту собачью сырость.

— Выпьем еще?

— Это все, что у нас есть?

— Только две бутылки.

— Знаешь, кто ты?— Билл с нежностью смотрел на бутылку.

— Нет,— сказал я.

— Ты агент Лиги трезвенников.

— Я учился в школе Богоматери с Уэн Б. Уилером, главой Лиги.

— Неправда,— сказал Билл.— Это я учился в Ком-

мерческом Училище Остина с Уэн Б. Уилером. Он был нашим старостой.

— Все равно,— сказал я,— долой кабаки!

— Ты прав, дорогой одноклассник,— сказал Билл.— Долой кабаки, и я погибну вместе с ними!

— Ты пьян.

— От вина?

— От вина.

— Все может быть.

— Хочешь вздремнуть?

— Давай.

Мы легли головами в тень и смотрели вверх, сквозь сучья деревьев.

— Спишь?

— Нет,— сказал Билл.— Я думаю.

Я закрыл глаза. Приятно было лежать на земле.

— Послушай,— сказал Билл.— Что у тебя с Брет?

— А что?

— Ты был когда-нибудь влюблен в нее?

— Был.

— И долго это тянулось?

— С перерывами, а вообще очень долго.

— О черт!— сказал Билл.— Прости, милый.

— Ничего,— сказал я.— Теперь уже мне наплевать.

— Правда?

— Правда. Только я предпочел бы не говорить об этом.

— Ты не сердишься, что я спросил?

— Чего ради я стал бы сердиться?

— Я буду спать,— сказал Билл. Он закрыл лицо газетой.

— Послушай, Джейк,— сказал он,— ты правда католик?

— Формально.

— А что это значит?

— Не знаю.

— Ну, ладно, я буду спать,— сказал он.— Не болтай, пожалуйста, ты мне мешаешь.

Я тоже уснул. Когда я проснулся, Билл укладывал рюкзак. Было уже поздно, и тени деревьев вытянулись и легли на плотину. Я не мог разогнуться после сна на земле.

— Что с тобой? Ты проснулся?— спросил Билл.— Почему ты уж заодно не проспал всю ночь?

Я потянулся и протер глаза.

— Мне приснился чудесный сон,— сказал Билл.— Ничего не помню, но сон был чудесный.

— Мне как будто ничего не снилось.

— Напрасно,— сказал Билл.— Все наши крупнейшие бизнесмены были сновидцами и мечтателями. Вспомни Форда. Вспомни президента Кулиджа. Вспомни Рокфеллера. Вспомни Джо Дэвидсона.

Я развинтил наши спиннинги и уложил их в чехол. Катушки я положил в мешок со снаряжением. Билл уже собрал рюкзак, и мы сунули туда один из мешков с форелями. Другой понес я.

— Ну,— сказал Билл,— как будто все взяли.

— А червяки?

— Ну тебя с твоими червяками. Клади их сюда.

Он уже надел рюкзак, и я положил банки с червями в один из наружных карманов.

— Теперь все?

Я посмотрел кругом, не осталось ли чего на траве под вязами.

— Все.

Мы пошли по дороге, ведущей в лес. До Бургете было далеко, и уже стемнело, когда мы лугами спустились на дорогу и шли к гостинице между двумя рядами освещенных домов.

Мы пробыли в Бургете пять дней и хорошо порыбачили. Ночи стояли холодные, а дни знойные, и всегда дул ветерок, даже в самое жаркое время дня. Приятно было в такую жару входить в холодную воду, а потом сидеть на берегу и обсыхать на солнце. Мы нашли ручей с такой глубокой заводью, что в ней можно было плавать. Вечерами мы играли в бридж втроем — с англичанином, любителем рыбной ловли, по фамилии Харрис, который пришел пешком из Сен-Жан-Пье-де-Пор и жил в нашей гостинице. Он оказался очень славный и два раза ходил с нами на реку Ирати. Ни от Роберта Кона, ни от Брет и Майкла не было ни строчки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда я в то утро спустился вниз к завтраку, Харрис, англичанин, уже сидел за столом. Надев очки, он читал газету. Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Доброе утро,— сказал он.— Вам письмо. Я заходил на почту, и мне дали его вместе с моими.

Письмо, прислоненное к чашке, ждало меня у моего прибора. Харрис снова углубился в газету. Я вскрыл письмо. Его переслали из Памплоны. Письмо было помечено «Сан-Себастиан, воскресенье»:

Дорогой Джейк!

Мы приехали сюда в пятницу, Брет раскисла в дороге, и я привез ее на три дня сюда к нашим старым друзьям, отдохнуть. Выезжаем в Памплону, Отель Монтойа, во вторник приедем, в котором часу, не знаю. Пожалуйста, пришлите записку с автобусом, где вас найти в среду. Сердечный привет, и простите, что запоздали, но Брет, правда, расклеилась, а ко вторнику она поправится, и она почти здорова и сейчас. Я так хорошо ее знаю и стараюсь смотреть за ней, но это не так-то легко. Привет всей компании.

Майкл.

— Какой сегодня день?— спросил я Харриса.

— Кажется, среда. Да, правильно: среда. Удивительно, как здесь, в горах, теряешь счет дням.

— Да. Мы здесь уже почти неделю.

— Надеюсь, вы не собираетесь уезжать?

— Именно собираюсь. Боюсь, что нам придется уехать сегодня же дневным автобусом.

— Какая обида! Я рассчитывал, что мы еще раз вместе отправимся на Ирати.

— Нам нужно ехать в Памплону. Мы сговорились с друзьями встретиться там.

— Это очень грустно для меня. Мы так хорошо проводили здесь время.

— Поедем с нами в Памплону. В бридж будем играть, и потом там будет замечательная фиеста.

— Охотно бы поехал. Спасибо за приглашение. Но я все-таки лучше побуду здесь. У меня осталось так мало времени для рыбной ловли.

— Вам хочется наловить самых крупных форелей в Ирати?

— Очень хочется. Там попадаются огромные.

— Я сам с удовольствием еще разок поудил бы.

— Давайте. Останьтесь еще на день. Будьте другом.

— Не могу. Нам правда необходимо ехать в город,— сказал я.

— Очень жаль.

После завтрака мы с Биллом грелись на солнце, сидя на скамейке перед гостиницей, и обсуждали положе-

ние. На дороге, ведущей из центра города к гостинице, появилась девушка. Она подошла к нам и достала телеграмму из кожаной сумки, которая болталась у нее на боку.

— Por ustedes? [1]

Я взглянул на телеграмму. Адрес: «Барнс, Бургете».

— Да. Это нам.

Она вынула книгу, я расписался и дал ей несколько медяков. Телеграмма была по-испански: «Vengo Jueves Cohn».

Я показал телеграмму Биллу.

— Что значит Cohn?— спросил он.

— Вот дурацкая телеграмма!— сказал я.— Он мог послать десять слов за ту же цену. «Приеду четверг». Не очень-то вразумительно, правда?

— Здесь все сказано, что Кону нужно.

— Мы все равно поедем в Памплону. Нет смысла до фиесты тащить Брет и Майкла сюда и обратно. Ответим ему?

— Почему же не ответить,— сказал Билл.— Надо соблюдать приличия.

Мы пошли на почту и попросили телеграфный бланк.

— Что будем писать?— спросил Билл.

— «Приедем вечером». Вот и все.

Мы заплатили за телеграмму и вернулись в гостиницу. Харрис ждал нас, и мы втроем отправились в Ронсеваль. Осмотрели монастырь.

— Это очень интересно,— сказал Харрис, когда мы вышли.— Но знаете, я как-то не умею увлекаться такими вещами.

— Я тоже,— сказал Билл.

— Хотя это очень интересно,— сказал Харрис.— Я рад, что побывал здесь. Все никак не мог собраться.

— Все-таки это не то, что рыбу ловить?— спросил Билл. Ему нравился Харрис.

— Ну, еще бы!

Мы стояли перед древней часовней монастыря.

— Скажите, не кабачок ли там, через дорогу?— спросил Харрис.— Или глаза мои обманывают меня?

— Смахивает на кабачок,— сказал Билл.

— И мне сдается, что кабачок,— сказал я.

— Давайте,— сказал Харрис,— попользуемся им.— «Попользоваться» он перенял у Билла.

---

[1] Для вас? *(испанск.)*

Мы заказали три бутылки вина. Харрис не позволил нам платить. Он хорошо говорил по-испански, и хозяин не взял денег ни с меня, ни с Билла.

— Вы не знаете, друзья, как мне приятно было с вами.

— Мы отлично провели время, Харрис.

Харрис был слегка пьян.

— Право, вы не знаете, как мне приятно было с вами. Я мало хорошего видел со времени войны.

— Мы еще когда-нибудь порыбачим вместе. Вот увидите, Харрис.

— Непременно. Мы так чудесно провели время.

— А если распить еще бутылочку?

— Чудесная мысль,— сказал Харрис.

— За эту я плачу,— сказал Билл.— А то мы пить не станем.

— Позвольте мне заплатить, для меня это такое удовольствие.

— А это будет удовольствие для меня,— сказал Билл.

Хозяин принес четвертую бутылку. Наши стаканы еще стояли на столе. Харрис поднял свой стакан.

— Знаете, этим хорошо можно попользоваться.

Билл хлопнул его по плечу.

— Вы славный, Харрис.

— Знаете, меня, собственно, зовут не Харрис, а Уилсон — Харрис. Это одно имя, через тире, понимаете?

— Вы славный, Уилсон — Харрис,— сказал Билл.— Мы зовем вас Харрис, потому что любим вас.

— Знаете, Барнс, вы даже не понимаете, как мне хорошо с вами.

— Попользуйтесь еще стаканчиком,— сказал я.

— Правда, Барнс, вы не можете этого понять. Вот и все.

— Пейте, Харрис.

На обратном пути из Ронсеваля Харрис шел между нами. Мы позавтракали в гостинице, и Харрис проводил нас до автобуса. Он дал нам свою визитную карточку с лондонским домашним адресом, адресом конторы и адресом клуба, а когда мы сели в автобус, он вручил нам по конверту. Я вскрыл свой конверт и увидел там с десяток искусственных мух. Харрис нам приготовил их. Он всегда готовил их сам.

— Послушайте, Харрис...— начал я.

— Нет, нет!— сказал он. Он уже слезал с автобу-

са.— Это вовсе не первосортные мухи. Я просто подумал, что когда вы будете насаживать их, вы, может быть, вспомните, как хорошо мы провели время.

Автобус тронулся. Харрис стоял у подъезда почты. Он помахал нам. Когда мы покатили по дороге, он повернулся и пошел обратно к гостинице.

— Правда, Харрис очень милый?— сказал Билл.

— Он, кажется, в самом деле хорошо провел время.

— Он-то? Ну, еще бы!

— Жалко, что он не поехал с нами в Памплону.

— Ему хочется рыбу ловить.

— Да. И еще неизвестно, как наши англичане поладили бы между собой.

— Вот это верно.

Мы приехали в Памплону под вечер, и автобус остановился у подъезда Отеля Монтойа. На площади протягивали электрические провода для освещения площади во время фиесты. Когда автобус остановился, к нему подошли несколько ребят, и таможенный чиновник велел всем сошедшим с автобуса развязать свои узлы тут же, на тротуаре. Мы вошли в отель, и на лестнице я встретил Монтойу. Он пожал нам руки, улыбаясь своей обычной смущенной улыбкой.

— Ваши друзья здесь,— сказал он.

— Мистер Кэмбелл?

— Да. Мистер Кон, мистер Кэмбелл и леди Эшли.

Он улыбался, словно хотел еще что-то сказать.

— Когда они приехали?

— Вчера. Я оставил для вас ваш старый номер.

— Вот спасибо. Вы дали мистеру Кэмбеллу номер с окнами на площадь?

— Да. Те комнаты, которые мы с вами выбрали.

— А где они сейчас?

— Они, кажется, пошли смотреть, как играют в пелоту.

— А что быки?

Монтойа улыбнулся.

— Сегодня вечером,— сказал он.— Сегодня в семь часов привезут вильярских, а завтра — мьюрских. Вы все пойдете смотреть?

— Непременно. Они никогда не видели выгрузки быков.

Монтойа положил мне руку на плечо.

— Значит, там увидимся.

Он снова улыбнулся. Он всегда улыбался так, точно

бой быков был нашей с ним личной тайной; немного стыдной, но очень глубокой тайной, о которой знали только мы. Он всегда улыбался так, точно для посторонних в этой тайне, которую мы одни с ним понимали, было что-то непристойное. Не следовало открывать ее людям, которым не дано понять ее.

— Ваш друг тоже aficionado?— Монтойа улыбнулся Биллу.

— Да. Он нарочно приехал из Нью-Йорка, чтобы увидеть праздник святого Фермина.

— Неужели?— Монтойа вежливо удивился.— Но он не такой aficionado, как вы.

Он опять смущенно положил мне руку на плечо.

— Такой же,— сказал я.— Он настоящий aficionado.

— Но все-таки не такой, как вы.

Aficion значит страсть. Aficionado — это тот, кто страстно увлекается боем быков. Все хорошие матадоры останавливались в Отеле Монтойа; то есть те, что были aficionado, останавливались у него. Матадоры, работающие только ради денег, иногда останавливались, но никогда не заезжали во второй раз. Хорошие матадоры приезжали каждый год. В комнате Монтойи висели их фотографии с собственноручными надписями. Они были подарены либо Хуанито Монтойе, либо его сестре. Фотографии тех матадоров, которых Монтойа признавал, висели в рамках на стене. Фотографии матадоров, лишенных aficion, Монтойа держал в ящике стола. На многих были самые лестные надписи. Но это не имело значения. Однажды Монтойа все их вынул из ящика и бросил в корзину. Он не желал хранить их у себя.

Мы часто говорили с ним о быках и о матадорах. Я останавливался в Отеле Монтойа уже несколько лет подряд. Разговор наш никогда не бывал длинным. Нам просто доставляло удовольствие обменяться мнениями. Нередко люди, приехавшие издалека, прежде чем покинуть Памплону, заходили на несколько минут к Монтойе, чтобы поговорить о быках. Все это были страстные любители боя быков. Такие всегда могли получить номер, даже когда отель был переполнен. Монтойа иногда знакомил меня с ними. Сперва они держались очень чопорно и относились ко мне, как к американцу, с насмешливым недоверием. Почему-то считалось, что американцу недоступна подлинная страсть. Он может притворяться или принимать возбуждение за страсть, но не может быть настоящим aficionado. Когда же они убеж-

дались в подлинности моей страсти, а для этого не существовало ни пароля, ни каких-либо обязательных вопросов, скорей это была своего рода устная проверка, некий искус, во время которого вопросы ставились осторожно, с недомолвками,— тогда они так же смущенно клали мне руку на плечо или говорили: «Buen hombre»[1]. Но чаще они старались коснуться меня. Казалось, это прикосновение нужно им, чтобы удостовериться в моей aficion.

Матадору, который страстно любил бой быков, Монтойа прощал все. Он прощал нервные припадки, трусость, дурные, необъяснимые поступки, любые прегрешения. За страсть к бою быков он прощал все. Так он сразу простил мне всех моих друзей. Он не подчеркивал этого, просто нам обоим было как-то неловко говорить о них, как неловко говорить об участи лошадей на арене боя быков.

Билл прямо поднялся наверх, как только мы вошли, и теперь мылся и переодевался в своей комнате.

— Ну что,— сказал он,— наговорился по-испански?

— Он сказал мне, что быков привезут сегодня вечером.

— Давай разыщем наших и пойдем туда.

— Ладно. Они, должно быть, сидят в кафе.

— Билеты взял?

— Взял. На все выгрузки.

— А это интересно?— Он перед зеркалом натягивал кожу на лице, проверяя, не осталось ли невыбритых мест под челюстью.

— Интересно,— сказал я.— Быков по одному выпускают из клетки в корраль, а волы поджидают их и не дают им бодаться, а быки кидаются на волов, и волы бегают вокруг, как старые девы, и стараются унять их.

— А они бодают волов?

— Бодают. Иногда бык прямо кидается на вола и убивает его.

— А волы ничего не могут поделать?

— Нет. Они стараются подружиться с быками.

— А на что они вообще, волы?

— Чтобы успокоить быков, не давать им ломать рога о каменные стены или бодать друг друга.

— Приятное, должно быть, занятие быть волом.

---

[1] Хороший человек *(испанск.)*.

Мы спустились вниз, вышли из отеля и зашагали через площадь к кафе Ирунья. На площади одиноко стояли две будки для продажи билетов. Окошечки с надписями: Sol, Sol y Sombra, Sombra [1], были закрыты. Они откроются только накануне фиесты.

Белые плетеные столики и кресла кафе Ирунья стояли не только под колоннами, но занимали весь тротуар. Я поискал глазами Брет и Майкла. Они оказались здесь. Брет, Майкл и Роберт Кон. Брет была в берете, какие носят баски. Майкл тоже. Роберт Кон был без шляпы и в очках. Брет увидела нас и помахала рукой. Пока мы подходили к их столику, она, сощурившись, смотрела на нас.

— Хэлло, друзья!— крикнула она.

Брет сияла от радости. В рукопожатии Майкла чувствовалась дружеская теплота, Роберт Кон пожал нам руки потому, что мы только что приехали.

— Где вы пропадали?— спросил я.

— Я привез их сюда,— сказал Кон.

— Какая чушь,— сказала Брет.— Мы давно бы приехали, если бы не вы.

— Никогда бы вы не приехали.

— Какая чушь! А вы оба загорели. Посмотрите, какой Билл черный.

— Хорошая ловля была?— спросил Майкл.— Нам так хотелось приехать.

— Хорошая. Мы жалели, что вас нет.

— Мне хотелось приехать,— сказал Кон,— но я решил, что нужно их привезти.

— Привезти нас! Какая чушь!

— Правда, хорошая была ловля?— спросил Майкл.— Много наловили?

— Бывали дни, по десятку на брата. С нами был один англичанин.

— По фамилии Харрис,— сказал Билл.— Не знавали такого, Майкл? Он тоже был на войне.

— Вот счастливец!— сказал Майкл.— Веселое было времечко. О, кто вернет мне те лучезарные дни!

— Не ломайся.

— Вы были на войне, Майкл?— спросил Кон.

— Еще бы!

— Он доблестно сражался,— сказала Брет.— Расскажи им, как твоя лошадь понесла на Пикадилли.

---

[1] Солнце, солнце и тень, тень (*испанск*).

— Не хочу. Я уже четыре раза рассказывал.

— А мне ни разу не рассказывали,— сказал Роберт Кон.

— Не хочу рассказывать. Это бросает тень на меня.

— Расскажи им про твои медали.

— Не хочу. Этот случай бросает черную тень на меня.

— А что это за история?

— Брет вам расскажет. Она рассказывает все случаи, которые бросают на меня тень.

— Ну, Брет, расскажите.

— Рассказать?

— Я сам расскажу.

— Какие вы получили медали, Майкл?

— Никаких медалей я не получал.

— Совсем никаких?

— Не знаю. Должно быть, я получил все медали, какие полагаются. Но я никогда не просил, чтобы мне их выдали. А потом устроили грандиозный банкет и ждали, что приедет принц Уэльский, и в билете было написано, чтобы быть при знаках отличия. Ну, ясное дело, у меня их не было, я заехал к своему портному, показал билет, он проникся уважением ко мне, я воспользовался этим и говорю ему: «Достаньте мне медали». Он говорит: «Какие, сэр?» А я говорю: «Все равно, какие-нибудь. Дайте мне несколько штук». А он говорит: «Какие вы получали медали, сэр?» А я говорю: «Почем я знаю? Неужели вы думаете, что я трачу время на чтение армейских бюллетеней? Дайте мне любые, только побольше. Выберите сами». Он и дал мне медали, знаете, маленькие такие, целую коробку, а я сунул коробку в карман и забыл про них. Ну, поехал я на банкет, а в тот вечер убили сына Вудро Вильсона, и принц не приехал, и король не приехал, и знаков отличия не полагалось, и все пыхтели, снимая их с себя, а мои лежали у меня в кармане.

Он сделал паузу и ждал, чтобы мы засмеялись.

— Это все?

— Все. Может быть, я плохо рассказал.

— Очень плохо,— сказала Брет.— Но это неважно. Мы все засмеялись.

— Ах да,— сказал Майкл,— вспомнил. На банкете была тоска смертная, я не выдержал и ушел. Вечером, попозже, я нашел у себя в кармане коробку. «Что это такое? —подумал я.— Медали? Дурацкие военные ме-

дали». Я взял и срезал их — знаете, их нашивают на такую колодку — и роздал. Каждой девчонке по медали. Так сказать, на память. Они были потрясены. Вот это вояка! Раздает медали в кабаке. Такому все нипочем.

— Расскажи до конца,— сказала Брет.

— По-вашему, это не смешно было?— спросил Майкл.

Мы все смеялись.

— Очень смешно было. Ей-богу. Так вот — портной пишет мне письмо с просьбой вернуть медали. Присылает человека за ними. Полгода письма пишет. Оказывается, кто-то принес ему медали, чтобы он их почистил. Какой-то военный. Страшно дорожил ими, чуть с ума не сошел.— Майкл помолчал.— Печально кончилось для портного,— сказал он.

— Да что вы говорите!— сказал Билл.— А я-то думал, что вы его просто осчастливили.

— Удивительный портной. Сейчас этому трудно поверить, глядя на меня,— сказал Майкл.— Я платил ему сто фунтов в год, чтобы не приставал. И он никогда не присылал счетов. Мое банкротство сразило его. Это случилось сейчас же после истории с медалями. Оттого и письма были такие сердитые.

— А как вы обанкротились?— спросил Билл.

— Двумя способами,— сказал Майкл.— Сначала постепенно, а потом сразу.

— А из-за чего?

— Из-за друзей,— сказал Майкл.— У меня была куча друзей. Вероломных друзей. А кроме того, у меня были кредиторы. Я думаю, ни у кого в Англии не было столько кредиторов, как у меня.

— Расскажи им про суд,— сказала Брет.

— Этого я не помню,— сказал Майкл.— Я был чуточку пьян.

— Чуточку!— воскликнула Брет.— Ты был пьян как стелька!

— Удивительный случай,— сказал Майкл.— На днях встретил своего бывшего компаньона. Предложил поднести мне стаканчик.

— Расскажи им про своего ученого адвоката,— сказала Брет.

— Не хочу,— сказал Майкл.— Ученый адвокат тоже был пьян. Вообще это мрачная тема. Мы идем смотреть, как выгружают быков, или нет?

— Пошли.

Мы подозвали официанта, расплатились и отправились на другой конец города. Я пошел было с Брет, но Роберт Кон нагнал нас и пошел подле Брет с другой стороны. Так мы и шли втроем,— мимо аюнтамиенто с развевающимися на балконе флагами, и дальше, мимо рынка, и по крутой улочке, ведущей к мосту через Аргу. Много народу шло вместе с нами смотреть быков, экипажи спускались под гору и переезжали через мост и над толпой пешеходов высились кнуты, лошади и кучера. Пройдя мост, мы свернули на дорогу, ведущую к корралю. Мы прошли мимо винной лавки, где в окне висело объявление: «Хорошее вино, 30 сентимо литр».

— Вот куда будем ходить, если останемся без денег,— сказала Брет.

Когда мы проходилил мимо лавки, женщина, стоявшая в дверях, посмотрела на нас. Она крикнула что-то через плечо, и три девушки подошли к окну и уставились на нас. Они смотрели на Брет.

У ворот корраля два контролера отбирали билеты у входящих. Мы прошли в ворота. За оградой росли деревья и стояло низкое каменное здание. В конце двора виднелась каменная стена корраля с отверстиями, которые, словно бойницы, шли по фасаду каждого из двух загонов. К стене была прислонена лестница, и люди поднимались по ней и становились на широкие перегородки между загонами. Когда мы по траве под деревьями подходили к лестнице, мы прошли мимо больших выкрашенных серой краской клеток, в которых стояли быки. В каждой клетке было по одному быку. Они приехали поездом из кастильской ганадерии, и их на вокзале выгрузили с товарных платформ и привезли сюда, чтобы выпустить из клеток в корраль. На каждой клетке была обозначена фамилия и клеймо владельца ганадерии.

Мы влезли на лестницу и примостились на стене, откуда виден был корраль. Каменные стены были выбелены, на земле постлана солома, и вдоль стен стояли деревянные кормушки и корыта для воды.

— Посмотрите туда,— сказал я.

За рекой, на плато, поднимался город. Древние валы и крепостные стены были сплошь усеяны людьми. Три ряда укреплений чернели людьми, словно три наведенные тушью линии. Выше, в окнах домов, повсюду виднелись головы. На деревья, у края плато, взобрались мальчишки.

— Они точно ждут чего-то,— сказала Брет.

— Они хотят видеть быков.

Майкл и Билл стояли на противоположной стене загона. Они помахали нам. Запоздавшие зрители стояли за нами, нажимая на нас, когда их теснили сзади.

— Почему они не начинают?— спросил Роберт Кон.

К одной из клеток привязали мула, и он потащил ее к воротам в стене корраля. Служители корраля, вооруженные ломами, подталкивали и приподымали клетку, чтобы она стала прямо против ворот. На стене уже стояли другие люди, готовясь открыть ворота корраля и дверцу клетки. Открылись ворота в задней стене корраля и, крутя головой, поводя тощими боками, вбежали два вола. Они стали рядом недалеко от стены, головой к воротам, откуда должен был появиться бык.

— Вид у них невеселый,— сказала Брет.

Люди на стене нагнулись и открыли ворота корраля. Потом они открыли дверцу клетки.

Я перегнулся через стену, пытаясь заглянуть в клетку. Там было темно. Кто-то постучал по клетке железным прутом. Внутри точно взорвалось что-то. Бык шумел, всаживая рога направо и налево в деревянные доски клетки. Потом я увидел темную морду и тень от рогов, и, стуча копытами по гулким доскам, бык ринулся в корраль, заскользил передними ногами по соломе, остановился, дрожа всем телом, со вздувшимися горбом шейными мышцами и, задрав голову, оглядел толпу на каменных стенах. Оба вола попятились к стене, опустив голову, не спуская глаз с быка.

Бык увидел волов и кинулся на них. Один из загонщиков, стоявший за кормушкой, громко крикнул, хлопая шляпой по деревянным доскам, и бык, забыв о волах, повернул, подобрался, подскочил к кормушке и стал быстро-быстро бодаться правым рогом, стараясь всадить его в загонщика.

— Господи, как он хорош!— сказала Брет.

Бык стоял как раз под нами.

— Посмотрите, как он умеет пользоваться рогами,— сказал я.— У него левый и правый удар, как у боксера.

— Неужели?

— Посмотрите.

— Не могу уследить.

— Подождите. Сейчас выпустят другого.

В воротах уже стояла вторая клетка. В дальнем углу корраля загонщик отвлекал внимание быка, прячась

за дощатую загородку, и пока бык смотрел в его сторону, ворота открыли, и второй бык ворвался в корраль.

Он кинулся прямо на волов, и два загонщика выбежали из-за досок и стали громко кричать, стараясь перехватить его. Они кричали: «А-а! А-а! Торо», и размахивали руками, но бык не повернул; волы стали боком, чтобы принять удар, и бык всадил рога в одного из них.

— Отвернитесь,— сказал я Брет.

Но она смотрела на быка как зачарованная.

— Вот и отлично,— сказал я,— если вам не противно.

— Я видела,— сказала она.— Я видела, как он ударил сначала левым, потом правым рогом.

— Молодец!

Вол как упал, так и остался лежать, вытянув шею, отвернув голову. Внезапно бык оставил его и ринулся к другому волу, который все время стоял в дальнем углу корраля, крутя головой и следя за быком. Вол неуклюже побежал, бык нагнал его, легонько толкнул в бок, отвернулся и свирепо, со вздувшимся загривком, посмотрел на усеявших стены людей. Вол подошел к нему и сделал вид, что хочет обнюхать его, и бык несколько раз небрежно боднул вола. Потом бык обнюхал вола, и они вместе рысцой побежали к первому быку.

Когда следующий бык вышел из клетки, все трое — оба быка и вол — стояли вместе, сдвинув головы, выставив рога против вновь прибывшего. В несколько минут вол подружился с быком, успокоил его и присоединил к стаду. Когда выгрузили последних двух быков, все стадо собралось в одном месте.

Вол, которого сшиб первый бык, поднялся на ноги и стал, опираясь о каменную стену. Быки не подходили к нему, и он не пытался присоединиться к стаду.

Мы слезли со стены вместе с толпой и еще раз взглянули на быков через отверстия в стене корраля. Теперь все они стояли смирно, опустив головы. Выйдя за ворота, мы взяли экипаж и поехали в кафе. Майкл и Билл пришли через полчаса после нас. По дороге они несколько раз заходили выпить.

Мы все сидели за столиком в кафе.

— Удивительно все-таки,— сказала Брет.

— А последние быки так же хороши для боя, как первые?— спросил Роберт Кон.— Они, мне кажется, слишком быстро успокоились.

— Они все друг друга знают,— сказал я.— Они страшны только в одиночку или по двое, по трое.

— То есть как это только?— сказал Билл.— По-моему, они всегда достаточно страшные.

— Бык испытывает желание убить, только когда он один. Конечно, если бы ты вошел к ним, ты тем самым, вероятно, отделил бы одного из них от стада, и тогда он был бы опасен.

— Это слишком сложно для меня,— сказал Билл.— Пожалуйста, Майкл, никогда не отделяйте меня от стада.

— Знаете,— сказал Майкл,— это все-таки изумительные быки. Вы видели, какие у них рога?

— Еще бы,— сказала Брет.— Я раньше понятия не имела, какие они.

— А вы видели, как он забодал вола?— спросил Майкл.— Замечательно!

— Невесело быть волом,— сказал Роберт Кон.

— Вы так думаете?— сказал Майкл.— А мне кажется, что вам понравилось бы быть волом.

— Что вы хотите сказать, Майкл?

— У них очень покойная жизнь. Они всегда молчат и трутся возле быков.

Всем стало неловко. Билл засмеялся. Роберт Кон обиделся. Майкл продолжал болтать.

— По-моему, вам понравилось бы. Могли бы спокойно молчать. Послушайте, Роберт, скажите хоть слово, нельзя же просто сидеть и молчать.

— Я говорил, Майкл. Разве вы не помните? Я сказал о волах.

— Ну, скажите еще что-нибудь. Скажите что-нибудь смешное. Вы же видите, нам всем очень весело.

— Перестань, Майкл. Ты пьян,— сказала Брет.

— Нет, я не пьян. Я говорю серьезно. Я желал бы знать, долго еще Роберт Кон будет, как эти волы, тереться возле Брет?

— Замолчи, Майкл! Покажи, что ты хорошо воспитан.

— К черту воспитание! Кто вообще хорошо воспитан, кроме быков? А правда, быки чудесные? Понравились они вам, Билл? Отчего вы молчите, Роберт? Что вы сидите здесь с похоронной физиономией? Предположим, что Брет спуталась с вами. Ну, и что ж? Она путалась со многими, почище вас.

— Замолчите,— сказал Кон. Он встал из-за стола.— Замолчите, Майкл.

— Пожалуйста, не становитесь в позицию, как будто вы собираетесь ударить меня. Не испугаете. Скажите мне, Роберт, какого черта вы таскаетесь за Брет, как несчастный вол какой-то? Разве вы не видите, что вы лишний? Я всегда знаю, когда я лишний. Почему же вы не знаете, когда вы лишний? Вы приехали в Сан-Себастиан, где никто вас не ждал, и таскаетесь за Брет, как несчастный вол какой-то. По-вашему, это хорошо?

— Замолчите. Вы пьяны.

— Может быть, я и пьян. А вы почему не пьяны? Почему вы никогда не напиваетесь? Не очень-то вам весело было в Сан-Себастиане. Никто из наших знакомых не приглашал вас к себе. И что же, они неправы, по-вашему? Скажите. Я даже сам просил их. Но они не захотели. Так что же, неправы они, по-вашему? Скажите. Ну, отвечайте же. Правы они или нет?

— Отстаньте, Майкл.

— По-моему, они правы. А по-вашему, неправы? Что вы таскаетесь за Брет? Что у вас за манеры? Как вы думаете, каково это мне?

— О манерах ты лучше помолчал бы,— сказала Брет.— У тебя у самого изумительные манеры.

— Пойдемте, Роберт,— сказал Билл.

— Чего ради вы за ней таскаетесь?

Билл встал из-за стола и потянул Кона за рукав.

— Не уходите,— сказал Майкл.— Роберт Кон хочет заказать вина.

Билл ушел с Коном. Кон был изжелта-бледен. Майкл продолжал болтать. Я молча сидел и слушал. Брет казалась рассерженной.

— Послушай, Майкл,— прервала она его,— перестань дурака валять. Это не значит, что он неправ,— сказала она, повернувшись ко мне.

Майкл сразу заговорил спокойным тоном. Мы все были в ладу друг с другом.

— Я вовсе не так пьян, как вам кажется,— сказал он.

— Я знаю, что ты не пьян,— сказала Брет.

— Мы все немного выпили,— сказал я.

— Я говорил только то, что думаю.

— Но в каких ужасных выражениях,— засмеялась Брет.

— Все равно, он дурак. Приехал в Сан-Себастиан, где он никому не был нужен. Он терся возле Брет и глаз не сводил с нее. Меня просто тошнило.

— Да, он очень плохо вел себя,— сказала Брет.

— Вы поймите. У Брет были любовники и раньше. Она мне все рассказывает. Она давала мне письма этого Кона, но я не стал читать.

— Страшно благородно с твоей стороны.

— Нет, вы послушайте, Джейк. У Брет были любовники. Но все-таки не евреи, и они не приставали к ней после.

— Отличные были ребята,— сказала Брет.— Но все это чушь, не стоит и говорить. Мы с Майклом понимаем друг друга.

— Она давала мне письма Роберта Кона. Я не стал их читать.

— Ты никаких писем не стал бы читать, милый. И моих не прочел бы.

— Не могу читать писем,— сказал Майкл.— Странно, правда?

— Ты вообще не можешь читать.

— Нет. Это неправда. Я уйму читаю. Когда я дома, я всегда читаю.

— Ты скоро писать начнешь,— сказала Брет.— Так вот, Майкл, не расстраивайся. Нужно с этим примириться. Он здесь, ничего не поделаешь. Не порть нам фиесту.

— Тогда пусть ведет себя прилично.

— Он будет вести себя прилично. Я скажу ему.

— Лучше вы скажите ему, Джейк. Скажите ему, чтоб он вел себя прилично или убирался отсюда.

— Ну да,— сказал я.— Кому же и говорить это, как не мне.

— Послушай, Брет. Скажи Джейку, как Роберт тебя называет. Это, знаете, просто перл.

— Ой, нет. Не могу.

— Скажи. Мы ведь все друзья. Правда, Джейк, мы друзья?

— Не могу я этого сказать Джейку. Это слишком глупо.

— Тогда я скажу.

— Не надо, Майкл. Не валяй дурака.

— Он называет ее Цирцеей,— сказал Майкл.— Уверяет, что она превращает мужчин в свиней. Замечательно сказано. Как жаль, что я не писатель.

— А Майкл хорошо мог бы писать,— сказала Брет.— Как он письма пишет!

— Я знаю,— сказал я.— Он писал мне из Сан-Себастиана.

— Это что!— сказала Брет.— Он может ужасно забавно писать.

— Это она заставила меня написать. Она притворялась, что больна.

— Я и была больна.

— Пойдемте,— сказал я.— Ужинать пора.

— Как мне держаться с Коном?— спросил Майкл.

— Держите себя так, как будто ничего не случилось.

— Мне-то вообще наплевать,— сказал Майкл.— Я ничуть не смущен.

— Если он заговорит об этом, скажите, что вы были пьяны.

— Правильно. И, что смешнее всего, я, кажется, действительно был пьян.

— Идемте,— сказала Брет.— Вы заплатили за эту отраву? Мне надо до ужина ванну принять.

Мы пересекли площадь. Уже стемнело, и вокруг всей площади, под колоннами, светились огни кафе. Мы пошли к отелю по усыпанной гравием дорожке под деревьями.

Брет и Майкл поднялись наверх, а я остановился поговорить с хозяином.

— Ну, как вам понравились быки?— спросил Монтойа.

— Понравились. Хорошие быки.

— Неплохие.— Монтойа покачал головой.— Но они не слишком хороши.

— Чем они вам не понравились?

— Сам не знаю. Просто у меня такое чувство, что они не очень хороши.

— Понимаю.

— Но они неплохие.

— Да, неплохие.

— А вашим друзьям они понравились?

— Очень.

— Вот и хорошо,— сказал Монтойа.

Я поднялся наверх. Билл стоял на балконе своей комнаты и смотрел на площадь. Я подошел к нему.

— Где Кон?

— У себя в комнате.

— Как он?

— Да скверно, конечно. Майкл безобразно вел себя. Он невозможен, когда пьян.

— Он не был пьян.

— Какого черта не был! Я-то знаю, сколько мы выпили по дороге в кафе.

— Он после протрезвился.

— Пусть так. Он безобразно вел себя. Я сам не очень-то люблю Кона, и, по-моему, ехать ему в Сан-Себастиан было нелепо, но говорить человеку такие вещи просто непозволительно.

— Как тебе быки понравились?

— Очень. Замечательно, как их выводят.

— Завтра привезут мьюрских.

— Когда фиеста начнется?

— Послезавтра.

— Нужно следить за Майклом, чтобы он не напивался. А то это слишком безобразно.

— Пора почиститься к ужину.

— Да. Я думаю, будет весело.

— А то как же?

Ужин в самом деле прошел очень весело. Брет надела черное вечернее платье, без рукавов. Она была очень красива. Майкл делал вид, будто ничего не случилось. Мне пришлось подняться наверх и привести Роберта Кона. Он держался холодно и церемонно, и лицо его все еще было желтовато-бледное и замкнутое, но под конец он повеселел. Он не мог не смотреть на Брет. По-видимому, это доставляло ему радость. Ему, должно быть, приятно было видеть, что она такая красивая, и знать, что она уезжала с ним и что все об этом знают. Этого никто не мог у него отнять. Билл очень много острил. Острил и Майкл. Они были хорошей парой.

Такие ужины я запомнил со времен войны. Много вина, нарочитая беспечность и предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить. Под влиянием вина гнетущее чувство покинуло меня, и я пришел в хорошее настроение. Все они казались такими милыми людьми.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Не знаю, в котором часу я лег. Помню, что я разделся, надел халат и вышел на балкон. Я знал, что я очень пьян, и, вернувшись в комнату, зажег лампу над изголовьем кровати и стал читать. Я читал книгу Тургенева. Вероятно, я несколько раз прочел одни и те же две страницы. Это был рассказ из «Записок охотника». Я уже раньше читал его, но мне казалось, что я читаю

его впервые. Картины природы рисовались очень отчетливо, и тяжесть в голове проходила. Я был очень пьян, и мне не хотелось закрывать глаза, потому что комната сразу начала бы кружиться. Лучше еще почитать — тогда это пройдет.

Я слышал, как Брет и Роберт Кон поднялись по лестнице. Кон попрощался перед дверью ее комнаты и пошел по коридору к себе. Я слышал, как Брет зашла в комнату рядом с моей. Майкл уже был в постели. Он пришел вместе со мной час тому назад. Когда она вошла, он проснулся и они заговорили. Я слышал их смех. Я потушил свет и постарался заснуть. Читать уже не нужно было. Я мог закрыть глаза и не чувствовать головокружения. Но я не мог уснуть. Непонятно, почему в темноте все представляется иначе, чем при свете. Какое там, к черту, непонятно!

Когда-то я все это обдумал и целых полгода, ложась спать, не тушил электричества. Нечего сказать — блестящая идея. Впрочем, черт с ними, с женщинами. Черт с тобой, Брет Эшли.

С женщинами так хорошо дружить. Ужасно хорошо. Прежде всего нужно быть влюбленным в женщину, чтобы иметь надежную основу для дружбы. Я пользовался дружбой Брет. Я не думал о том, что ей достается. Я получал что-то, ничего не давая взамен. Это только отсрочило предъявление счета. Счет всегда приходит. На это, по крайней мере, можно твердо надеяться.

Я думал, что я за все заплатил. Не так, как женщины платят, и платят, и платят. Не какое-то там воздаяние или кара. Просто обмен ценностями. Что-то уступаешь, а взамен получаешь что-то другое. Или работаешь ради чего-нибудь. Так или иначе за все, хоть отчасти хорошее, платишь. Многое из того, за что я платил, нравилось мне, и я хорошо проводил время. Платишь либо знанием, либо опытом, либо риском, либо деньгами. Пользоваться жизнью — не что иное, как умение получать нечто равноценное истраченным деньгам и сознавать это. А получать полной ценой за свои деньги можно. Наш мир — солидная фирма. Превосходная как будто теория. Через пять лет, подумал я, она покажется мне такой же глупой, как все мои остальные превосходные теории.

Может быть, это и не так. Может быть, с годами начинаешь кое-что понимать. Мне все равно, что такое мир. Все, что я хочу знать, это — как в нем жить. По-

жалуй, если додуматься, как в нем жить, тем самым поймешь, каков он.

Все-таки лучше бы Майкл не вел себя так безобразно с Коном. Майкл не умеет пить. Брет умеет пить. Билл умеет пить. Кон никогда не напивается. Майкл, когда перейдет черту, нехорош. Мне приятно, когда он оскорбляет Кона. Все-таки лучше бы он этого не делал, потому что после я сам себе противен. Это и есть нравственность: если после противно. Нет, это, должно быть, безнравственность. Смелое утверждение. Сколько чепухи по ночам лезет мне в голову. Какая чушь, сказала бы Брет. Какая чушь! Когда водишься с англичанами, привыкаешь думать их словечками. Английская разговорная речь — по крайней мере у людей высшего круга — содержит, должно быть, меньшее число слов, чем эскимосский язык. Правда, я понятия не имею об эскимосском языке. Может быть, это прекрасный язык. Ну, скажем, ирокезский. И о нем понятия не имею. Англичане говорят интонационными речениями. Одно речение может выражать все, что угодно. Все-таки они мне нравятся. Мне нравится, как они говорят. Харрис, например. Однако Харрис не принадлежит к высшему кругу.

Я снова зажег свет и начал читать. Я читал тот же рассказ Тургенева. Я знал, что, прочтя его сейчас, в состоянии обостренной восприимчивости, вызванном чрезмерным количеством выпитого коньяку, я надолго запомню его, и после мне будет казаться, что все это на самом деле случилось со мной. Этого у меня не отнимешь. Вот еще кое-что, за что платишь и чего отнять нельзя. Спустя какое-то время, уже под утро, я наконец заснул.

Следующие два дня мы провели очень тихо и скандалов больше не было. Памплона готовилась к фиесте. На перекрестках рабочие ставили ворота, которыми загораживают поперечные улицы по утрам, когда выпущенные из корраля быки бегут через весь город к цирку. Рабочие рыли ямы и вкапывали столбы, на каждом столбе был обозначен его номер и надлежащее место. За городом, на плато, служители цирка тренировали тощих лошадей, гоняя их по твердому, спекшемуся на солнце грунту позади цирка. Главные ворота были открыты, внутри подметали трибуны для зрителей. Арену уже укатали и полили водой, и плотники чинили барьер в тех местах, где доски расшатались или дали трещины. С края арены, стоя на ровном, укатанном песке, мо-

жно было посмотреть вверх на пустой амфитеатр и увидеть, как старухи подметают пол в ложах.

Снаружи уже были поставлены заборы, которые тянулись от последней улицы до входа в цирк, образуя длинный загон; утром, в день первого боя быков, по этому проходу толпа будет бежать впереди быков. На окраине города, там, где откроется ярмарка лошадей и рогатого скота, цыгане разбили табор под деревьями. Торговцы вином и водкой сколачивали свои ларьки. На одном ларьке была реклама анисовой водки. Жаркое солнце освещало полотнище с надписью «Anis del Toro», висевшее на деревянных досках. На большой площади в центре города еще не было видно никаких перемен. Мы сидели в белых плетеных креслах на террасе кафе и смотрели на подходившие автобусы, из которых вылезали крестьяне, приехавшие на базар, потом смотрели, как отъезжают переполненные автобусы, а внутри сидели крестьяне с сумками, где лежало купленное в городе добро. На площади не было других признаков жизни, кроме высоких серых автобусов, голубей и человека, который из кишки поливал улицы и усыпанную гравием площадь.

По вечерам бывало пасео — гулянье. После обеда, в течение часа, все красивые девушки и офицеры местного гарнизона, все модники и модницы Памплоны прогуливались по улице, примыкающей к площади, меж тем как террасы кафе наполнялись обычной послеобеденной публикой.

Каждое утро я сидел в кафе, прочитывал мадридские газеты, а потом гулял по улицам или отправлялся за город. Иногда Билл гулял со мной. Иногда он писал в своей комнате. Роберт Кон проводил утро за изучением испанского языка или старался попасть в парикмахерскую, чтобы побриться. Брет и Майкл никогда не показывались раньше двенадцати. Потом мы все пили вермут в кафе. Мы вели тихую жизнь, и никто не напивался. Раза два я ходил в церковь, один раз с Брет. Она сказала, что хотела бы послушать, как я исповедуюсь, но я объяснил ей, что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, вовсе не так интересно, как кажется, и, кроме того, я говорил бы на языке, которого она не знает. Когда мы вышли из церкви, мы встретили Кона, и хотя было очевидно, что он выследил нас, он держался просто и мило, и мы втроем отправились в цыганский табор, и одна из цыганок погадала Брет.

Было прекрасное утро, над горами плыли высокие белые облака. Ночью прошел небольшой дождь, и на плато пахло свежестью и прохладой, и оттуда открывался чудесный вид. Нам всем было хорошо и покойно, и я ничего не имел против Кона. Невозможно было раздражаться в такой чудесный день.

Это был последний день перед фиестой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В воскресенье, шестого июля, ровно в полдень, фиеста взорвалась. Иначе этого назвать нельзя. Люди прибывали из деревень все утро, но они растворялись в городе, и их не было заметно. Площадь под жарким солнцем была так же тиха, как в любой будний день. Крестьяне собирались в винных лавках подальше от центра. Там они пили, готовясь к фиесте. Они столь недавно покинули свои равнины и горы, что им требовалось время для переоценки ценностей. Они не могли сразу решиться на цены в дорогих кафе. В винных лавках они получали полной ценой за свои деньги. Деньги еще представляли определенную ценность, измеряемую рабочими часами и бушелями проданного хлеба. В разгаре фиесты им уже будет все равно, сколько платить и где покупать. Но в первый день праздника святого Фермина они с раннего утра засели в винных лавках на узких улочках города. Я шел в собор к утренней службе и по дороге слышал их пение, доносившееся из открытых дверей лавок. Они понемножку разгорячились. Служба начиналась в одиннадцать часов, народу в соборе было много. День святого Фермина — местный престольный праздник.

Выйдя из собора, я спустился под гору и пошел по улице, ведущей к площади. Было около двенадцати часов. За столиком в кафе сидели Роберт Кон и Билл. Мраморные столики и белые плетеные кресла исчезли. Их заменили чугунные столики и крепкие складные стулья. Кафе напоминало военное судно, готовое к бою. Сегодня нельзя было просидеть все утро над газетами, ничего не заказывая. Не успел я сесть, как ко мне подошел официант.

— Что вы пьете?— спросил я Билла и Роберта.

— Херес,— сказал Кон.

— Jerez,— сказал я официанту.

Не успел официант принести херес, как над площадью взвилась ракета — сигнал открытия фиесты. Ракета вспыхнула, и серый шар дыма повис высоко в воздухе над театром Гаяр, на другом конце площади. Серый шар висел в небе, словно только что разорвалась шрапнель, и пока я смотрел на него, взвилась еще одна ракета, выпуская струйки дыма под ярким солнцем. Я увидел яркую вспышку света, и в небе появилось еще одно облачко дыма. Когда взвилась вторая ракета, под колоннами, где минуту назад было пусто, толпилось уже столько народу, что официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой руке. Люди со всех сторон устремлялись на площадь, и слышно было, как по улице приближаются дудки, флейты и барабаны. Оркестр играл riau-riau — дудки пронзительно, барабаны дробно,— а за музыкантами, приплясывая, шли мужчины и подростки. Когда музыка замолкала, они все становились на корточки посреди улицы, а когда флейты и дудки взвизгивали и плоские, гулкие барабаны начинали выбивать сухую дробь, они все вскакивали и пускались в пляс. Толпа была такая густая, что видны были только плечи и головы танцоров, ходившие вверх и вниз.

По площади, согнувшись, шел человек и играл на свирели, за ним с криком бежали дети и дергали его за полы. Он пересекал площадь, а дети бежали за ним, и он, не переставая дудеть, прошел мимо кафе и свернул в переулок. Мы увидели его бессмысленное рябое лицо, когда он шел мимо нас, играя на свирели, а за ним по пятам бежали дети, дергали его и кричали.

— Это, должно быть, местный дурачок,— сказал Билл.— Ох, поглядите-ка!

По улице двигались танцоры. Вся улица сплошь была запружена танцорами — одни мужчины. Они танцевали под свой собственный оркестр из дудок и барабанов. Это был какой-то союз, и все были в синих рабочих блузах с красными платками вокруг шеи, и на двух шестах несли большое полотнище. Окруженные толпой, они вступили на площадь, и полотнище плясало вверх и вниз вместе с ними.

«Да здравствует вино! Да здравствуют иностранцы!»— было написано на полотнище.

— Где иностранцы?— спросил Роберт Кон.

— Иностранцы — это мы,— сказал Билл.

Беспрерывно взвивались ракеты. Теперь все столи-

ки были заняты. Площадь пустела, и толпа растекалась по кафе.

— Где Брет и Майкл?— спросил Билл.

— Я пойду приведу их,— сказал Кон.

— Приведите.

Фиеста началась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке. Шла фиеста, и она продолжалась семь дней.

Днем состоялась пышная религиозная процессия. Святого Фермина носили из церкви в церковь. В процессии шли все сановники города, гражданские и духовные. Мы не видели их,— толпа была слишком велика. Впереди и позади процессии отплясывали riau-riau. В толпе выделялась группа танцоров в желтых рубашках. Все, что нам удалось увидеть от процессии сквозь густую толпу, заливавшую тротуары и прилегающие к площади улицы,— это деревянных индейцев тридцати футов вышиной, и таких же арапов, короля и королеву, торжественно вальсирующих под звуки riau-riau.

Все стояли перед часовней, куда за святым Фермином проследовали сановники, оставив у входа военную охрану. Макеты великанов стояли пустые; танцевавшие в них люди стояли возле, а карлики мелькали в толпе со своими пузырями. Мы вошли было в часовню, где пахло ладаном и откуда гуськом выходили люди, чтобы пройти обратно в церковь, но Брет остановили в дверях, потому что она была без шляпы, и мы повернули и пошли по улице, ведущей от часовни к городу. На обоих тротуарах стояли люди, дожидавшиеся возвращения процессии. Несколько танцоров, взявшись за руки, стали танцевать вокруг Брет. На шее у них висели большие венки из белых головок чеснока. Они взяли Билла и меня за руки и поставили в круг, рядом с Брет. Билл тоже танцевал. Все они пели. Брет хотела танцевать, но они ей не дали. Они хотели танцевать вокруг нее, как вокруг статуи. Когда пение оборвалось пронзительным riau-riau, они втолкнули нас в винную лавку.

Мы подошли к стойке. Брет усадили на бочку с вином. В полутемной лавке было полно мужчин, и все они пели низкими жесткими голосами. Позади стойки наливали вино из бочек. Я выложил деньги за вино, но один из мужчин собрал монеты и сунул их мне обратно в карман.

— Я хочу мех для вина,— сказал Билл.

— Здесь рядом есть лавка,— сказал я.— Сейчас пойду куплю.

Танцоры не хотели отпускать меня. Трое их сидели рядом с Брет на высокой бочке и учили ее пить из меха. Они повесили ей на шею венок из чеснока. Один совал ей в руку стакан. Другой учил Билла песенке. Напевал ему в ухо. Отбивал такт на спине Билла.

Я объяснил им, что сейчас вернусь. Выйдя из лавки, я пошел по улице в поисках мастерской, где я видел мехи для вина. На тротуарах толпился народ, у многих лавок ставни были закрыты, и я не мог найти ее. Я дошел до самой церкви, оглядывая обе стороны улицы. Потом я спросил одного из толпы, и он взял меня за локоть и привел в мастерскую. Ставни были закрыты, но дверь стояла настежь.

Внутри пахло дубленой кожей и горячей смолой. В углу сидел человек и выводил по трафарету надписи на готовых мехах. Мехи пучками свисали с потолка. Приведший меня снял один, надул его, туго завинтил крышку и прыгнул на него.

— Видите! Не течет.

— Мне нужно еще один. Только большой.

Он снял с потолка большой мех, в который вошел бы целый галлон, и приложил его ко рту. Щеки его сильно раздувались вместе с мехом. Потом он, держась за стул, встал на мех обеими ногами.

— На что они вам? Продадите в Байонне?

— Нет. Пить буду из них.

Он хлопнул меня по спине.

— Buen hombre! Восемь песет за оба. Самая дешевая цена.

Человек, который выводил надписи на мехах и бросал их в кучу, поднял голову.

— Верно,— сказал он.— Восемь песет это дешево.

Я заплатил, вышел на улицу и вернулся в винную лавку. Внутри было еще темней и очень тесно. Я не увидел ни Брет, ни Билла, и мне сказали, что они в задней

комнате. Девушка за стойкой наполнила для меня оба меха. В один вошло два литра. В другой — пять литров. Все это стоило три песеты и шестьдесят сентимо. Кто-то, стоявший рядом со мной и кого я видел первый раз в жизни, пытался заплатить за вино, но в конце концов заплатил я. Тогда он угостил меня стаканом вина. Он не позволил мне угостить его в ответ, но сказал, что не откажется промочить горло из нового меха. Он поднял большой пятилитровый мех, сжал его, и вино струей полилось ему в самое горло.

— Ну вот,— сказал он и отдал мне мех.

В задней комнате Брет и Билл сидели на бочках, окруженные танцорами. Каждый держал руку на плече соседа, и все пели. Майкл сидел за столиком вместе с какими-то людьми без пиджаков и ел с ними из одной чашки рыбу, приправленную луком и уксусом. Все они пили вино и макали хлеб в масло с уксусом.

— Хэлло, Джейк, хэлло!— крикнул Майкл.— Идите сюда. Разрешите познакомить вас с моими друзьями. Мы тут слегка закусываем.

Майкл познакомил меня со всеми сидящими за столиком. Они подсказывали ему свои фамилии и послали за вилкой для меня.

— Перестань объедать их, Майкл!— крикнула Брет со своей бочки.

— Нет, зачем же я лишу вас обеда,— сказал я тому, кто протягивал мне вилку.

— Ешьте,— сказал он,— для того поставлено.

Я отвинтил крышку большого меха и пустил его по кругу. Все по очереди выпили, высоко держа мех в вытянутых руках.

Снаружи, покрывая пение, доносилась музыка проходившей процессии.

— Как будто процессия идет?— спросил Майкл.

— Nada,— сказал кто-то.— Это ничего. Пейте. Поднимите мех.

— Где они вас разыскали?— спросил я Майкла.

— Кто-то привел меня сюда,— ответил Майкл.— Мне сказали, что вы здесь.

— А где Кон?

— Он раскис!— крикнула Брет.— Его куда-то убрали.

— Где он?

— Не знаю.

— Откуда нам знать?— сказал Билл.— По-моему, он умер.

— Он не умер,— сказал Майкл.— Я знаю, что он не умер. Он просто раскис от Anis del Mono.

Когда Майкл сказал Anis del Mono, один из сидевших за столиком достал мех из-за пазухи и протянул его мне.

— Нет,— сказал я.— Нет, спасибо.

— Пейте. Пейте. Подымите мех!

Я отхлебнул. Водка отдавала лакрицей, и от нее по всему телу разливалось тепло. Я чувствовал, как у меня становится тепло в желудке.

— Где же все-таки Кон?

— Не знаю,— сказал Майкл.— Сейчас спрошу. Где наш пьяный товарищ?— спросил он по-испански.

— Вы хотите видеть его?

— Да,— сказал я.

— Я не хочу,— сказал Майкл.— Это вот он хочет.

Владелец анисовой водки вытер губы и встал.

— Пойдемте.

В одной из задних комнат Роберт Кон спокойно спал на сдвинутых бочках. Лицо его было едва видно в темноте. Его накрыли чьим-то пиджаком, а другой подложили ему под голову. С его шеи на грудь спускался большой венок из чеснока.

— Не будите его,— прошептал приведший меня.— Пусть проспится.

Два часа спустя Кон появился. На его шее все еще болтался венок из головок чеснока. Испанцы приветствовали его криками. Кон протер глаза и засмеялся.

— Я, кажется, вздремнул,— сказал он.

— Что вы, и не думали,— сказала Брет.

— Вы просто были мертвы,— сказал Билл.

— А не пойти ли нам поужинать?— спросил Кон.

— Вы что, есть захотели?

— Да. А что? Я проголодался.

— Поешьте чесноку, Роберт,— сказал Майкл.— Поешьте.

Кон не ответил. Он выспался и был совершенно трезв.

— Пойдемте ужинать,— сказала Брет.— Мне еще нужно принять ванну.

— Идем,— сказал Билл.— Доставим Брет в отель.

Мы попрощались со множеством людей, пожали множество рук и вышли. На улице было темно.

— Как вы думаете, который теперь час?— спросил Кон.

— Уже завтра,— ответил Майкл.— Вы проспали два дня.

— Нет, правда,— сказал Кон,— который час?

— Десять часов.

— Сколько мы выпили!

— Вы хотите сказать, сколько *мы* выпили. Вы-то спать улеглись.

Когда мы шли к отелю по темным улицам, мы видели, как в небо взвивались ракеты. А когда подходили к отелю, в конце переулка увидели площадь, запруженную густой толпой, обступившей танцоров.

Ужин в отеле подали обильный. Это была первая трапеза по удвоенным на время фиесты ценам, и к обычному меню прибавили несколько блюд. После ужина мы пошли в город. Помню, что я решил не ложиться всю ночь, чтобы в шесть часов утра посмотреть, как быки побегут по улицам. Но мне очень захотелось спать, и около четырех часов я лег и уснул. Остальные не ложились. Моя комната была заперта, а я не мог найти ключ и улегся на одну из кроватей в комнате Кона, этажом выше. Всю ночь на улицах шумела фиеста, но я был такой сонный, что это не помешало мне спать. Разбудил меня треск разорвавшейся ракеты — сигнал, что на окраине города быков выпустили из корраля. Сейчас они промчатся по всему городу, устремляясь в цирк. Я спал тяжело и, просыпаясь, чувствовал, что опоздал. Я накинул пальто Кона и вышел на балкон. Внизу, подо мной, узкая улочка была безлюдна. На всех балконах теснились зрители. Вдруг улицу залила толпа. Люди бежали все вместе, сбившись в кучу. Они пробежали мимо отеля и свернули к цирку, потом появились еще люди, они бежали быстрее, а за ними несколько человек отставших уже пробежали во весь дух. После них образовался небольшой просвет, и затем по улице, крутя рогами, галопом промчались быки. Минута — и все исчезло за углом. Один из толпы упал, скатился в канаву и лежал неподвижно. Но быки пронеслись мимо, не заметив его. Они бежали плотным стадом.

После того как быки скрылись из виду, со стороны цирка донесся рев толпы. Рев долго не умолкал. И наконец — треск разорвавшейся ракеты, возвестивший, что быки пробежали сквозь толпу на арену, а оттуда в загон. Я вернулся в комнату и лег в постель. Все время я простоял босиком на каменном полу балкона. Я подумал, что вся наша компания сейчас, вероятно, в цирке. Согревшись в постели, я заснул.

Я проснулся, когда пришел Кон. Он начал раздеваться и подошел к окну, чтобы закрыть его, потому что с балкона через улицу, как раз напротив, люди заглядывали к нам.

— Ну, видели?— спросил я.

— Да. Мы все были там.

— Жертвы были?

— Один бык врезался в толпу на арене и помял человек семь.

— Брет не испугалась?

— Это произошло так быстро, что никто не обратил внимания.

— Жалко, что я проспал.

— Мы не знали, где вы. Мы подходили к вашей комнате, но дверь была заперта.

— А где вы были ночью?

— Танцевали в каком-то клубе.

— Мне очень спать захотелось,— сказал я.

— А мне как спать хочется!— сказал Кон.— Когда же это кончится?

— Только через неделю.

Билл приоткрыл дверь и просунул голову.

— Где ты был, Джейк?

— Я смотрел на них с балкона. Ну как?

— Замечательно.

— Куда ты идешь?

— Спать.

Все проспали до двенадцати. Мы позавтракали за одним из столов, расставленных под колоннами. Город был переполнен. Нам пришлось дожидаться свободного места. После завтрака мы пошли в кафе Ирунья. Там было тесно, и чем ближе подходило время боя быков, тем становилось теснее, и толпа вокруг столиков все густела. В кафе стояло низкое, многоголосое жужжание, как всегда перед боем быков. В другие дни кафе никогда не жужжало так, как бы переполнено оно ни было. Жужжанье нарастало, оно захватывало и нас, и мы уже были частью его.

Я запасся шестью билетами на все бои. Три места были barrera, в первом ряду, у самой арены, а три sobrepuerta — скамьи с деревянными спинками в одном из средних рядов амфитеатра. Майкл считал, что Брет лучше сидеть повыше для первого раза, и Кон пожелал сидеть с ними. Мы с Биллом решили сесть в первом ряду,

а лишний билет я отдал официанту и попросил продать его. Билл начал учить Кона, что делать и куда смотреть, чтобы не замечать лошадей. Билл уже видел бой быков.

— Об этом я ни капли не беспокоюсь. Я только боюсь, что мне будет скучно,— сказал Кон.

— Вы так думаете?

— Не смотрите на лошадь после того, как бык забодает ее,— сказал я Брет.— Следите за быком и за тем, как пикадор старается не подпустить его, а потом не смотрите на лошадь, если она ранена, пока она не околеет.

— Я немного волнуюсь,— сказала Брет.— Не знаю, смогу ли я все это выдержать.

— Отлично выдержите. Неприятно только смотреть на лошадей, а они бывают не больше двух-трех минут с каждым быком. Вы просто отвернитесь, когда страшно будет.

— Все будет хорошо,— сказал Майкл.— Я присмотрю за ней.

— Я думаю, вы не соскучитесь,— сказал Билл.

— Я схожу в отель за биноклем и вином,— сказал я.— Потом вернусь сюда. Только не напивайтесь.

— Я пойду с тобой,— сказал Билл.

Брет улыбнулась нам.

Мы пошли кругом под колоннами, чтобы не идти по жаре через площадь.

— Злит меня этот Кон,— сказал Билл.— Такое в нем чисто еврейское зазнайство, что он, видите ли, не ждет от боя быков ничего, кроме скуки.

— А мы поглядим на него в бинокль,— сказал я.

— Да ну его к чертям!

— Они и так его припекают.

— Ну и пусть.

На лестнице отеля мы встретили Монтойу.

— Пойдемте,— сказал Монтойа.— Хотите познакомиться с Педро Ромеро?

— Очень даже,— сказал Билл.— Идем к нему.

Мы поднялись за хозяином на второй этаж и пошли по коридору.

— Он занимает восьмой номер,— сказал Монтойа.— Сейчас его одевают к бою быков.

Монтойа постучал в дверь и отворил ее. Комната была мрачная, окно, выходившее в узкий переулок, давало мало света. В комнате стояли две кровати, стыдливо разделенные перегородкой. Горело электричество. Юноша в

костюме матадора стоял очень прямо. Лицо его было строго. Расшитая куртка висела на спинке стула. Ему только что намотали пояс вокруг талии. На нем была белая полотняная рубашка, черные волосы блестели в электрическом свете. Личный слуга его, закрепив пояс, встал с колен и отступил. Педро Ромеро рассеянно и с большим достоинством наклонил голову и пожал нам руки. Монтойа сказал ему, что мы настоящие aficionado и что мы хотим пожелать ему успеха. Ромеро слушал очень серьезно. Потом он повернулся ко мне. Никогда в жизни не видел я такого красавца.

— Вы идете на бой быков?— спросил он по-английски.

— Вы говорите по-английски?— спросил я, чувствуя себя идиотом.

— Нет,— ответил он и улыбнулся.

Один из трех мужчин, сидевших на кроватях, подошел к нам и спросил, говорим ли мы по-французски.

— Если хотите, я буду переводить. Может быть, вы желаете спросить что-нибудь у Педро Ромеро?

Мы поблагодарили его. О чем могли бы мы спросить? Юноше было девятнадцать лет, он был один, если не считать слуги и трех прихлебателей, а через двадцать минут начнется бой. Мы сказали Mucha suerte[1], пожали ему руку и вышли. Когда мы закрывали дверь, он стоял очень прямо, красивый и всем чужой, один в комнате, где сидели его прихлебатели.

— Чудесный малый, не правда ли? — спросил Монтойа.

— Красивый мальчик,— сказал я.

— С виду он настоящий тореро,— сказал Монтойа.— Чистейшей воды.

— Чудесный малый.

— Вот посмотрим, каков он на арене,— сказал Монтойа.

Большой мех с вином был прислонен к стене в моей комнате. Мы взяли мех и полевой бинокль, заперли дверь и спустились вниз.

Бой быков прошел удачно. Билл и я были в восхищении от Педро Ромеро. Монтойа сидел через десять мест от нас. После того как Ромеро убил первого быка, Монтойа поймал мой взгляд и кивнул головой. Это — настоящий. Настоящих матадоров давно не бы-

---

[1] Желаем удачи *(испанск.)*.

ло. Из двух других матадоров первый работал хорошо, второй посредственно. Но не могло быть и сравнения с Ромеро, хотя быки попались ему неважные.

Несколько раз во время боя быков я оборачивался и смотрел в бинокль на Майкла, Брет и Кона. По-видимому, они чувствовали себя хорошо. Брет была спокойна. Все трое сидели, наклонившись вперед, опираясь на бетонные перила.

— Дай мне бинокль,— сказал Билл.

— Ну, как Кон, скучает?— спросил я.

— Вот хвастун!

При выходе из цирка, после окончания боя быков, мы попали в давку. Нельзя было пробраться сквозь толпу, пришлось отдаться ей, и она медленно, словно глетчер, несла нас к городу. Мы испытывали то чувство легкой тревоги, которое обычно испытываешь после боя быков, и были в приподнятом настроении, как всегда после по-настоящему хорошего боя. Фиеста была в разгаре. Барабаны били, дудки пронзительно свистели, и людской поток то и дело прерывался кучками танцоров. Танцоры плясали в гуще толпы, и нам не видно было, что они выделывают ногами. Мы видели только головы и плечи, ходившие вверх и вниз. В конце концов мы выбрались из толпы и зашагали к кафе. Официант оставил три свободных стула, мы заказали по абсенту и разглядывали толпу на площади и танцоров.

— Как ты думаешь, что это за танец?— спросил Билл.

— Что-то вроде хоты.

— Он не всегда одинаковый,— сказал Билл.— Они под разную музыку танцуют по-разному.

— Замечательно танцуют.

Напротив нас в начале улицы танцевала группа подростков. Они выделывали очень сложные па, и лица у них были серьезные и сосредоточенные. Все они, танцуя, смотрели на свои ноги. Их туфли на веревочной подошве топали и хлопали по мостовой. Носки сходились, лодыжки сходились. Потом музыка резко оборвалась, па на месте кончилось, и танцоры, приплясывая, двинулись по улице.

— Идут наши аристократы,— сказал Билл.

Они пересекали улицу.

— Хэлло, друзья,— сказал я.

— Хэлло, джентльмены!— сказала Брет.— Вы заняли для нас места? Как мило.

— Знаете,— сказал Майкл,— этот, как его, Ромеро, это здорово. Правда?

— Он просто очарователен,— сказала Брет.— А зеленые штаны!

— Брет глаз не сводила с них.

— Завтра непременно возьму у вас бинокль.

— Ну, как? Хорошо было?

— Чудесно. Просто замечательно. Вот это зрелище!

— А лошади?

— Я не могла не смотреть на них.

— Она глаз не сводила с них,— сказал Майкл.— Она молодчина.

— Конечно, это ужасно, что с ними делают,— сказала Брет.— Но я не могла не смотреть.

— А вам не было дурно?

— Ни капельки.

— А Роберту Кону было дурно,— ввернул Майкл.— Вы совсем позеленели, Роберт.

— Первая лошадь меня расстроила,— сказал Кон.

— Вы не очень скучали, правда?— спросил Билл.

Кон засмеялся.

— Нет. Не скучал. Забудьте про это, пожалуйста.

— Ладно,— сказал Билл,— если только вы не скучали.

— Непохоже было, чтоб он скучал,— сказал Майкл.— Я думал, его стошнит.

— Да нет, мне вовсе не было так скверно. И всего только одну минуту.

— Я был уверен, что его стошнит. Вы не скучали, правда ведь, Роберт?

— Довольно об этом, Майкл. Я уже сказал, что зря так говорил.

— А ему все-таки было дурно. Он буквально позеленел.

— Хватит, Майкл!

— Никогда не скучайте на своем первом бое быков, Роберт,— сказал Майкл.— А то может выйти скандал.

— Хватит, Майкл,— сказала Брет.

— Он говорит, что Брет садистка,— сказал Майкл,— Брет не садистка. Она просто красивая, здоровая женщина.

— Вы садистка, Брет?— спросил я.

— Надеюсь, что нет.

— Он говорит, что Брет садистка только потому, что у нее здоровый желудок.

— Долго ли он будет здоровым?

Билл заговорил о другом и отвлек Майкла от Роберта Кона. Официант принес рюмки с абсентом.

— Вам правда понравилось?— обратился Билл к Кону.

— Нет, не скажу, чтобы мне понравилось. Но это необычайное зрелище.

— Ах, черт! Ну и зрелище!— сказала Брет.

— Только вот если бы лошадей не было,— сказал Кон.

— Это неважно,— сказал Билл.— Очень скоро перестаешь замечать все противное.

— Все-таки жутко вначале,— сказала Брет.— Самое страшное для меня, это когда бык кидается на лошадь.

— Быки были прекрасные,— сказал Кон.

— Хорошие быки,— сказал Майкл.

— Следующий раз я хочу сидеть внизу.— Брет отхлебнула абсент из рюмки.

— Она хочет получше рассмотреть матадоров,— сказал Майкл.

— Они стоят того,— сказала Брет.— Этот Ромеро еще совсем ребенок.

— Он поразительно красивый малый,— сказал я.— Мы заходили к нему в комнату. В жизни не видел такого красивого мальчика.

— Как вы думаете, сколько ему лет?

— Лет девятнадцать-двадцать.

— Подумать только!

Второй день боя быков прошел еще удачнее первого. Брет сидела в первом ряду между Майклом и мной, а Билл с Коном пошли наверх. Героем дня был Ромеро. Не думаю, чтобы Брет видела других матадоров. Да их никто не видел, кроме самых заядлых специалистов. Все свелось к одному Ромеро. Было еще два матадора, но они в счет не шли. Я сидел рядом с Брет и объяснял ей, в чем суть. Я учил ее следить за быком, а не за лошадью, когда бык кидается на пикадоров, учил следить за тем, как пикадор вонзает острие копья, чтобы она поняла, в чем тут суть, чтобы она видела в бое быков последовательное действие, ведущее к предначертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов. Я показал ей, как Ромеро своим плащом уводит быка от упавшей лошади и как он останавливает

его плащом и поворачивает его плавно и размеренно, никогда не обессиливая быка. Она видела, как Ромеро избегает резких движений и берег своих быков для последнего удара, стараясь не дергать и не обессиливать их, а только слегка утомить. Она видела, как близко к быку работает Ромеро, и я показал ей все трюки, к которым прибегают другие матадоры, чтобы казалось, что они работают близко к быку. Она поняла, почему ей нравится, как Ромеро действует плащом, и не нравится, как это делают другие.

Ромеро не делал ни одного лишнего движения, он всегда работал точно, чисто и непринужденно. Другие матадоры поднимали локти, извивались штопором, прислонялись к быку, после того как рога миновали их, чтобы вызвать ложное впечатление опасности. Но все показное портило работу и оставляло неприятное чувство. Ромеро заставлял по-настоящему волноваться, потому что в его движениях была абсолютная чистота линий и потому что, работая очень близко к быку, он ждал спокойно и невозмутимо, пока рога минуют его. Ему не нужно было искусственно подчеркивать опасность. Брет поняла, почему движения матадора прекрасны, когда он стоит вплотную к быку, и почему те же движения смешны на малейшем от него расстоянии. Я рассказал ей, что после смерти Хоселито все матадоры выработали такую технику боя, которая создает видимость опасности и заставляет волноваться зрителей, между тем как матадору ничего не грозит. Ромеро показывал мастерство старой школы,— четкость движений при максимальном риске, уменье готовить быка к последнему удару, подчинять его своей воле, давая почувствовать, что сам он недостижим.

— Ни одного неловкого движения не сделал,— сказала Брет.

— И не сделает, пока ему не станет страшно,— сказал я.

— Он никогда не испугается,— сказал Майкл.— Он слишком много знает.

— Он с самого начала все знал. Другим за всю жизнь не выучиться тому, что он знал от рожденья.

— И какой красавец,— сказала Брет.

— Знаете, она, кажется, влюбилась в этого тореро,— сказал Майкл.

— Ничего нет удивительного.

— Джейк, будьте другом. Не хвалите его больше.

Лучше расскажите ей, как они бьют своих престарелых матерей.

— Расскажи мне, как они пьянствуют.

— Просто ужасно,— сказал Майкл.— Пьянствуют с утра до вечера и только и делают что бьют своих несчастных матерей.

— Он похож на такого,— сказала Брет.

— А ведь правда похож,— сказал я.

К мертвому быку подвели и пристегнули мулов, потом бичи захлопали, служители побежали, мулы, рванувшись, пустились вскачь, и бык, с откинутой головой и одним торчащим рогом, заскользил по арене, оставляя на песке широкую полосу, и скрылся в красных воротах.

— Сейчас еще один бык — и конец.

— Уже?— сказала Брет. Она подалась вперед и облокотилась на барьер. Ромеро махнул рукой, отсылая пикадоров на их места, и стоял один, держа плащ у самой груди, глядя через арену туда, откуда должен был появиться бык.

Когда бой кончился, мы вышли и стали протискиваться сквозь толпу.

— Черт знает, как это изматывает,— сказала Брет.— Я вся размякла.

— Ничего, сейчас выпьем,— сказал Майкл.

На другой день Педро Ромеро не выступал. Быки были мьюрские, и бой прошел очень плохо. Следующий день был пустой по расписанию. Но фиеста продолжалась весь день и всю ночь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дождь шел с утра. Горы заволокло поднявшимся с моря туманом. Не видно было горных вершин. Плато стало мрачным и тусклым, и очертания деревьев и домов изменились. Я вышел за город, чтобы посмотреть на ненастье. Темные тучи наползали на горы с моря.

Флаги на площади, мокрые, висли на белых шестах, к фасадам домов липли влажные полотнища, а дождь то моросил, то лил, как из ведра, загоняя всех под колонны, и вся площадь покрылась лужами, потемневшие мокрые улицы опустели; но фиеста не прекращалась. Ее только загнало под крышу.

В цирке люди теснились на крытых местах, спасаясь от дождя, и смотрели состязание бискайских и наваррских танцоров и певцов, потом танцоры из Валь Карлос

в своих национальных костюмах танцевали на улице под глухой стук мокрых от дождя барабанов, а впереди на крупных, толстоногих лошадях, покрытых мокрыми попонами, ехали промокшие дирижеры оркестров. Толпа уже переполнила все кафе под колоннами, и туда же пришли танцоры и уселись за столики, вытянув туго обмотанные белые ноги, стряхивая воду с обшитых бубенцами колпаков и развешивая для просушки свои красные и фиолетовые куртки на спинках стульев. Дождь лил все сильнее.

Я оставил всю компанию в кафе и один пошел в отель побриться к обеду. Когда я брился у себя в комнате, в дверь постучали.

— Войдите!— крикнул я.

Вошел Монтойа.

— Как поживаете?— спросил он.

— Отлично,— сказал я.

— Сегодня нет боя.

— Нет,— сказал я,— сегодня только дождь.

— Где ваши друзья?

— В кафе Ирунья.

Монтойа улыбнулся своей смущенной улыбкой.

— Вот что,— сказал он.— Вы знаете американского посла?

— Да,— сказал я.— Американского посла все знают.

— Он сейчас здесь, в Памплоне.

— Да,— сказал я.— Его уже все видели.

— Я тоже его видел,— сказал Монтойа. Он помолчал. Я продолжал бриться.

— Садитесь,— сказал я.— Я попрошу, чтобы подали вина.

— Нет, нет. Мне нужно идти.

Я кончил бриться, наклонился над тазом и обмыл лицо холодной водой. Монтойа все стоял и казался еще более смущенным, чем всегда.

— Вот что,— сказал он.— Ко мне только что присылали из Гранд-Отеля с приглашением от посольских для Педро Ромеро и Марсьяла Лаланда на чашку кофе сегодня вечером.

— Ну,— сказал я.— Марсьялу это не повредит.

— Марсьял сегодня весь день в Сан-Себастиане. Он уехал утром на машине с Маркесом. Не думаю, чтобы они сегодня вернулись.

Монтойа стоял смущенный. Он ждал, чтобы я сказал что-нибудь.

— Не передавайте Ромеро приглашение,— сказал я.
— Вы думаете?
— Безусловно.
Монтойа просиял.
— Я пришел спросить вас, потому что вы американец,— сказал он.
— Я бы так поступил.
— Вот,— сказал Монтойа,— берут такого мальчика. Они не знают, чего он стоит. Они не знают, кем он может стать. Любому иностранцу легко захвалить его. Начинается с чашки кофе в Гранд-Отеле, а через год он конченый человек.
— Как Альгабено,— сказал я.
— Да, как Альгабено.
— Это такая публика,— сказал я.— Здесь есть одна американка, которая коллекционирует матадоров.
— Я знаю. Они выбирают самых молодых.
— Да,— сказал я.— Старые жиреют.
— Или сходят с ума, как Галло.
— Ну, что ж,— сказал я,— дело простое. Не передавайте ему приглашение, только всего.
— Он такой чудесный малый,— сказал Монтойа.— Он должен держаться своих. Незачем ему заниматься такой ерундой.
— Не хотите ли выпить?— спросил я.
— Нет, нет, мне нужно идти,— сказал Монтойа. Он вышел.
Я спустился вниз, вышел на улицу и пошел по колоннаде вокруг площади. Дождь все еще лил. Я заглянул в кафе Ирунья, нет ли там наших, но их там не было, и я обошел площадь кругом и вернулся в отель. Они все сидели за обедом в столовой первого этажа.
Они сильно опередили меня, и не стоило даже пытаться догнать их. Билл нанимал чистильщиков обуви для Майкла. Чистильщики заглядывали в дверь, и Билл подзывал каждого и заставлял обрабатывать ноги Майкла.
— Одиннадцатый раз мне чистят ботинки,— сказал Майкл.— Знаете, Билл просто осел.
Весть, очевидно, распространилась среди чистильщиков. Вошел еще один.
— Limpia botas? [1] — спросил он Билла.
— Не мне,— сказал Билл.— Вот этому сеньору.

[1] Почистить ботинки? *(испанск.)*

Чистильщик стал на колени рядом со своим коллегой и занялся свободным ботинком Майкла, который уже и так сверкал в электрическом свете.

— Чудило этот Билл,— сказал Майкл.

Я пил красное вино и так отстал от них, что мне было слегка неловко за эту возню с ботинками. Я посмотрел кругом. За соседним столиком сидел Педро Ромеро. Когда я кивнул ему, он встал и попросил меня перейти к его столику и познакомиться с его другом. Их столик был рядом и почти касался нашего. Я познакомился с его другом, мадридским спортивным критиком — маленьким человеком с худым лицом. Я сказал Ромеро, как я восхищен его работой, и он весь просиял. Мы говорили по-испански, а мадридский критик немного знал французский язык. Я протянул руку к нашему столику за своей бутылкой вина, но критик остановил меня. Ромеро засмеялся.

— Выпейте с нами,— сказал он по-английски.

Он очень стеснялся своего английского языка, но ему нравилось говорить по-английски, и немного погодя он стал называть слова, в которых был неуверен, и спрашивал меня о них. Ему особенно хотелось знать, как по-английски Corrida de toros, точный перевод. Английское название, означающее «бой быков», казалось ему сомнительным. Я объяснил, что «бой быков» по-испански значит lidia toro. Испанское слово corrida по-английски значит «бег быков». А по-французски Course de taureaux, ввернул критик. Испанского слова для боя быков нет.

Педро Ромеро сказал, что выучился немного по-английски в Гибралтаре. Родился он в Ронде. Это недалеко от Гибралтара. Искусству тореро он учился в Малаге, в тамошней школе тавромахии. В школе он пробыл всего три года. Критик подтрунивал над тем, что Ромеро употребляет много малагских выражений. Ему девятнадцать лет, сказал Ромеро. Его старший брат работает с ним в качестве бандерильеро, но живет не в этом отеле, а в другом, поменьше, вместе со всей куадрильей. Ромеро спросил меня, сколько раз я видел его на арене. Я сказал, что только три. Я тут же спохватился, что на самом деле я видел его всего два раза, но мне не захотелось объяснять ему мою ошибку.

— Где вы видели меня раньше? В Мадриде?

— Да,— соврал я. Я читал отчеты в спортивных

журналах о его двух выступлениях в Мадриде и поэтому был спокоен.

— Первое выступление или второе?

— Первое.

— Я очень плохо работал,— сказал он.— Второе прошло лучше. Помните?— повернулся он к критику.

Он нисколько не был смущен. Он говорил о своей работе так, словно смотрел на нее со стороны. В нем не было и тени тщеславия или бахвальства.

— Я очень рад, что вам нравится моя работа,— сказал он.— Но вы еще настоящей моей работы не видели. Завтра, если попадется хороший бык, я надеюсь показать ее вам.

Сказав это, он улыбнулся, опасаясь, как бы я или критик не подумали, что он хвастает.

— Буду очень рад, если увижу,— сказал критик.— Мне хочется, чтобы вы меня убедили.

— Ему не очень нравится моя работа.— Ромеро повернулся ко мне. Лицо его было серьезно.

Критик сказал, что ему очень нравится работа Ромеро, но что ей еще не хватает законченности.

— Вот завтра увидите, если попадется хороший бык.

— Вы видели завтрашних быков?— спросил меня критик.

— Да. Я видел, как их выгружали.

Педро Ромеро наклонился вперед.

— Ну, как ваше мнение?

— Очень хороши,— сказал я.— Все — около двадцати шести арроба. Очень короткие рога. Разве вы их не видели?

— Видел, конечно,— сказал Ромеро.

— Двадцати шести арроба не потянут,— сказал критик.

— Нет,— сказал Ромеро.

— У них бананы вместо рогов,— сказал критик.

— По-вашему, бананы?— спросил Ромеро. Он с улыбкой повернулся ко мне.— И по-вашему, бананы?

— Нет,— сказал я,— рога как рога.

— Очень короткие,— сказал Педро Ромеро.— Очень, очень короткие. Но все-таки не бананы.

— Послушайте, Джейк,— позвала Брет с соседнего столика.— Что же вы нас бросили?

— Это только временно,— сказал я.— Мы говорим о быках.

— Не важничайте.

— Скажите ему, что быки безрогие!— крикнул Майкл. Он был пьян.

Ромеро вопросительно взглянул на меня.

— Очень пьяный,— сказал я.— Borracho! Muy borracho!

— Что же вы нас не знакомите с вашими друзьями?— сказала Брет. Она не сводила глаз с Педро Ромеро. Я спросил, не выпьют ли они кофе с нами. Оба встали. Лицо у Ромеро было очень смуглое. Держался он превосходно.

Я представил их всем по очереди, и они уже хотели сесть, но не хватило места, и мы все перешли пить кофе к большому столу у стены. Майкл велел подать бутылку фундадору и рюмки для всех. Было много пьяной болтовни.

— Скажи ему, что, по-моему, писать — занятие гнусное,— говорил Билл.— Скажи, скажи ему. Скажи ему, мне стыдно, что я писатель.

Педро Ромеро сидел рядом с Брет и слушал ее.

— Ну, скажи ему!— кричал Билл.

Ромеро, улыбаясь, поднял голову.

— Этот сеньор,— сказал я,— писатель.

Ромеро с почтением посмотрел на Билла.

— И тот тоже,— сказал я, указывая на Кона.

— Он похож на Вилльяльту,— сказал Ромеро, глядя на Билла.— Правда, Рафаэль, он похож на Вилльяльту.

— Не нахожу,— ответил критик.

— Правда,— по-испански сказал Ромеро,— он очень похож на Вилльяльту. А пьяный сеньор чем занимается?

— Ничем.

— Потому он и пьет?

— Нет. Он собирается жениться на этой сеньоре.

— Скажите ему, что все быки безрогие!— крикнул Майкл, очень пьяный, с другого конца стола.

— Что он говорит?

— Он пьян.

— Джейк!— крикнул Майкл.— Скажите ему, что быки безрогие!

— Вы понимаете?— спросил я.

— Да.

Я был уверен, что он не понял, поэтому и не беспокоился.

— Скажите ему, что Брет хочет посмотреть, как он надевает свои зеленые штаны.

— Хватит, Майкл.

— Скажите ему, что Брет до смерти хочется знать, как он влезает в свои штаны.

— Хватит.

Все это время Ромеро вертел свою рюмку и разговаривал с Брет. Брет говорила по-французски, а он говорил по-испански и немного по-английски и смеялся.

Билл наполнил рюмки.

— Скажите ему, что Брет хочет...

— Ох, заткнитесь, Майкл, ради Христа!

Ромеро поднял глаза и улыбнулся.

— Это я понял,— сказал он.

В эту минуту в столовую вошел Монтойа. Он уже хотел улыбнуться мне, но тут увидел, что Педро Ромеро, держа большую рюмку коньяку в руке, весело смеется, сидя между мной и женщиной с обнаженными плечами, а вокруг стола одни пьяные. Он даже не кивнул.

Монтойа вышел из комнаты. Майкл встал, готовясь провозгласить тост.

— Выпьем за...— начал он.

— Педро Ромеро,— сказал я. Все встали. Ромеро принял тост очень серьезно, и мы все чокнулись и осушили наши рюмки, причем я старался, чтобы все кончилось скорей, так как Майкл пытался объяснить, что он хотел выпить совсем за другое. Но все сошло благополучно, и Педро Ромеро пожал всем руки и вышел вместе с критиком.

— Бог мой! Какой очаровательный мальчик,— сказала Брет.— Что бы я дала, чтобы посмотреть, как он влезает в свой костюм. Он, наверное, пользуется рожком для ботинок.

— Я хотел сказать ему это,— начал Майкл,— а Джейк все время перебивал меня. Зачем вы перебиваете меня? Вы думаете, вы лучше меня говорите по-испански?

— Отстаньте, Майкл! Никто вас не перебивал.

— Нет, я хотел бы это выяснить.— Он отвернулся от меня.— Вы думаете, Кон, вы важная птица? Вы думаете, вам место в нашей компании? В компании, которая хочет повеселиться? Ради бога, не шумите так, Кон.

— Бросьте, Майкл,— сказал Кон.

— Вы думаете, вы здесь нужны Брет? Вы думаете, с вами веселей? Отчего вы все время молчите?

— Все, что я имел сказать, Майкл, я уже сказал вам на днях.

— Я, конечно, не писатель.— Ноги плохо держали Майкла, и он опирался на стол.— Я не гений. Но я знаю, когда я лишний. Почему вы, Кон, не чувствуете, когда вы лишний? Уходите. Уходите, ради всего святого. Уберите свою скорбную еврейскую физиономию. Разве я не прав?

Он посмотрел на нас.

— Конечно, прав,— сказал я.— Пойдемте все в кафе Ирунья.

— Нет, вы скажите, разве я не прав? Я люблю эту женщину.

— Ох, не начинай сначала. Хватит уже, Майкл,— сказала Брет.

— Разве я не прав, Джейк?

Кон все еще сидел за столом. Лицо его стало изжелта-бледным, как всегда, когда его оскорбляли, но вместе с тем, казалось, ему это приятно. Он тешил себя ребячливой полупьяной игрой в герои: все это из-за его связи с титулованной леди.

— Джейк,— сказал Майкл. Он чуть не плакал.— Вы знаете, что я прав. Послушайте, вы!— Он повернулся к Кону.— Уходите! Сейчас же уходите!

— Не уйду, Майкл,— сказал Кон.

— Ах, не уйдете!— Майкл пошел к нему вокруг стола.

Кон встал и снял очки. Он стоял наготове, изжелта-бледный, с полуопущенными руками, гордо и бесстрашно ожидая нападения, готовый дать бой за свою даму сердца.

Я обхватил Майкла.

— Идем в кафе,— сказал я.— Ведь не можете вы ударить его здесь, в отеле.

— Верно!— сказал Майкл.— Очень верная мысль.

Мы пошли к дверям. Пока Майкл, спотыкаясь, поднимался по ступенькам, я посмотрел через плечо и увидел, что Кон снова надевает очки. Билл сидел за столом и наливал себе рюмку фундадору. Брет сидела, глядя прямо перед собой.

Когда мы вышли на площадь, дождя уже не было, и луна пыталась выглянуть из-за туч. Дул ветер. Играл военный оркестр, и в дальнем конце площади толпа собралась вокруг пиротехника и его сына, пускавших шары с нагретым воздухом. Шары поднимались толчками, по диагонали, и ветер разрывал их или прибивал к одному из домов на площади. Иногда они падали в

толпу. Магний вспыхивал, шар взрывался, и люди разбегались. Никто не танцевал на площади, гравий был слишком мокрый.

Брет вышла из отеля с Биллом и Коном и подошла к нам. Мы стояли в толпе и смотрели на дона Мануэля Оркито, короля фейерверка, который стоял на маленьком помосте, осторожно подталкивая палками шары, стоял высоко над толпой и пускал шары по ветру. Ветер сбивал все шары, и лицо дона Мануэля блестело от пота в свете его сложного фейерверка, который падал в толпу, взрывался и прыгал, брызжа искрами и треща под ногами. Каждый раз, как светящийся бумажный пузырь кренился, вспыхивал и падал, в толпе поднимались крики.

— Не повезло дону Мануэлю,— сказал Билл.

— Откуда вы знаете, что его зовут дон Мануэль?— спросила Брет.

— В афише сказано. Дон Мануэль Оркито, пиротехник esta ciudad [1].

— Globos illuminados [2],— сказал Майкл.— Коллекция globos illuminados. Так сказано в афише.

Ветер относил звуки оркестра.

— Хоть бы один поднялся,— сказала Брет.— Этот дон Мануэль прямо из себя выходит.

— Он, должно быть, целый месяц готовился, чтобы они взлетели, и получилось: «Слава святому Фермину»,— сказал Билл.

— Globos illuminados,— сказал Майкл.— Целая куча дурацких globos illuminados.

— Идемте,— сказала Брет.— Чего мы тут стоим?

— Ее светлость желает выпить,— сказал Майкл.

— Как это ты догадался?— сказала Брет.

В кафе было тесно и очень шумно. Никто на нас не обратил внимания. Свободного столика мы не нашли. Стоял оглушительный шум.

— Давайте уйдем отсюда,— сказал Билл.

В колоннаде продолжалось гулянье. Кое-где за столиками сидели англичане и американцы из Биаррица в спортивных костюмах. Многие женщины разглядывали гуляющих в лорнет. Мы встретили девушку из Биаррица, с которой недавно нас познакомил Билл. Она жи-

[1] Этого города (*испанск.*).
[2] Светящиеся шары (*испанск.*).

ла с подругой в Гранд-Отеле. У подруги разболелась голова, и она пошла спать.

— Вот бар,— сказал Майкл. Это был Миланский Бар, тесный второразрядный кабачок, где можно было перекусить и где в задней комнате танцевали. Мы все сели за столик и заказали бутылку фундадору. В кабачке было пустовато. Никакого веселья не замечалось.

— Фу, как здесь скучно,— сказал Билл.

— Еще слишком рано.

— Возьмем фундадор с собой и придем попозже,— сказал Билл.— Не хочу я сидеть тут в такой вечер.

— Пойдемте обратно и поглядим на англичан,— сказал Майкл.— Люблю поглядеть на англичан.

— Они ужасны,— сказал Билл.— Откуда они взялись?

— Они приехали из Биаррица,— сказал Майкл.— Они приехали посмотреть на забавную, миленькую испанскую фиесту.

— Я им покажу фиесту,— сказал Билл.

— Вы ужасно красивая девушка,— обратился Майкл к знакомой Билла.— Откуда вы явились?

— Хватит, Майкл.

— Послушайте, она же прелестна. Где я был? Где были мои глаза? Вы просто прелесть. Скажите, мы знакомы? Пойдемте со мной и Биллом. Мы пропишем англичанам фиесту.

— Я им покажу фиесту,— сказал Билл.— Какого черта им здесь нужно?

— Идем,— сказал Майкл.— Только мы втроем. Пропишем фиесту английской сволочи. Надеюсь, вы не англичанка? Я шотландец. Ненавижу англичан. Я им покажу фиесту. Идем, Билл.

В окно нам видно было, как все трое, взявшись под руки, зашагали к кафе. На площади взвивались ракеты.

— Я еще посижу здесь,— сказала Брет.

— Я останусь с вами,— сказал Кон.

— Ох, нет!— сказала Брет.— Ради бога, уйдите куда-нибудь. Разве вы не видите, что нам с Джейком нужно поговорить?

— Этого я не знал,— сказал Кон.— Я просто хотел тут посидеть, потому что я слегка пьян.

— Вот уж действительно причина. Если вы пьяны, ступайте спать. Ступайте спать.

— Достаточно грубо я с ним обошлась?— спросила Брет. Кон уже ушел.— Господи, как он мне надоел!

— Веселья от него мало.
— Он угнетает меня.
— Он очень плохо ведет себя.
— Ужасно плохо. А имел случай показать, как нужно вести себя.
— Он, наверно, и сейчас стоит за дверью.
— Да. С него станется. Знаешь, я теперь понял, что с ним творится. Он не может поверить, что это ничего не значило.
— Я знаю.
— Никто другой не вел бы себя так. Ох, как мне это все надоело! А Майкл-то, Майкл тоже хорош.
— Майклу очень тяжело.
— Да. Но из этого не следует, что нужно быть свиньей.
— Все ведут себя плохо,— сказал я.— Дай только случай.
— Ты бы иначе себя вел.— Брет взглянула на меня.
— Я был бы таким же идиотом, как Кон.
— Милый, зачем мы говорим такую чушь?
— Хорошо. Давай говорить о чем хочешь.
— Не сердись. У меня нет никого, кроме тебя, а мне так скверно сегодня.
— У тебя есть Майкл.
— Да, Майкл. Вот тоже сокровище, правда?
— Послушай,— сказал я.— Майклу очень тяжело, что Кон здесь околачивается и не отходит от тебя.
— Будто я не знаю, милый. Пожалуйста, не говори об этом, мне и так тошно.
Я никогда еще не видел, чтобы Брет так нервничала. Она избегала моего взгляда и упорно смотрела в стену.
— Хочешь пройтись?
— Да. Пойдем.
Я закупорил бутылку фундадору и отдал ее буфетчику.
— Выпьем еще,— сказала Брет.— У меня нервы разгулялись.— Мы выпили еще по рюмке мягкого душистого коньяка.
— Идем,— сказала Брет.
Когда мы вышли, я увидел Кона, выходящего из-под колонн.
— Ну, конечно, вот он,— сказала Брет.
— Он не может уйти от тебя.
— Бедняга!

— А мне ни капли его не жаль. Я сам его ненавижу.

— Я тоже,— она вздрогнула,— ненавижу за то, что он так страдает.

Я взял ее под руку, и мы пошли по неширокой улице прочь от толпы и огней площади. На улице было темно и мокро, и мы пошли к укреплениям на окраину города. Мы проходили мимо открытых дверей винных лавок, откуда свет падал на черную мокрую улицу и доносились внезапные взрывы музыки.

— Хочешь зайти?

— Нет.

На окраине мы шли по мокрой траве, потом поднялись на каменный крепостной вал. Я постелил газету на камень, и Брет села. По ту сторону темной равнины видны были горы. Дул сильный ветер, и тучи то и дело закрывали луну. Под нами чернели глубокие рвы укреплений. Позади были деревья, и тень от собора, и силуэт очерченного лунным светом города.

— Не горюй,— сказал я.

— Мне очень скверно,— сказала Брет.— Давай помолчим.

Мы смотрели на равнину. Длинными рядами стояли под луной темные деревья. По дороге, поднимающейся в гору, двигались автомобильные фары. На вершине горы светились огни крепости. Внизу, налево, текла река. Она вздулась от дождя, вода была черная и гладкая, деревья темные. Мы сидели на валу и смотрели. Брет глядела прямо перед собой. Вдруг она вздрогнула.

— Холодно.

— Хочешь вернуться?

— Пойдем парком.

Мы сошли с вала. Тучи снова заволакивали небо. В парке под деревьями было темно.

— Джейк, ты еще любишь меня?

— Да,— сказал я.

— Знаешь, я погибла,— сказала Брет.

— Что ты?

— Я погибла. Я с ума схожу по этому мальчишке, Ромеро. Я, наверное, влюбилась в него.

— Я не стал бы этого делать на твоем месте.

— Не могу с собой сладить. Я погибла. У меня все рвется внутри.

— Не делай этого.

— Не могу с собой сладить. Я никогда не могла с собой сладить.

— Это надо прекратить.

— Как же я прекращу? Не могу я ничего прекратить. Посмотри.

Она протянула мне руку.

— Все во мне вот так дрожит.

— Не надо этого делать.

— Не могу с собой сладить. Я все равно погибла. Неужели ты не понимаешь?

— Нет.

— Я должна что-нибудь сделать. Я должна сделать что-нибудь такое, чего мне по-настоящему хочется. Я потеряла уважение к себе.

— Совсем тебе не нужно этого делать.

— Милый, не мучь меня. Как ты думаешь, легко мне терпеть этого несчастного Кона и скандалы, которые устраивает Майкл?

— Знаю, что не легко.

— Не могу же я все время напиваться.

— Нет.

— Милый, пожалуйста, останься со мной. Ты останешься со мной и поможешь мне?

— Конечно.

— Я не говорю, что это хорошо. Хотя для меня это хорошо. Господи, никогда я не чувствовала себя такой дрянью.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал?

— Пойдем,— сказала Брет.— Пойдем разыщем его.

Мы вместе шли в темноте под деревьями по усыпанной гравием аллее, потом аллея кончилась, и мы через ворота парка вышли на улицу, ведущую в город.

Педро Ромеро был в кафе. Он сидел за столиком с другими матадорами и спортивными критиками. Все они курили сигары. Когда мы вошли, они посмотрели на нас. Ромеро поклонился улыбаясь. Мы сели за столик в середине комнаты.

— Попроси его перейти к нам и выпить с нами.

— Подожди. Он сам придет.

— Не могу смотреть на него.

— А на него приятно смотреть,— сказал я.

— Всю жизнь я делала все, что мне хочется.

— Знаю.

— Я чувствую себя такой дрянью.

— Будет тебе,— сказал я.

— Господи!— сказала Брет.— Чего только женщинам не приходится выносить.

— Разве?

— Ох, я чувствую себя такой дрянью.

Я посмотрел в их сторону. Педро Ромеро улыбнулся. Он сказал что-то сидящим с ним за столиком и встал. Он подошел к нашему столику. Я встал, и мы пожали друг другу руки.

— Не хотите ли выпить?

— Позвольте мне угостить вас,— сказал он. Он отодвинул стул и сел, безмолвно испросив разрешения у Брет. Держался он превосходно. Но продолжал курить. Сигара хорошо шла к его лицу.

— Вы любите сигары?— спросил я.

— Очень. Я всегда курю сигары.

Это придавало ему вес. С сигарой он казался старше. Я обратил внимание на кожу его лица. Она была чистая, гладкая и очень смуглая. На скуле виднелся треугольный шрам. Я видел, что он смотрит на Брет. Он чувствовал, что между ними что-то есть. Он, должно быть, почувствовал это, когда Брет пожала ему руку. Но он вел себя очень осторожно. Я думаю, он был уверен, но боялся сделать промах.

— Вы завтра выступаете?— спросил я.

— Да,— сказал он.— Альгабено был ранен сегодня в Мадриде. Вы слышали?

— Нет,— сказал я.— Тяжело?

Он покачал головой.

— Пустяки. Вот сюда.— Он показал на свою ладонь.

Брет потянулась к его руке и расправила пальцы.

— А-а, вы умеете гадать?— сказал он по-английски.

— Немного. Не хотите?

— Хочу, я очень люблю это.— Он положил руку на стол, ладонью вверх.— Скажите, что я буду жить вечно и стану миллионером.— Он все еще был очень вежлив, но более уверен в себе.— Посмотрите,— сказал он,— есть ли у меня там быки?

Он засмеялся. Рука у него была очень красивая с сухим запястьем.

— Тут тысячи быков,— сказала Брет. Все ее волнение прошло. Она была очень хороша.

— Отлично,— засмеялся Ромеро.— По тысяче дуро за штуку,— сказал он мне по-испански.— Скажите еще что-нибудь.

— Хорошая рука,— сказала Брет.— Я думаю, он проживет очень долго.

— Говорите мне, а не вашему другу.
— Я говорю, что вы долго проживете.
— Знаю,— сказал Ромеро.— Я никогда не умру.
Я постучал костяшками пальцев по столу. Ромеро заметил это. Он покачал головой.
— Нет. Этого не нужно. Быки — мои лучшие друзья.
Я перевел его слова Брет.
— Вы убиваете своих друзей?— спросила она.
— Всегда,— сказал он по-английски и засмеялся.— Чтобы они не убили меня.— Он посмотрел на нее через стол.
— Вы хорошо говорите по-английски.
— Да,— сказал он.— Иногда говорю неплохо. Только об этом никто не должен знать. Не годится, чтобы тореро говорил по-английски.
— Почему?— спросила Брет.
— Не годится. Все будут недовольны. У нас так не полагается.
— Почему будут недовольны?
— Просто так. Тореро не должен быть такой.
— А какой же?
Он засмеялся, нахлобучил шляпу на глаза, передвинул сигару во рту и сделал сердитое лицо.
— Как те за столом,— сказал он. Я поглядел туда. Он в точности передразнил выражение лица Насионаля. Он улыбнулся, и лицо его приняло прежнее выражение.— Нет. Я должен забыть английский язык.
— Только не сейчас,— сказала Брет.
— Не надо?
— Не надо.
— Ну, не буду.
Он снова засмеялся.
— Я хочу такую шляпу,— сказала Брет.
— Хорошо, я вам достану.
— Отлично. Смотрите же, достаньте.
— Непременно. Сегодня же достану.
Я встал. Ромеро тоже поднялся.
— Сидите,— сказал я.— Я пойду разыщу наших друзей и приведу их сюда.
Он посмотрел на меня. Это был взгляд, в последний раз спрашивающий, все ли ясно. Все было ясно.
— Садитесь,— сказала ему Брет.— Поучите меня говорить по-испански.
Он сел и взглянул на нее через стол. Я вышел. Люди, сидевшие за столиком матадоров, провожали меня

жесткими взглядами. Приятного в этом было мало. Двадцать минут спустя, когда я вернулся и заглянул в кафе, Брет и Педро Ромеро уже не было. На столике еще стояли стаканы из-под кофе и наши три пустые рюмки. Подошел официант с салфеткой, собрал стаканы и рюмки и вытер стол.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

У входа в Миланский Бар я нашел Билла, Майкла и Эдну. Эдной звали знакомую Билла.

— Нас выставили,— сказала Эдна.

— С помощью полиции,— сказал Майкл.— Там, в баре, сидят люди, которым я не по вкусу.

— Я уже четыре раза удерживала их от драки,— сказала Эдна.— Вы должны помочь мне.

Лицо у Билла пылало.

— Идем опять туда, Эдна,— сказал он.— Идите туда и потанцуйте с Майклом.

— Это же глупо,— сказала Эдна.— Ну, опять будет скандал.

— Биаррицкие свиньи,— сказал Билл.

— Идем,— сказал Майкл.— Бар это или не бар? Не имеют они права занимать все помещение.

— Славный ты мой Майкл,— сказал Билл.— Приезжает такая английская свинья и оскорбляет Майкла и портит нам фиесту.

— Это такие мерзавцы,— сказал Майкл.— Ненавижу англичан.

— Не смеют они оскорблять Майкла,— сказал Билл.— Майкл — замечательный малый. Не смеют они оскорблять Майкла. Я этого не потерплю. Не все ли равно, банкрот он или не банкрот.— Голос у него сорвался.

— Да, не все ли равно?— сказал Майкл.— Мне лично все равно. Джейку тоже. Может быть, вам не все равно?

— Все равно,— сказала Эдна.— А вы правда банкрот?

— Ну конечно. Вам все равно, Билл?

Билл обнял Майкла за плечи.

— Я сам хотел бы быть банкротом. Я бы этой сволочи показал.

— Просто они англичане,— сказал Майкл.— Наплевать на то, что говорят англичане.

— Подлые свиньи,— сказал Билл.— Сейчас пойду и выволоку их.

— Билл!— Эдна взглянула на меня.— Пожалуйста, не ходите туда, Билл. Они же дураки.

— Правильно,— сказал Майкл.— Дураки. Я так и знал, что все оттого, что они дураки.

— Не позволю говорить про Майкла такие вещи,— сказал Билл.

— Вы их знаете?— спросил я Майкла.

— Нет. Первый раз в жизни вижу. Они говорят, что знают меня.

— Не потерплю,— сказал Билл.

— Идем отсюда. Пойдемте в кафе Суисо,— сказал я.

— Это шайка Эдниных друзей из Биаррица,— сказал Билл.

— Да они просто дураки,— сказала Эдна.

— Один из них Чарли Блэкмен из Чикаго,— сказал Билл.

— В жизни не бывал в Чикаго,— сказал Майкл.

Эдна расхохоталась и никак не могла остановиться.

— Ну, вы, банкроты, уведите меня отсюда.

— Из-за чего был скандал?— спросил я Эдну. Мы шли через площадь в кафе Суисо. Билл исчез.

— Я не знаю, как это вышло, но кто-то позвал полицию, чтобы вывести Майкла из задней комнаты, где танцуют. Там были какие-то люди, которые встречались с Майклом в Каннах. А что такое с Майклом?

— Он, вероятно, должен им,— сказал я.— Люди обычно сердятся на это.

На площади, перед билетными кассами, дожидались две очереди. Люди сидели на стульях или просто на земле, завернувшись в одеяла и старые газеты. Они заняли очередь, чтобы утром, когда откроются кассы, купить билеты на бой быков. Тучи расходились, светила луна. Многие в очереди спали.

Не успели мы занять столик на террасе кафе Суисо и заказать фундадору, как появился Роберт Кон.

— Где Брет?— спросил он.

— Не знаю.

— Она была с вами.

— Она, должно быть, пошла спать.

— Нет.

— Я не знаю, где она.

Лицо его в электрическом свете было изжелта-бледно. Он не садился.

— Скажите мне, где она.

— Сядьте,— сказал я.— Я не знаю, где она.

— Вы лжете!

— Отстаньте.

— Скажите мне, где Брет?

— Ничего я вам не скажу.

— Вы знаете, где она.

— Если бы и знал, вам не сказал бы.

— Да подите вы к черту, Кон!— крикнул Майкл через стол.— Брет сбежала с мальчишкой матадором. У них сейчас медовый месяц.

— Замолчите!

— Да подите вы к черту,— томно протянул Майкл.

— Это правда?— Кон повернулся ко мне.

— Подите к черту!

— Она была с вами. Это правда?

— Подите к черту!

— Я заставлю вас сказать,— он шагнул вперед,— сводник проклятый!

Я замахнулся на него, но он успел увернуться от удара. Я видел, как лицо его отклонилось в сторону под электрическим фонарем. Потом он ударил меня, и я сел на тротуар. Когда я начал подниматься на ноги, он еще два раза ударил меня. Я упал навзничь под один из столиков. Я хотел встать, но почувствовал, что у меня нет ног. Я знал, что должен подняться и ударить его. Майкл помог мне встать. Кто-то вылил мне на голову графин воды. Майкл поддерживал меня, и я заметил, что сижу на стуле. Майкл тер мне уши.

— Я думал, из вас дух вон,— сказал Майкл.

— А где же, черт возьми, были вы?

— Да здесь же.

— Не пожелали вмешиваться?

— Он и Майкла сшиб с ног,— сказала Эдна.

— Но я мог бы встать,— сказал Майкл.— Я просто так лежал.

— Скажите, так бывает каждый вечер на ваших фиестах?— спросила Эдна.— Кажется, это был мистер Кон?

— Уже все прошло,— сказал я.— Голова только немного кружится.

Около нас стояло несколько официантов, а кругом собралась толпа.

— Vaya,— сказал Майкл.— Ступайте отсюда. Уходите.

Официанты заставили толпу разойтись.

— На это стоило посмотреть,— сказала Эдна.— Он настоящий боксер.

— Он боксер и есть.

— Жалко, что Билла здесь не было,— сказала Эдна.— Хотелось бы мне посмотреть, как Билл свалился бы. Мне всегда хотелось посмотреть, как Билла сшибут с ног. Он такой длинный.

— Я все ждал, что он ударит официанта,— сказал Майкл,— и его арестуют. Очень был бы рад, если бы мистера Роберта Кона засадили в тюрьму.

— Ну, вот еще,— сказал я.

— Что вы,— сказала Эдна.— Вы шутите.

— Нет, не шучу,— сказал Майкл.— Я не из тех, кто любит, чтобы их поколачивали. Я даже ни в какие игры не играю.

Майкл выпил рюмку фундадору.

— Я, знаете, и охоты никогда не любил. Всегда может случиться, что тебя придавит лошадь. Как вы себя чувствуете, Джейк?

— Хорошо.

— Вы мне нравитесь,— сказала Эдна Майклу.— Вы правда банкрот?

— Я отчаянный банкрот,— сказал Майкл.— Я всем на свете должен. Неужели у вас нет долгов?

— Куча.

— Я всем на свете должен,— сказал Майкл.— Я сегодня занял сто песет у Монтойи.

— Неправда,— сказал я.

— Я отдам ему,— сказал Майкл.— Я всегда всем отдаю.

— Оттого вы и банкрот, да?— сказала Эдна.

Я встал. Голоса их доходили до меня откуда-то очень издалека. Все казалось каким-то скверным фарсом.

— Я пойду в отель,— сказал я. Потом я услышал, что они говорят обо мне.

— А он дойдет один?— спросила Эдна.

— Лучше проводим его.

— Я дойду,— сказал я.— Не ходите со мной. Мы еще увидимся.

Я пошел прочь от кафе. Они остались за столиком. Я оглянулся на них и на пустые столы. За одним из столиков сидел официант, подперев голову руками.

Когда я шел через площадь к отелю, все выглядело иначе и по-новому. Никогда я не видел этих деревьев.

Никогда не видел шестов с флагами, не видел фасада театра. Все изменилось. Такое чувство у меня уже было однажды, когда я возвращался домой с загородного футбольного поля. Я нес чемодан с моим спортивным снаряжением и шел по дороге от вокзала к городу, в котором жил всю жизнь, и все было по-новому. В садах сгребали сухие листья и жгли их на обочине, и я остановился и долго смотрел. Все было непривычно. Потом я пошел дальше, и мне казалось, что ноги мои где-то далеко и что все предметы приближаются ко мне издалека, и я слышал, как ноги мои шагают где-то на большом расстоянии от меня. В самом начале игры меня ударили каблуком по голове. Вот так же я сейчас переходил площадь. Так же поднимался по лестнице отеля. На то, чтобы подняться по лестнице, потребовалось много времени, и мне казалось, что в руке у меня чемодан. В моей комнате горел свет. Билл вышел ко мне в коридор.

— Послушай,— сказал он,— поднимись и зайди к Кону. С ним что-то стряслось, и он спрашивал тебя.

— Ну его к черту.

— Ступай. Ступай, зайди к нему.

Мне не хотелось взбираться еще выше.

— Что ты так смотришь на меня?

— Вовсе я на тебя не смотрю. Ступай наверх и зайди к Кону. С ним что-то неладно.

— А ты не пьян ли,— сказал я.

— Да, пьян,— сказал Билл.— А ты все-таки ступай наверх и зайди к Кону. Он хочет тебя видеть.

— Ладно,— сказал я. Вот только по лестнице взбираться не хотелось. Я поднимался по лестнице и тащил свой воображаемый чемодан. Я прошел по коридору до номера Кона. Дверь была закрыта, и я постучался.

— Кто там?

— Барнс.

— Войдите, Джейк.

Я отворил дверь, вошел в комнату и поставил свой чемодан. В комнате было темно. Кон лежал ничком на кровати в темноте.

— Хэлло, Джейк.

— Не называйте меня Джейком.

Я стоял у двери. Точно так же я тогда пришел домой. Теперь мне нужно было горячую ванну. Полную горячую ванну, чтобы вытянуться как следует.

— Где ванная?— спросил я.

Кон плакал. Лежал, уткнувшись лицом в подушку, и плакал. На нем была белая рубашка «поло», как те, что он носил в Принстоне.

— Я виноват, Джейк. Пожалуйста, простите меня.

— Еще чего.

— Пожалуйста, простите меня, Джейк.

Я ничего не ответил. Я просто стоял у двери.

— Я себя не помнил. Вы же понимаете, как это вышло.

— Ну, ладно.

— Я просто не мог этого вынести.

— Вы назвали меня сводником.

Мне было все равно. Я хотел горячую ванну. Я хотел очень полную, горячую ванну.

— Я знаю. Пожалуйста, забудьте про это. Я просто себя не помнил.

— Ну, ладно.

Он плакал. Голос у него был смешной. Он лежал в белой рубашке на кровати в темноте. В рубашке «поло».

— Я завтра утром уеду.

Теперь он плакал беззвучно.

— Я просто не мог этого вынести. Я прошел через муки ада, Джейк. Это был сущий ад. С тех пор как мы сюда приехали, Брет обращается со мной так, как будто я ей совсем чужой. Я просто не мог этого вынести. Мы жили вместе в Сан-Себастиане. Вы, должно быть, знаете. Я не могу этого вынести.

Так он и лежал на кровати.

— Вот что,— сказал я.— Я пойду приму ванну.

— Вы были моим единственным другом, и я так любил Брет.

— Ну,— сказал я,— до свиданья.

— И все это ни к чему,— сказал он.— Все ни к чему.

— Что именно?

— Все. Джейк, скажите, что вы больше не сердитесь.

— Да нет,— сказал я.— Ладно.

— Я так измучился. Я прошел через муки ада, Джейк. Теперь все кончено. Все.

— Ну,— сказал я,— до свиданья. Мне пора.

Он повернулся, сел на край постели, потом встал.

— До свиданья, Джейк,— сказал он.— Вы подадите мне руку?

— Конечно. Почему же нет?

Мы пожали друг другу руки. В темноте я не мог разглядеть его лица.

— Ну,— сказал я,— завтра утром увидимся.

— Я утром уезжаю.

— Ах, да!— сказал я.

Я вышел. Кон стоял в дверях своего номера.

— Как вы себя чувствуете, Джейк?— спросил он.

— Хорошо,— сказал я.— Все в порядке.

Я никак не мог найти ванную комнату. Наконец нашел. Там была глубокая каменная ванна. Я отвернул кран, но вода не шла. Я посидел на краю ванны. Когда я встал и хотел уйти, оказалось, что я снял ботинки. Я поискал их, нашел и понес вниз. Я нашел свой номер, разделся и лег в постель.

Проснулся я с головной болью от грома оркестра, проходившего по улице. Я вспомнил, что обещал Эдне, приятельнице Билла, пойти с ней посмотреть, как быки бегут в цирк по улицам города. Я оделся, спустился вниз и вышел в прохладу раннего утра. Люди, торопясь в цирк, быстрым шагом пересекали площадь. От билетных касс через всю площадь тянулись те же две очереди — ждали семи часов, когда начнут продавать билеты. Я торопливо пересек площадь и вошел в кафе. Официант сказал мне, что мои друзья были здесь и ушли.

— Сколько их было?

— Два сеньора и одна сеньорита.

Значит, все в порядке. Эдна была с Биллом и Майклом. Накануне вечером она боялась, что они раскиснут. Поэтому она просила меня, чтобы я непременно пошел с ней. Я выпил кофе и вместе с толпой торопливо зашагал к цирку. Я уже твердо держался на ногах. Только очень болела голова. Все вокруг было четким и ясным, и в городе пахло ранним утром.

На дороге, ведущей с окраины города в цирк, было грязно. Вдоль всего забора, который тянулся до самого цирка, стояла толпа, а наружные балконы и крыша цирка были сплошь усеяны людьми. Я услышал взрыв ракеты и понял, что не поспею в цирк к приходу быков, и потому протиснулся сквозь толпу к забору. Меня плотно прижали к деревянным доскам. В проходе, огороженном заборами, полиция подгоняла толпу. Люди шли или трусили рысцой в сторону цирка. Потом появились бегущие люди. Какой-то пьяный поскользнулся и упал. Двое полицейских подхватили его и оттащили к забору. Теперь люди бежали быстро. Потом раздался

дружный крик толпы, и, просунув голову между досками забора, я увидел, как быки сворачивают с улицы в длинный загон, ведущий в цирк. Быки бежали быстро и нагоняли толпу. Вдруг еще один пьяный отбежал от забора, держа обеими руками куртку, словно плащ матадора. Он хотел поработать с быками. Оба полицейских ринулись к нему, один схватил его за шиворот, другой ударил дубинкой, потом притиснули его к забору и стояли, прижавшись к доскам, пока не пробежали последние из толпы и быки. Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка, и когда быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперед, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух. Когда рог вошел в тело, руки человека повисли, голова запрокинулась, и бык поднял его, а затем бросил на землю. Бык погнался еще за одним из бегущих, но тот скрылся в толпе, и толпа прорвалась в ворота, а за нею быки. Красные ворота цирка закрылись, с наружных балконов люди протискивались внутрь амфитеатра, раздался крик, потом — снова крик.

Человек, которого бык забодал, лежал ничком в истоптанной грязи. Люди перелезали через забор, и мне ничего не было видно, потому что толпа тесно окружила его. Из цирка доносились крики. Каждый крик означал, что бык кинулся на толпу. По силе крика можно было определить, насколько страшно то, что там происходит. Потом взвилась ракета, и это значило, что волы загнали быков с арены в корраль. Я отошел от забора и отправился обратно в город.

Вернувшись в город, я опять зашел в кафе выпить кофе с гренками. Официанты подметали пол и вытирали столики. Один официант подошел ко мне и принял заказ.

— Что-нибудь случилось во время encierro?[1]

— Я всего не видел. Один из толпы серьезно ранен.

— Куда?

— Вот так.— Я положил одну руку на поясницу, а другую на то место груди, где, по-моему, рог должен был выйти наружу. Официант кивнул головой и салфеткой смахнул крошки со столика.

---

[1] Прибытие быков (*испанск.*).

— Тяжелая рана,— сказал он.— И все ради спорта. Ради забавы.

Он отошел и вернулся, неся кофейник и молочник с длинными ручками. Он налил кофе и молока. Из длинных носиков две струи потекли в большую чашку. Официант кивнул головой.

— Тяжелая рана, если в спину, — сказал он.— Он поставил кофейник и молочник и присел к столику.— Глубокая рана. Ради забавы. Просто забава. Что вы на это скажете?

— Не знаю.

— То-то. Ради забавы. Забавно, видите ли!

— Вы не aficionado?

— Я? Что такое быки? Животные. Грубые животные.— Он встал и положил руку на поясницу.— В спину и насквозь. Сквозная рана в спину. Ради забавы, видите ли.

Он покачал головой и отошел, захватив кофейники. По улице мимо кафе шли двое мужчин. Официант окликнул их. Лица у них были серьезные. Один из них покачал головой.

— Muerto!— крикнул он.

Официант кивнул. Они пошли дальше. Они, видимо, куда-то спешили. Официант подошел к моему столику.

— Слышали? Muerto! Умер. Он умер. Рог прошел насквозь. Захотелось весело провести утро. Es muy flamenco [1].

— Печально.

— Не вижу,— сказал официант,— не вижу в этом ничего забавного.

Днем мы узнали, что убитого звали Висенте Гиронес и что приехал он из-под Тафальи. На другой день мы прочли в газетах, что ему было двадцать восемь лет, что у него была ферма, жена и двое детей. Как и до женитьбы, он каждый год приезжал на фиесту. Еще через день из Тафальи приехала его жена проститься с покойником, а на завтра в часовне святого Фермина было отпевание, и члены тафальского танцевального общества понесли гроб на вокзал. Впереди выступали барабаны, и дудки свистели, а позади гроба шла жена покойного и его двое детей. За ними шли все члены танцевальных обществ Памплоны, Эстельи, Тафальи и Сангесы, которые смогли остаться на похороны. Гроб погрузили в

---

[1] Это уже слишком *(испанск.)*.

багажный вагон, а вдова с детьми, все трое, сели рядом в открытом вагоне третьего класса. Поезд резко дернул, потом плавно пошел под уклон, огибая плато, и умчался в Тафалью по равнине, где ветер колыхал пшеничные поля.

Быка, который убил Висенте Гиронеса, звали Черногубый, он числился под номером 118 в ганадерии Санхеса Таберно и был третьим быком, убитым Педро Ромеро на арене в тот же день. Под ликование толпы ему отрезали ухо и передали его Педро Ромеро, тот в свою очередь передал его Брет, а она завернула ухо в мой носовой платок и оставила и то и другое, вместе с окурками сигарет Муратти, в ящике ночного столика, возле своей кровати, в Отеле Монтойа, в Памплоне.

Когда я вернулся в отель, ночной сторож еще сидел на скамье возле дверей. Он просидел здесь всю ночь, и ему очень хотелось спать. Он встал, когда я вошел в отель. Три служанки, ходившие в цирк смотреть быков, вошли вместе со мной. Они, пересмеиваясь, стали подниматься по лестнице. Я тоже поднялся наверх и вошел в свой номер. Я снял ботинки и лег на кровать. Дверь на балкон была раскрыта, и солнце ярко светило в комнату. Спать мне не хотелось. Вчера я лег не раньше половины четвертого, а в шесть меня разбудила музыка. Челюсть болела с обеих сторон. Я пощупал ее большим и средним пальцем. Проклятый Кон. Ему бы ударить кого-нибудь, когда его в первый раз оскорбили, и уехать. Он так был уверен, что Брет любит его. Он вообразил, что должен остаться, и беззаветная любовь восторжествует. В дверь постучали.

— Войдите.

Вошли Билл и Майкл. Они сели на кровать.

— Вот так encierro,— сказал Билл.— Вот так encierro.

— А вы не были?— спросил Майкл.— Билл, позвоните, чтобы подали пива.

— Ну и утречко!— сказал Билл. Он вытер лицо.— Господи, ну и утречко! А тут еще Джейк. Бедняга Джейк, живая боксерская мишень.

— Что случилось на арене?

— О господи!— сказал Билл.— Что там случилось, Майкл?

— Да бежали эти бычища,— сказал Майкл.— А впе-

реди толпа, один поскользнулся, упал, и все повалились кучей.

— А быки налетели прямо на них,— сказал Билл.

— Я слышал, как там вопили.

— Это Эдна вопила,— сказал Билл.

— Какие-то люди выскакивали из толпы и размахивали рубашками.

— Один бык бежал по кругу и перебрасывал всех через барьер.

— Человек двадцать унесли в лазарет,— сказал Майкл.

— Ну и утречко.— сказал Билл.— Полиция то и дело забирала самоубийц, которые так и лезли прямо на рога.

— В конце концов волы загнали их,— сказал Майкл.

— Но это продолжалось не меньше часа.

— В сущности, это продолжалось четверть часа,— возразил Майкл.

— Бросьте,— сказал Билл.— Вы же были на войне. Для меня это продолжалось два с половиной часа.

— Где же пиво?— спросил Майкл.

— А куда вы дели очаровательную Эдну?

— Мы только что проводили ее домой. Она пошла спать.

— Понравилось ей?

— Очень. Мы сказали, что здесь каждое утро так.

— Она была потрясена,— сказал Майкл.

— Она хотела, чтобы мы тоже вышли на арену,— сказал Билл.— Она за энергичные действия.

— Я объяснил ей, что это будет нечестно по отношению к моим кредиторам,— сказал Майкл.

— Ну и утречко!— сказал Билл.— А ночь-то!

— Как ваша челюсть, Джейк?— спросил Майкл.

— Болит,— сказал я.

Билл засмеялся.

— Почему ты не запустил в него стулом?

— Вам хорошо говорить,— сказал Майкл.— Он и вас бы сшиб. Я просто не успел оглянуться. Только что он стоял против меня, и вот уже я сижу на тротуаре, а Джейк валяется под столом.

— А куда он после пошел?— спросил я.

— Вот она!— сказал Майкл.— Вот божественная леди с пивом.

Служанка поставила на стол поднос с бутылками пива и стаканами.

— А теперь принесите еще три бутылки,— сказал Майкл.

— Куда Кон пошел после того, как ударил меня?— спросил я Билла.

— А вы ничего не знаете?— Майкл откупоривал бутылку пива. Он налил пива в один из стаканов, подняв его к самому горлышку.

— Правда, не знаешь?— спросил Билл.

— Он вернулся сюда и нашел Брет и мальчишку матадора в его номере, а потом он изуродовал бедного, несчастного матадора.

— Что?

— Да, да.

— Ну и ночка!— сказал Билл.

— Он чуть не убил бедного несчастного матадора. Потом Кон хотел увезти Брет. Вероятно, хотел сделать из нее честную женщину. Ужасно трогательная сцена.

Он залпом выпил стакан пива.

— Он осел.

— А потом что?

— Ну Брет ему показала. Отделала его. Она, должно быть, была великолепна.

— Еще бы!— сказал Билл.

— Тогда Кон собсем обмяк и хотел пожать руку матадору. Он и Брет хотел пожать руку.

— Знаю. Он мне тоже пожал руку.

— Вот как? Ну, они отказались. Матадор держался молодцом. Он ничего не говорил, он после каждого удара подымался на ноги и потом опять падал. Кон так и не сумел уложить его. Потешно, должно быть, было.

— Откуда вы все это знаете?

— От Брет. Я видел ее утром.

— И чем это кончилось?

— Вот слушайте: матадор сидел на кровати. Он уже раз пятнадцать падал, но все еще лез драться. Брет удерживала его и не давала ему встать. Он хоть и ослабел, но Брет не могла удержать его, и он встал. Тогда Кон сказал, что он больше не станет драться. Что этого нельзя. Что это было бы подло. Тогда матадор, спотыкаясь, пошел на него. Кон попятился к стене. «Так вы не станете драться?»—«Нет,— сказал Кон.— Мне было бы стыдно». Тогда матадор из последних сил ударил его по лицу и сел на пол. Брет говорит, что он не мог встать. Кон хотел поднять его и положить на кровать. Он сказал, что если Кон дотронется до него, то он

убьет его, и что он все равно убьет его утром, если Кон еще будет в городе. Кон плакал, и Брет отделала его, и он хотел пожать им руки. Это я уже рассказывал.

— Расскажите конец,— сказал Билл.

— Ну, матадор сидел на полу. Он собирался с силами, чтобы встать и еще раз ударить Кона. Брет отказалась от всяких рукопожатий, а Кон плакал и говорил, как сильно он ее любит, а она говорила ему, что нельзя быть таким ослом. Потом Кон нагнулся, чтобы пожать руку матадору. Знаете — разойдемся, мол, по-хорошему. Просил прощения. А матадор размахнулся и еще раз ударил его по лицу.

— Молодец мальчишка,— сказал Билл.

— Теперь Кону крышка,— сказал Майкл.— Я уверен, что у Кона навсегда пропала охота драться.

— Когда вы видели Брет?

— Сегодня. Ей нужно было взять кое-что из вещей. Она ухаживает за своим Ромеро.

Он начал еще бутылку пива.

— Брет порядком замучилась. Но она любит ходить за больными. Так и мы с ней сошлись. Она ухаживала за мной.

— Я знаю,— сказал я.

— Я здорово пьян,— сказал Майкл.— Пожалуй, я и дальше буду пить. Все это смешно, но не очень-то приятно. Не очень-то приятно для меня.

Он выпил пиво.

— Я, знаете ли, выразил Брет свое мнение. Я сказал ей, что если она будет путаться с евреями и матадорами и тому подобной публикой, то это добром не кончится.— Он наклонился ко мне.— Послушайте, Джейк, можно, я выпью вашу бутылку? Вам принесут еще.

— Пожалуйста,— сказал я.— Я все равно не собирался пить.

Майкл начал откупоривать бутылку.

— Может быть, вы откроете?

Я снял проволоку, вытащил пробку и налил ему.

— Знаете,— продолжал Майкл,— Брет была великолепна. Она всегда великолепна. Я устроил ей скандал по поводу евреев и матадоров и тому подобной публики, а она, знаете, что сказала: «Ну да. Хлебнула я счастья с вашей британской аристократией!»

Он отпил из стакана.

— Это великолепно. Знаете, этот Эшли, который дал ей титул, был моряком. Девятый баронет. Когда он бы-

вал дома, он не желал спать на кровати. Заставлял Брет спать на полу. Под конец, когда он совсем рехнулся, он грозил, что убьет ее. Спал всегда с заряженным пистолетом. Брет вынимала патроны, когда он засыпал. Нельзя сказать, чтобы она много счастья видела в жизни. Свинство, в сущности. Она так всему радуется.

Он встал. Руки у него дрожали.

— Я пойду к себе. Постараюсь уснуть.— Он улыбнулся.

— Мы слишком мало спим из-за этой фиесты. Я намерен прекратить это и хорошенько выспаться. Очень скверно так мало спать. Ужасно треплет нервы.

— Встретимся в двенадцать в кафе Ирунья.— сказал Билл.

Майкл вышел. Мы слышали, как он отворил дверь в соседнюю комнату. Потом он позвонил, пришла служанка и постучала в дверь.

— Принесите полдюжины пива и бутылку фундадору,— сказал ей Майкл.

— Si, signorito [1].

— Я иду спать,— сказал Билл.— Бедняга Майкл. Ужасный скандал вышел из-за него вчера.

— Где? В Миланском Баре?

— Да. Там был какой-то тип, который когда-то заплатил долги Брет и Майкла в Каннах. Он страшно хамил.

— Я знаю эту историю.

— А я не знал. Отвратительно, что кто-то имеет право ругать Майкла.

— Вот это-то и скверно.

— Просто отвратительно. Бесит меня, что кто-то имеет на это право. Ну, я иду спать.

— В цирке были убитые?

— Как будто нет. Только тяжело раненные.

— А в проходе одного забодали.

— Вот как?— сказал Билл.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В полдень мы все трое собрались в кафе. Кафе было переполнено. Мы ели креветок и пили пиво. Город был переполнен. Все улицы запрудила толпа. Большие автомобили из Биаррица и Сан-Себастиана то и дело подъ-

---

[1] Да, господин *(испанск.)*.

езжали и выстраивались по краю площади. Они привозили публику на бой быков. Подъезжали и туристские автобусы. В одном автобусе приехало двадцать пять англичанок. Они сидели в большой белой машине и в бинокль смотрели на фиесту. Танцоры были совершенно пьяны. Шел последний день фиесты.

Фиеста текла сплошным потоком, и только машины и автобусы с приезжими казались небольшими островками. Когда машины пустели, приезжих поглощала толпа. Потом их уже не было видно, и только кое-где среди крестьян в черных блузах, густо облепивших столики кафе, мелькали их столь неуместные здесь спортивные костюмы. Фиеста поглощала даже англичан из Биаррица, и они были незаметны, пока близко не пройдешь мимо их столика. На улицах не умолкала музыка. Барабаны трещали, дудки свистели. Внутри кафе, держась за край стола или обняв друг друга за плечи, мужчины пели жесткими голосами.

— Вот Брет идет,— сказал Билл.

Я поднял глаза и увидел, что она идет сквозь толпу на площади, высоко подняв голову, словно фиеста разыгрывалась в ее честь и это ей и лестно и немножко смешно.

— Хэлло, друзья!— сказала она.— Смерть выпить хочется.

— Дайте еще кружку пива,— сказал Билл официанту.

— И креветок?

— Кон уехал?— спросила Брет.

— Да,— сказал Билл.— Он нанял машину.

Подали пиво. Брет хотела поднять стеклянную кружку, но рука у нее дрожала. Она заметила это, улыбнулась и, наклонившись, отпила большой глоток.

— Хорошее пиво.

— Очень хорошее,— сказал я. Меня беспокоил Майкл. Я был уверен, что он не спал. Он, вероятно, все время пил, но, по-видимому, держал себя в руках.

— Я слышала, Джейк, что Кон избил вас,— сказала Брет.

— Нет. Сшиб меня с ног. Только всего.

— Но он избил Педро Ромеро,— сказала Брет.— Он сильно избил его.

— Как он?

— Ничего, обойдется. Он не хочет выходить из комнаты.

— А как он выглядит?

— Плохо. Он сильно избит. Я сказала ему, что уйду на минутку повидаться с вами.

— Он будет выступать?

— Вероятно. Я пойду с вами, если вы ничего не имеете против.

— Как поживает твой дружок?— спросил Майкл. Он не слышал ни слова из того, что говорила Брет.— Брет завела себе матадора,— сказал он.— У нее был еврей, по имени Кон, но он оказался негодным.

Брет встала.

— Я не стану слушать такую чушь, Майкл.

— Как поживает твой дружок?

— Отлично,— сказала Брет.— Увидишь его сегодня на арене.

— Брет завела себе матадора,— сказал Майкл.— Красавчика матадора.

— Проводите меня, пожалуйста, Джейк. Мне нужно поговорить с вами.

— Расскажи ему про своего матадора,— сказал Майкл.— К черту твоего матадора!— Он так двинул столик, что кружки пива и блюдо креветок с грохотом полетели на пол.

— Пошли,— сказала Брет.— Уйдем отсюда.

Пробираясь сквозь толпу на площади, я спросил:

— Ну, как?

— После завтрака я не увижу его до самого боя. Придут его друзья одевать его. Он говорит, что они очень сердятся из-за меня.

Брет сияла. Она была счастлива. Солнце сверкало, день стоял ясный.

— Я точно переродилась,— сказала Брет.— Ты себе представить не можешь, Джейк.

— Тебе что-нибудь нужно от меня?

— Нет, только пойдем со мной в цирк.

— За завтраком увидимся?

— Нет. Я с ним буду завтракать.

Мы стояли под колоннами у подъезда отеля. Из отеля выносились столики и ставили их в колоннаде.

— Хочешь пройтись по парку?— спросила Брет.— Я не хочу возвращаться в отель. Он, вероятно, спит.

Мы прошли мимо театра, до конца площади, потом миновали ярмарку, двигаясь вместе с толпой между рядами ларьков и балаганов. Потом свернули на улицу, которая вела к Пасео де Сарасате. Мы увидели публику

в парке,— сплошь элегантно одетые люди. Они прогуливались по кругу в дальнем конце парка.

— Только не туда,— сказала Брет.— Мне сейчас не хочется, чтобы на меня глазели.

Мы стояли под ярким солнцем. День выдался жаркий и ясный после дождя и туч с моря.

— Надеюсь, ветер уляжется,— сказала Брет.— А то это плохо для него.

— И я надеюсь.

— Он говорит, что быки хорошие.

— Хорошие.

— Это часовня святого Фермина?

Брет смотрела на желтую стену часовни.

— Да. Отсюда в воскресенье началась процессия.

— Зайдем. Хочешь? Я бы помолилась за него, да и вообще.

Мы вошли в обитую кожей тяжелую, но легко поддавшуюся дверь. Внутри было темно. Молящихся собралось много. Их стало видно, когда глаза привыкли к полумраку. Мы стали рядом на колени у одной из длинных скамей. Немного погодя я почувствовал, что Брет выпрямилась, и увидел, что она смотрит перед собой.

— Уйдем,— хрипло прошептала она.— Выйдем отсюда. На меня это очень действует.

Когда мы вышли на жаркую, залитую солнцем улицу, Брет поглядела на качающиеся от ветра верхушки деревьев. Молитва, видимо, не успокоила ее.

— Не знаю, почему я так нервничаю в церкви,— сказала Брет.— Никогда мне не помогает.— Мы пошли дальше.— Не гожусь я для религиозного настроения,— сказала Брет.— Лицо неподходящее.

— Знаешь,— помолчав, сказала Брет,— я совсем за него не волнуюсь. Я просто радуюсь за него.

— Это хорошо.

— Но лучше бы все-таки, чтобы ветер улегся.

— Может быть, к пяти уляжется.

— Будем надеяться.

— Ты бы помолилась,— засмеялся я.

— Никогда мне не помогает. Никогда еще ничего не исполнилось, о чем я молилась. А у тебя?

— О да.

— Чушь!— сказала Брет.— Хотя, может быть, у кого-нибудь так бывает. У тебя не очень набожный вид, Джейк.

— Я очень набожный.

— Чушь! —сказала Брет.— Давай сегодня без проповеди. Сегодня и так будет сумасшедший день.

Ни разу со времени ее поездки с Коном я не видел ее такой счастливой и беззаботной. Мы снова стояли перед подъездом отеля. Все столики были вынесены, и за ними уже сидели люди и ели.

— Присмотри за Майклом,— сказала Брет.— Не давай ему очень распускаться.

— Ваш друзья пошла наверху,— сказал немец-метрдотель. Он вечно подслушивал. Брет обернулась к нему.

— Благодарю вас. Вы еще что-то хотели сказать?

— Нет, м-эм.

— Хорошо,— сказала Брет.

— Оставьте нам столик на троих,— сказал я немцу.

Он улыбнулся своей гнусной, румяно-белой улыбочкой.

— Мэдэм будет кушать здесь?

— Нет,— сказала Брет.

— Тогда я думиль, один столь для два довольно?

— Не разговаривай с ним,— сказала Брет.— Майкл, наверно, наскандалил,— сказала она, когда мы поднимались по лестнице. На лестнице мы встретили Монтойу. Он поклонился, но без улыбки.

— Встретимся в кафе,— сказала Брет.— Спасибо тебе, Джейк.

Мы остановились у дверей наших комнат. Брет прямо пошла дальше по коридору до номера Ромеро. Она вошла не постучавшись. Она просто открыла дверь, вошла и притворила ее за собой. Я постоял немного перед дверью Майкла, потом постучал. Ответа не было. Я взялся за ручку, и дверь отворилась. В комнате все было вверх дном. Чемоданы стояли раскрытые, повсюду валялась одежда. Возле кровати выстроились пустые бутылки. Майкл лежал на постели, и лицо его казалось посмертной маской, снятой с него самого. Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Привет, Джейк,— сказал он очень медленно.— Я хочу соснуть. Я давно уже хо-чу со-снуть.

— Дайте, я накрою вас.

— Не надо. Мне и так тепло. Не уходите. Я е-ще не сплю.

— Сейчас уснете, не расстраивайтесь, дорогой мой.

— Брет завела себе матадора,— сказал Майкл.— Зато еврей ее уехал.

Он повернул голову и посмотрел на меня.

— Это замечательно, правда?

— Да. А теперь спите, Майкл. Вам нужно спать.

— Я за-сыпаю. Я хочу немного со-снуть.

Он закрыл глаза. Я вышел из комнаты и тихо притворил дверь. В моей комнате сидел Билл и читал газету.

— Ты видел Майкла?

— Да.

— Пойдем завтракать.

— Я не стану завтракать здесь. Этот немец очень хамил, когда я вел Майкла по лестнице.

— Он и с нами хамил.

— Пойдем позавтракаем в городе.

Мы спустились по лестнице. Вверх по лестнице поднималась служанка с подносом, накрытым салфеткой.

— Это Брет несут завтрак.

— И малышу,— сказал я.

На террасе под колоннами к нам подошел немец-метрдотель. Его красные щеки лоснились. Он был очень вежлив.

— Я оставляль столь для два джентльмены,— сказал он.

— Возьмите его себе,— сказал Билл.

Мы перешли на другую сторону. Мы поели в ресторане на одной из улиц, выходящих на площадь. В ресторане сидели одни мужчины. Было дымно, пьяно и шумно. Еда оказалась хорошей, вино тоже. Мы мало разговаривали. Потом мы пошли в кафе и смотрели, как фиеста достигает точки кипения. Брет пришла вскоре после завтрака. Она сказала, что заглянула в комнату Майкла и что он спит.

Когда фиеста закипела и, перелившись через край, хлынула к цирку, мы пошли вместе с толпой. Брет сидела в первом ряду между мной и Биллом. Прямо под нами был каллехон — проход между первым рядом и красным деревянным барьером. Бетонные скамьи позади нас быстро наполнялись. Впереди, за красным барьером, желтел укатанный песок арены. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был сухой, твердый и гладкий. Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены туго свернутые запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру, так что видны были обернутые крас-

ным рукоятки шпаг. Они развертывали красные, в темных пятнах мулеты и вставляли в них палки, чтобы ткань натягивалась и чтобы матадору было за что держать ее. Брет внимательно следила за ними. Все, что касалось ремесла матадора, интересовало ее.

— Его именем помечены все плащи и мулеты,— сказала она.— Почему это называется мулетой?

— Не знаю.

— Их когда-нибудь стирают?

— Не думаю. Они могут полинять.

— Они, должно быть, жесткие от крови,— сказал Билл.

— Странно,— сказала Брет. — Совсем не обращаешь внимания на кровь.

Внизу, в низком проходе, служители заканчивали приготовления. Все места были заняты. Наверху все ложи были заняты. Не оставалось ни одного пустого места, кроме кресла в ложе президента. Когда он появится, начнется бой. Напротив нас, по ту сторону гладкого песка, в высоких воротах корраля, стояли матадоры, перекинув плащи через руку, и болтали между собой в ожидании сигнала выйти на арену. Брет смотрела на них в бинокль.

— Хотите взглянуть?

Я посмотрел в бинокль и увидел всех трех матадоров. Ромеро стоял в середине, налево от него Бельмонте, направо Марсьял. За ними стояли их куадрильи, а еще дальше, в воротах корраля и на открытом пространстве загона — пикадоры. Ромеро был в черном костюме. Треуголку он низко надвинул на глаза. Треуголка мешала мне разглядеть его лицо, но мне показалось, что оно сильно изуродовано. Он смотрел прямо перед собой. Марсьял осторожно курил сигарету, пряча ее в горсть. Бельмонте тоже смотрел прямо перед собой, лицо у него было изможденное, желтое, длинная волчья челюсть выдавалась вперед. Он смотрел в пространство. Казалось, ни он, ни Ромеро не имеют ничего общего с остальными. Они были совсем одни. Над ними, в ложах, послышались хлопки — появился президент,— и я передал Брет бинокль. Раздались аплодисменты. Заиграла музыка. Брет смотрела в бинокль.

— Возьмите,— сказала она.

В бинокль я увидел, что Бельмонте что-то говорит Ромеро. Марсьял выпрямился, бросил сигарету — и, смотря прямо перед собой, подняв голову, размахивая сво-

бодной рукой, три матадора открыли церемониальное шествие. За ними, развернувшись, двинулись три куадрильи, одинаково шагая, подхватив плащи и размахивая свободной рукой, а позади ехали пикадоры, подняв свои длинные копья. Шествие замыкали две упряжки мулов и служители. Матадоры поклонились, не снимая треуголок, перед ложей президента, потом подошли к барьеру под нами. Педро Ромеро снял тяжелый, расшитый золотом плащ и передал его через барьер своему личному слуге. Он что-то сказал ему. Теперь, когда Ромеро стоял так близко, было видно, что губы у него вздулись и вокруг глаз кровоподтеки. Опухшее лицо было в багровых пятнах. Слуга Ромеро взял плащ, взглянул на Брет, подошел к нам и передал ей плащ.

— Разверните его перед собой,— сказал я.

Брет наклонилась вперед. Плащ был тяжелый и негнущийся от золота. Слуга Ромеро оглянулся, покачал головой и сказал что-то. Мой сосед перегнулся к Брет.

— Он не хочет, чтобы вы развертывали его,— сказал он.— Он хочет, чтобы вы сложили его и держали на коленях.— Брет сложила тяжелый плащ.

Ромеро не смотрел на нас. Он говорил с Бельмонте. Бельмонте послал свой парадный плащ друзьям. Он смотрел на них, улыбаясь своей волчьей улыбкой, одними губами. Ромеро перегнулся через барьер и спросил воды. Ему принесли кувшин, и Ромеро налил воды на подкладку своего боевого плаща и потом ногой в туфле затоптал нижний край в песок.

— Зачем это он?— спросила Брет.

— Чтобы тяжелее был на ветру.

— Лицо у него нехорошее,— сказал Билл.

— Ему самому нехорошо,— сказала Брет.— Его бы надо в постель уложить.

Первого быка убивал Бельмонте. Бельмонте работал очень хорошо. Но он получал тридцать тысяч песет за выход, и люди всю ночь простояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на него, и поэтому толпа требовала, чтобы он работал лучше, чем очень хорошо. Главное обаяние Бельмонте в том, что он работает близко к быку. В бое быков различают территорию быка и территорию матадора. Пока матадор находится на своей территории, он в сравнительной безопасности. Каждый раз, как он вступает на территорию быка, ему угрожает смерть. Бельмонте в свою лучшую пору всегда работал на территории быка. Этим он давал ощущение надви-

гающейся трагедии. Люди шли на бой быков, чтобы видеть Бельмонте, чтобы испытать это ощущение и, может быть, увидеть смерть Бельмонте. Пятнадцать лет назад говорили, что если хочешь увидеть Бельмонте на арене, делай это скорее, пока он еще жив. С тех пор он убил больше тысячи быков. После того как он перестал выступать, о его работе ходили легенды, и когда он вернулся на арену, публика была разочарована, потому что ни один матадор во плоти не мог работать так близко к быку, как того требовала легенда, не исключая, конечно, и самого Бельмонте.

К тому же Бельмонте ставил условия, требовал, чтобы его быки были не слишком крупные и рога их не слишком опасные, и потому предвкушение трагической развязки отпадало, и публика, которая ждала от изнуренного свищом Бельмонте втрое больше того, что Бельмонте когда-либо был в состоянии дать, считала себя обокраденной и обманутой, и от презрения волчья челюсть Бельмонте еще дальше выступала вперед, и лицо его становилось все желтей, и он двигался все с большим трудом, по мере того как усиливалась боль, и в конце концов толпа перешла от криков к действиям, но его лицо по-прежнему выражало одно холодное презрение. Он думал, что сегодня у него будет большой день, но это оказался день издевательств и оскорблений, и под конец подушки, куски хлеба и овощи полетели в него на арену, где он некогда одерживал свои величайшие победы. Только челюсть его все сильней выдвигалась вперед. Иногда, при особенно оскорбительном выкрике, он поворачивал голову и улыбался своей зубастой, волчьей, безгубой улыбкой, а боль, которую причиняло ему каждое движение, терзала его все сильней и сильней, пока его желтое лицо не стало цвета пергамента, и после того как он убил второго быка и кончилось швырянье подушками и хлебом, после того как он приветствовал президента с той же волчьей улыбкой и с тем же презрительным взглядом и передал через барьер шпагу, чтобы ее вытерли и убрали в футляр, он зашел в каллехон и оперся о барьер под нашими местами, спрятав голову в руки, ничего не видя, ничего не слыша, только пересиливая боль. Когда он наконец поднял голову, он попросил воды. Он сделал несколько глотков, прополоскал рот, выплюнул воду, взял свой плащ и вернулся на арену.

Публика была против Бельмонте, и потому она была

за Ромеро. Она аплодировала ему с той минуты, как он отделился от барьера и пошел на быка. Бельмонте тоже следил за Ромеро, все время, не подавая виду, украдкой следил за ним. На Марсьяла он не обращал внимания. Все, что мог сделать Марсьял, он знал наперед. Он вернулся на арену для состязания с Марсьялом, считая исход предрешенным. Он думал, что будет состязаться с Марсьялом и другими корифеями декадентской школы, и он знал, что его честная работа будет так выгодно отличаться от лжекрасоты декадентской техники, что одного его появления на арене окажется достаточно. Ромеро испортил ему первый выход. Ромеро делал постоянно, делал — плавно, спокойно и красиво — все то, что Бельмонте теперь лишь изредка мог заставить себя сделать. Публика чувствовала это, даже туристы из Биаррица, даже американский посол, и тот под конец понял. На такое состязание Бельмонте не пошел бы, потому что оно могло кончиться только тяжелой раной или смертью. Бельмонте утратил прежнюю силу. Он уже не испытывал минуты величайшего подъема на арене. Он не был уверен, что такие минуты вообще возможны. Все стало другим, и жизнь теперь только изредка вспыхивала в нем. И сейчас в его работе бывали проблески прежнего величия, но они не имели цены, потому что он учел их заранее, когда, выйдя из автомобиля и облокотившись на забор, выбирал быков полегче из стада своего друга, хозяина гинадерии. И потому он имел дело с двумя некрупными покладистыми быками, почти без рогов, и если он порою чувствовал, что к нему возвращается величие,— только малая частица его сквозь не отпускавшую боль,— это было величие учтенное, запроданное, и он не испытывал удовлетворения. Он мог быть великим, но от сознания этого бой быков уже не становился, как прежде, счастьем.

В Педро Ромеро было величие. Он любил бой, и я видел, что он любит быков, и видел, что он любит Брет. Весь день, если только это зависело от него, он работал напротив нас. Ни разу он не взглянул на нее. Поэтому он работал лучше, и работал хорошо не только для нее, но и для себя. Оттого, что он не взглядывал на нее, ища одобрения, он внутренне делал все для себя, и это придавало ему силы, и вместе с тем он делал все и для нее. Но он делал это так, что это не было ему во вред. Напротив, именно потому он весь тот день так хорошо работал.

Его первое ките пришлось прямо под нами. Все три матадора по очереди перехватывают быка после того, как он кинется на пикадора. Первый на очереди был Бельмонте. Вторым — Марсьял. Потом настала очередь Ромеро. Все трое стояли слева от лошади. Пикадор, надвинув шляпу на лоб, направил копье под острым углом на быка, глубоко вонзил шпоры и, держа поводья левой рукой, заставил лошадь двинуться вперед. Бык смотрел зорко. Казалось, он смотрит на белую лошадь, но на самом деле он следил за треугольным острием копья. Ромеро заметил, что бык начинает поворачивать голову. Он не хотел кидаться на лошадь. Ромеро взмахнул плащом, привлекая взгляд быка красным цветом. Бык рванулся, кинулся, но вместо яркого плаща перед ним очутилась белая лошадь, и пикадор, далеко перегнувшись через голову лошади, всадил стальной наконечник длинной палки орехового дерева в бугор мышц между лопатками быка и, опираясь на нее, медленно повернул лошадь, так что стальное острие вошло глубже и и кровь показалась на лопатке быка, которого готовили для Бельмонте.

Раненый бык не упорствовал. У него не было сильного желания бодать лошадь. Он повернул, отделился от пикадора и лошади, и Ромеро увел его своим плащом. Он увел его мягко и плавно, потом остановился и, стоя прямо против быка, протянул ему плащ. Хвост быка взвился, бык кинулся, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, сделал веронику. Влажный, тяжелый от песка плащ расправился, словно надувшийся парус, и Ромеро сделал полный оборот под самой мордой быка. Теперь они снова стояли друг против друга. Ромеро улыбнулся. Бык снова кинулся, плащ Ромеро снова надулся парусом, и он опять сделал веронику, на этот раз в другую сторону. Ромеро так близко пропускал мимо себя быка, что человек, и бык, и плащ, описывающий полный круг перед мордой быка, сливались в одно резко очерченное целое. Все это происходило так неторопливо и размеренно, что казалось, Ромеро убаюкивает быка. Он сделал четыре полных оборота, закончил полуоборотом, который поставил его к быку спиной, и, перекинув плащ через левую руку, опершись правой о бедро, пошел навстречу аплодисментам, а бык стоял неподвижно, глядя на его удаляющуюся спину. Со своими быками он работал безупречно. Его первый бык плохо видел. После двух вероник Ромеро уже знал в точности, на-

сколько зрение быка повреждено. Он приноровился к этому. Это не было блестящей работой. Это было только безупречной работой. Толпа требовала, чтобы быка заменили. Поднялся шум. Ничего замечательного нельзя сделать с быком, который не различает цветов, но президент не отдавал приказа о замене.

— Почему его не заменят?— спросила Брет.

— За него заплатили. Никому не хочется терпеть убытки.

— Это несправедливо по отношению к Ромеро.

— Смотрите, как он справляется с быком, который не видит красного цвета.

— Не люблю смотреть на такие вещи.

Тягостно следить за такой работой, если тебе не безразличен тот, кому приходится ее делать. Так как бык не видел ни расцветки плаща, ни красного сукна мулеты, Ромеро пришлось дразнить его своим телом. Он подходил вплотную к быку, чтобы бык видел его, а когда бык кидался, он перехватывал нападение мулетой и заканчивал маневр по всем правилам классической школы. Туристам из Биаррица это не нравилось. Они думали, что Ромеро трусит, потому что, подставляя быку мулету вместо своего тела, он каждый раз отступал на полшага в сторону. Им больше нравилось, когда Бельмонте имитировал самого себя или когда Марсьял имитировал Бельмонте. Трое таких умников сидели сзади нас во втором ряду.

— Чего он боится? Бык такой глупый, он только на мулету лезет.

— Просто новичок. Еще не научился.

— Но раньше, с плащом, он был очень хорош.

— Волнуется, очевидно.

В середине арены, совсем один, Ромеро продолжал все ту же игру и подходил так близко, дразня быка своим телом, что бык ясно видел его, подходил еще ближе, и бык тупо глядел на него, наконец подходил вплотную, и бык, решив, что можно действовать наверняка, опускал голову, кидался, но в последнюю секунду Ромеро подставлял красную мулету тем легким, еле заметным движением, которое так возмущало биаррицких знатоков тавромахии.

— Сейчас он должен убить его,— сказал я Брет.— Бык все еще сильный. Он не дал себя измотать.

В середине арены Ромеро, стоя против быка, вытащил шпагу из складок мулеты, поднялся на носки и

направил клинок. Бык кинулся, и Ромеро кинулся. Левая рука Ромеро набросила мулету на морду быка, чтобы ослепить его, левое плечо вдвинулось между рогами, шпага опустилась, и на одно мгновение бык и Ромеро, который возвышался над быком, сжимая высоко поднятой правой рукой эфес шпаги, вошедшей до отказа между лопатками быка, слились воедино. Потом группа распалась. Ромеро, легко оттолкнувшись от быка, стоял, подняв руку, лицом к быку, и его белая рубашка, разорванная под мышкой, развевалась от ветра, а бык с торчащим между лопатками красным эфесом, опустив голову, шатался на подгибающихся ногах.

— Сейчас упадет,— сказал Билл.

Ромеро стоял так близко к быку, что бык видел его. Не опуская руки, он заговорил с быком. Бык подобрался, потом голова его выдвинулась вперед, и он начал падать, сначала медленно, потом вдруг перевернулся на спину, задрав все четыре ноги.

Ромеро подали шпагу, и, держа ее острием вниз, с мулетой в левой руке, он направился к ложе президента, поклонился, выпрямился, подошел к барьеру и отдал шпагу и мулету своему слуге.

— Трудный бык,— сказал тот.

— В пот вогнал,— сказал Ромеро. Он вытер лицо. Слуга протянул ему кувшин с водой. Ромеро смочил губы. Пить из кувшина ему было больно. Он не взглянул на нас. Марсьял имел большой успех. Ему все еще хлопали, когда появился последний бык Ромеро. Это был тот самый бык, который утром вырвался вперед и убил одного из толпы.

Во время работы с первым быком избитое лицо Ромеро было очень заметно. Каждое движение открывало его. Напряженная, кропотливая работа с быком, который плохо видел, подчеркивала его состояние. Драка с Коном не повлияла на его мужество, но лицо его было изуродовано и тело избито. Теперь он избавлялся от этого. Избавлялся с каждым маневром. Бык попался хороший, крупный, с настоящими рогами, и он послушно поворачивал и кидался. Таких быков любил Ромеро.

Когда он кончил работать мулетой и готовился убить быка, толпа потребовала, чтобы он продолжал. Зрители не хотели, чтобы Ромеро убивал быка, не хотели, чтобы зрелище кончилось. Ромеро продолжал работать. Он словно давал урок боя быков. Он проделал все маневры, один за другим, законченно, медленно, плавно и чет-

ко. Не было ни трюков, ни фальши. Не было резких движений. И каждый раз, как маневр достигал кульминационной точки, внезапно и больно сжималось сердце. Толпа требовала, чтобы это длилось без конца.

Бык стоял, расставив ноги, подготовленный к последнему удару, и Ромеро убил его у самого барьера, под нами. Он убил не так, как убил предыдущего быка, когда у него не было выбора, а так, как ему хотелось. Он встал прямо против быка, вытащил шпагу из складок мулеты и нацелился. Бык смотрел на него. Ромеро заговорил с быком и слегка хлопнул его по ноге. Бык нагнул голову, а Ромеро ждал его, сдвинув ноги, опустив мулету, нацеливаясь шпагой. Когда Ромеро взмахнул низко опущенной мулетой, бык кинулся на нее, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, не трогаясь с места, вонзил шпагу между лопаток быка, потом отклонился влево, закрыв собой мулету,— и все было кончено. Бык попытался шагнуть вперед, ноги его стали подгибаться, он зашатался, помедлил, потом упал на колени, и старший брат Ромеро, зайдя сзади, нагнулся над быком и всадил короткий нож в загривок быка у основания рогов. Первый раз он промахнулся. Он снова всадил нож, и бык рухнул, дернулся и застыл. Брат Ромеро, ухватившись одной рукой за рог, в другой держа нож, посмотрел вверх, на ложу президента. По всему амфитеатру махали платками. Президент посмотрел вниз из своей ложи и махнул носовым платком. Брат Ромеро отрезал черное корявое ухо мертвого быка и побежал с ним к Ромеро. Бык, черный и грузный, с вывалившимся языком, лежал на песке. Мальчишки сбегались к нему со всех концов арены. Они окружили его кольцом и начали плясать вокруг мертвого быка.

Ромеро взял ухо из рук своего брата и поднял его к ложе президента. Президент наклонил голову, и Ромеро, стараясь опередить бросившуюся за ним толпу, побежал к нам. Он перегнулся через барьер и протянул ухо Брет. Потом кивнул головой и улыбнулся. Толпа уже окружала его. Брет протянула ему плащ.

— Понравилось?— крикнул Ромеро.

Брет ничего не ответила. Они, улыбаясь, смотрели друг на друга. Брет держала ухо в руке.

— Не запачкайтесь кровью,— сказал Ромеро и засмеялся.

Толпа требовала его. Несколько подростков криками приветствовали Брет. В толпе, кроме мальчишек, были

танцоры и пьяные. Ромеро, повернувшись, попытался пробиться сквозь толпу. Но толпа окружила его, она хотела вынести его на руках. Он отбивался, выскользнул было и, окруженный толпой, бросился бежать к выходу. Он не хотел, чтобы его вынесли на руках. Но его не отпустили и подняли. Ему было неудобно, ноги болтались, а все тело было избито. Несколько человек подняли его и побежали с ним к выходу. Рука его лежала на чьем-то плече. Он обернулся и виновато взглянул на нас. Толпа выбежала за ним в ворота цирка.

Мы втроем вернулись в отель. Брет поднялась наверх. Мы с Биллом пошли в столовую первого этажа, поели крутых яиц и выпили несколько бутылок пива. Пришел Бельмонте, уже в обычном платье, с ним был его импрессарио и еще двое. Они сели за соседний столик и заказали еду. Бельмонте ел очень мало. Они должны были ехать семичасовым поездом в Барселону. На Бельмонте была рубашка в голубую полоску и темный пиджак, он ел яйца всмятку. Остальные ели полный обед. Бельмонте ничего не говорил. Он только отвечал на вопросы. Билла утомил бой быков. И меня утомил. Зрелище боя всегда очень волновало нас обоих. Мы молча ели крутые яйца, и я смотрел на Бельмонте и на людей за его столиком. Видимо, это были люди серьезные и деловитые.

— Пойдем в кафе,— сказал Билл.— Мне хочется абсенту.

Шел последний день фиесты. Небо заволакивало тучами. Площадь была полна народу, пиротехники готовили фейерверк к вечеру и накрывали его буковыми ветками. Кругом стояли мальчишки. Мы прошли мимо стоек с ракетами на длинных бамбуковых палках. Перед кафе собралась большая толпа. Играла музыка, плясали танцоры. Проносили великанов и карликов.

— Где Эдна?— спросил я Билла.

— Не знаю.

Мы смотрели, как наступает вечер последнего дня фиесты. От абсента все казалось лучше. Я пил его без сахара, и он приятно горчил.

— Мне жаль Кона,— сказал Билл.— Ему было очень тяжело.

— А ну его к черту,— сказал я.

— Куда, по-твоему, он поехал?

— В Париж.

— А что, по-твоему, он там будет делать?

— А ну его к черту.
— Что, по-твоему, он будет делать?
— Сойдется опять со своей старой любовью.
— А кто его старая любовь?
— Некая Фрэнсис.
Мы выпили еще абсенту.
— Когда ты уезжаешь?— спросил я.
— Завтра.
Немного погодя Билл сказал:
— Ну, что же, фиеста прошла чудесно.
— Да,— сказал я,— все время чем-то были заняты.
— Даже не верится. Похоже на изумительный кошмар.
— Почему не верится?— сказал я.— Я всему поверю. Включая кошмары.
— Что с тобой? Скверно?
— До черта скверно.
— Выпей еще абсенту. Эй, подойдите сюда. Еще абсенту этому сеньору.
— Мне очень скверно,— сказал я.
— Выпей,— сказал Билл.— Пей медленно.
Становилось темно. Фиеста продолжалась. Я начал пьянеть, но от этого не чувствовал себя лучше.
— Ну как?
— Скверно.
— Хочешь еще?
— Не поможет.
— Попробуй. Никогда нельзя знать, может быть, именно эта рюмка поможет. Эй, вы! Еще абсенту этому сеньору.

Я сразу налил воды в абсент и размешал, вместо того чтобы дать ей стечь каплями. Билл бросил в стакан кусочек льду. Я ложкой помешал лед в темной, мутной смеси.
— Вкусно?
— Очень.
— Не пей так быстро. Тебя стошнит.
Я поставил стакан. Я вовсе не собирался пить быстро.
— Я пьян.
— Еще бы!
— Этого ты хотел, да?
— Именно. Напейся. Разгони тоску.
— Ну, хорошо, я пьян. Этого ты хотел?
— Сядь.

— Не хочу,— сказал я.— Я пойду в отель.

Я был очень пьян. Я не помню, чтобы я когда-нибудь был так пьян. Вернувшись в отель, я поднялся наверх. Дверь в комнату Брет была приоткрыта. Я сунул голову в комнату. Майкл сидел на кровати. Он помахал мне бутылкой.

— Джейк,— сказал он.— Идите сюда, Джейк.

Я вошел в комнату и сел. Комната ходила ходуном, если я не смотрел в одну точку.

— Знаете, ведь Брет уехала с этим матадором.

— Неправда.

— Правда. Она искала вас, хотела проститься. Они уехали семичасовым.

— Вот как?

— Зря это она,— сказал Майкл.— Не следовало ей этого делать.

— Нет.

— Хотите выпить? Я сейчас позвоню, чтобы подали пива.

— Я пьян,— сказал я.— Я пойду к себе и лягу.

— Вдрызг? Я сам был вдрызг.

— Да,— сказал я.— Вдрызг.

— Ну, ладно,— сказал Майкл.— Идите спать, Джейк.

Я вышел из комнаты, пошел к себе и лег на кровать. Кровать закачалась, я приподнялся и стал смотреть в стену, чтобы остановить качку. За окном, на площади, шумела фиеста. Но она утратила всякий смысл. Потом приходили Майкл и Билл, звали меня вниз, пообедать с ними. Я притворился спящим.

— Он спит. Не трогайте его.

— Он пьян как стелька,— сказал Майкл. Они вышли.

Я встал, вышел на балкон и стал смотреть, как танцуют на площади. Мир перестал кружиться. Он был очень ясный и четкий, лишь слегка затуманенный по краям. Я умылся, пригладил волосы. Лицо мое в зеркале показалось мне странным. Потом спустился вниз в столовую.

— Вот он!— сказал Билл.— Молодец, Джейк! Я же знал, что ты не раскиснешь.

— Привет, старый пьянчуга!— сказал Майкл.

— Я захотел есть и проснулся.

— Поешь супцу,— сказал Билл.

Мы пообедали втроем, и казалось, что за нашим столиком не хватает, по крайней мере, шести человек.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Наутро все было позади. Фиеста кончилась. Я проснулся около девяти часов, принял ванну, оделся и сошел вниз. Площадь была пуста, улицы безлюдны. На площади дети подбирали палки от ракет. Кафе только еще открывались, официанты выносили удобные плетеные кресла и расставляли их вокруг мраморных столиков в тени колоннады. Повсюду подметали улицы и поливали водой из кишки.

Я сел в удобное плетеное кресло и откинулся на спинку. Официант не спешил подойти ко мне. Объявления о выгрузке быков и о добавочных поездах все еще белели на колоннах. Вышел официант в синем фартуке, с тряпкой и ведром воды, и начал срывать объявления, отдирая бумагу полосами и смывая ее в тех местах, где она прилипла к камню. Фиеста кончилась.

Я выпил кофе, и немного спустя пришел Билл. Я смотрел, как он идет через площадь. Он сел за мой столик и заказал кофе.

— Ну,— сказал он,— вот и конец.

— Да,— сказал я.— Когда ты едешь?

— Еще не знаю. Пожалуй, возьмем машину. Разве ты не в Париж?

— Нет. У меня в запасе еще неделя. Я думаю поехать в Сан-Себастиан.

— Мне уже хочется домой.

— А что Майкл думает делать?

— Он едет в Сен-Жан-де-Люс.

— Давай возьмем машину и доедем все вместе до Байонны. Ты можешь сесть там на вечерний поезд.

— Хорошо. После завтрака поедем.

— Ладно. Я найму машину.

Мы позавтракали и заплатили по счету. Монтойа не подходил к нам. Счет принесла одна из служанок. Машина ждала у подъезда. Шофер взвалил часть вещей на крышу автомобиля и привязал их, остальные сложил рядом со своим сиденьем, и мы сели. Машина пересекла площадь, свернула на поперечную улицу, проехала под деревьями, потом пошла под гору, прочь от Памплоны. Дорога не показалась мне очень долгой. У Майкла

была бутылка фундадору. Я только раза два хлебнул. Мы перевалили через горы, оставили позади Испанию, проехали по белым дорогам через густолиственную, влажную, зеленую Бискайю и наконец въехали в Байонну. Мы сдали вещи Билла на хранение, и он взял билет до Парижа. Поезд его уходил в семь десять. Мы вышли из вокзала. Наша машина ждала у подъезда.

— Что мы сделаем с машиной?— спросил Билл.

— А, наплевать,— сказал Майкл.— Давайте еще покатаемся.

— Ладно,— сказал Билл.— Куда мы поедем?

— Поедем в Биарриц и выпьем.

— Майкл Расточитель,— сказал Билл.

Мы поехали в Биарриц и оставили машину у дверей фешенебельного ресторана. Мы вошли в бар, уселись на высоких табуретах и выпили виски с содовой.

— За это я плачу,— сказал Майкл.

— Бросим кости.

Мы выбросили покерные кости из глубокой кожаной чашки. Билл выиграл в первом туре. Майкл проиграл мне и вручил бармену стофранковую бумажку. Порция виски стоила двенадцать франков. Мы еще выпили, и опять проиграл Майкл. Каждый раз он давал бармену на чай. В соседней комнате играл хороший джаз. Это был приятный бар. Мы еще выпили. Я выиграл в первом же туре, выбросив четыре короля. Билл и Майкл продолжали играть. Майкл выбросил четыре валета и выиграл. Второй тур выиграл Билл. В решающем туре Майкл выбросил три короля и оставил их без прикупа. Он передал чашку Биллу. Билл потряс ее, выбросил кости — три короля, туз и дама.

— Вам платить,— сказал Билл.— Майкл Старый Шулер.

— Мне очень жаль,— сказал Майкл,— но этого я не могу.

— В чем дело?

— Денег нет,— сказал Майкл.— Ничего не осталось. У меня ровно двадцать франков в кармане. Нате, возьмите двадцать франков.

Билл слегка изменился в лице.

— У меня только-только хватило расплатиться с Монтойей. И то слава богу.

— Выпишите чек, я вам дам денег,— сказал Билл.

— Очень вам благодарен, но я не имею права выписывать чеки.

— А где вы думаете достать денег?

— Немного я получу. Мне должны прислать деньги за полмесяца. В Сен-Жан-де-Люс есть гостиница, где я могу жить в кредит.

— Что мы будем делать с машиной?— спросил меня Билл.— Может быть, отпустим ее?

— Пусть подождет. Хотя на что она нам?

— Давайте выпьем еще по одной,— сказал Майкл.

— Отлично. За это я плачу,— сказал Билл.— А у Брет есть деньги?— Он повернулся к Майклу.

— Вряд ли. Я почти весь счет Монтойи оплатил из ее денег.

— У нее хоть какие-нибудь деньги есть при себе?— спросил я.

— Вряд ли. У нее никогда нет денег. Она получает пятьсот фунтов в год, и триста пятьдесят из них уходит на проценты жидам.

— Недурно наживаются,— сказал Билл.

— Неплохо. Кстати, они не евреи. Мы просто зовем их так. Они, кажется, шотландцы.

— Так у нее совсем нет денег?— спросил я.

— Вероятно. Все, что у нее было, она отдала мне перед отъездом.

— Ну что ж,— сказал Билл,— остается только выпить еще по одной.

— Верно,— сказал Майкл.— Говорить о деньгах — занятие пустое.

— Вы правы,— сказал Билл. Мы с Биллом разыграли, кому платить. Билл проиграл и заплатил. Мы вышли к дожидавшейся машине.

— Куда вы хотите ехать, Майкл?— спросил Билл.

— Давайте просто покатаемся. Это, может быть, поднимет мой кредит. Покатаемся немного.

— Отлично. Мне хочется взглянуть на побережье. Давайте поедем в Андай.

— На побережье у меня нет никакого кредита.

— Как знать,— сказал Билл.

Мы поехали по дороге, идущей вдоль побережья. Зеленели луга, мелькали белые, под красными крышами виллы, клочки леса, и по краю далеко отступившего от берега очень синего моря кудрявились волны. Мы проехали через Сен-Жан-де-Люс и другие прибрежные городки, расположенные подальше. Позади холмистой равнины, по которой мы ехали, видны были горы, отделявшие нас от Памплоны. Дорога вела все дальше. Билл

взглянул на часы. Нам пора было возвращаться. Он постучал в стекло и велел шоферу ехать обратно. Машина, разворачиваясь, задом въехала в придорожную траву. За нами был лес, впереди, под нами,— луговина, а дальше — море.

Мы остановились в Сен-Жан-де-Люс, у подъезда отеля, где Майкл собирался жить, и он вышел из машины. Шофер внес его чемоданы. Майкл стоял возле машины.

— Прощайте, друзья,— сказал Майкл.— Замечательная была фиеста.

— Всего хорошего, Майкл,— сказал Билл.

— Скоро увидимся,— сказал я.

— О деньгах не беспокойтесь,— сказал Майкл.— Вы заплатите, Джейк, за машину, а я вам пришлю свою долю.

— Прощайте, Майкл.

— Прощайте, друзья. Спасибо вам.

Он пожал руку Биллу и мне. Машина отъехала, и мы помахали ему. Он стоял на дороге и смотрел нам вслед. В Байонну мы приехали перед самым отходом поезда. Носильщик принес чемоданы Билла из камеры хранения. Я проводил его до решетки на перроне.

— Ну, прощай, Джейк,— сказал Билл.

— Прощай, дружище!

— Очень хорошо было. Я очень хорошо провел время.

— В Париже задержишься?

— Нет. Я семнадцатого на пароход. Ну прощай!

— Прощай, Билл!

Он прошел через дверцу в решетке к поезду. Носильщик шел впереди с чемоданами. Я смотрел, как отходит поезд. Билл стоял у одного из окон. Окно проехало, весь поезд проехал, рельсы опустели. Я вышел через вокзал к автомобилю.

— Сколько с меня?— спросил я шофера. За путь до Байонны мы уговорились заплатить сто пятьдесят песет.

— Двести песет.

— А сколько вы возьмете, чтобы завести меня на обратном пути в Сан-Себастиан?

— Пятьдесят песет.

— Вы шутите.

— Тридцать пять песет.

— Это слишком дорого,— сказал я.— Отвезите меня в отель Панье Флёри.

У подъезда отеля я заплатил шоферу и дал ему на чай. Машина была покрыта пылью. Я провел чехлом спиннинга по стенке машины. Эта пыль было последнее, что связывало меня с Испанией и фиестой. Шофер завел мотор, и машина покатила по улице. Я смотрел, как она сворачивает на дорогу в Испанию. Я вошел в отель и снял номер. Мне дали тот же номер, в котором я жил, когда Билл, и Кон, и я были в Байонне. Казалось, это было когда-то очень давно. Я умылся, переменил рубашку и пошел в город.

В газетном киоске я купил номер «Нью-Йорк Геральд» и зашел в кафе почитать его. Странно было снова очутиться во Франции. Все здесь отдавало провинциальной тишиной и спокойствием. Я почти жалел, что не поехал с Биллом в Париж, но Париж — это значило бы продолжение фиесты. С меня пока довольно было фиест. В Сан-Себастиане будет тихо. Сезон откроется не раньше августа. Я сниму хороший номер в отеле и буду читать и купаться. Там прекрасный пляж. Набережная обсажена чудесными деревьями, и много детей со своими нянями проводят там лето до открытия сезона. По вечерам оркестр будет играть под деревьями напротив кафе Маринас. Я буду сидеть в кафе Маринас и слушать музыку.

— Как у вас тут кормят?— спросил я официанта. К кафе примыкал ресторан.

— Хорошо. Очень хорошо. Здесь очень хорошо кормят.

— Отлично.

Я пошел в ресторан и пообедал. Для Франции это был обильный обед, но после испанских трапез он показался мне несколько скудным. За неимением другой компании я заказал бутылку Шато Марго. Приятно было пить медленно, и смаковать вино, и пить в одиночестве. Бутылка вина —хорошая компания. Потом я выпил кофе. Официант посоветовал мне бискайский ликер, под названием иссара. Он принес бутылку с ликером и наполнил рюмку. Он сказал, что иссару делают из пиренейских цветов. Из настоящих пиренейских цветов. Ликер видом напоминал вежеталь, а запахом — итальянский ликер стрега. Я велел официанту убрать пиренейские цветы и принести мне французский vieux marc. Marc оказался вкусным. После кофе я выпил вторую рюмку.

Официант, по-видимому, немного обиделся за пиренейские цветы, поэтому я щедро дал ему на чай. Это

обрадовало его. Хорошо жить в стране, где так легко и просто доставлять людям радость. В Испании никогда нельзя знать наперед, поблагодарит ли тебя официант. Во Франции же все построено на четкой финансовой основе. Нет страны, где жизнь была бы проще. Никто не осложняет отношений, становясь твоим другом по каким-то неясным причинам. Если хочешь, чтобы тебя любили, стоит только истратить немного денег. Я истратил немного денег, и официант полюбил меня. Он оценил мои достоинства. Он будет рад снова увидеть меня. Когда-нибудь я снова приду сюда обедать, и он рад будет меня видеть и захочет, чтобы я сел за его столик. Это будет искренняя любовь, потому что у нее будет разумное основание. Я почувствовал, что вернулся во Францию.

На другое утро я всем в отеле дал слишком много на чай, чтобы приобрести еще друзей, и утренним поездом уехал в Сан-Себастиан. На вокзале я дал носильщику на чай ровно столько, сколько считал нужным, потому что сомневался, что еще когда-нибудь увижусь с ним. Мне только хотелось иметь несколько добрых друзей французов в Байонне на случай, что я вернусь туда. Я знал, что если они запомнят меня, то будут мне верными друзьями.

В Ируне была пересадка, и нужно было предъявить паспорт. Мне жаль было покидать Францию. Во Франции так легко жилось. Я знал, что делаю глупость, возвращаясь в Испанию. В Испании никогда ничего нельзя предугадать. Я знал, что глупо возвращаться в Испанию, но я стал в очередь со своим паспортом, открыл чемоданы и показал содержимое таможенному чиновнику, взял билет, прошел через дверцу, сел в поезд и через сорок минут и восемь туннелей очутился в Сан-Себастиане.

Даже в жаркий день в Сан-Себастиане чувствуется как бы прохлада раннего утра. Кажется, что листья на деревьях никогда не бывают совсем сухими. Улицы такие, точно их только что поливали. В самый жаркий день на некоторых улицах тенисто и прохладно. Я выбрал отель в центре города, где я уже останавливался и получил комнату с балконом, откуда открывался вид на городские крыши. За крышами высился зеленый склон горы.

Я распаковал свои вещи и сложил книги на столик в головах кровати, достал бритвенный прибор, повесил

кое-что из одежды в большой шкаф и собрал белье, чтобы отдать его в стирку. Потом я принял душ в ванной и спустился вниз завтракать. В Испании часы еще не перевели на летнее время, поэтому я пришел рано. Я перевел свои часы. Приехав в Сан-Себастиан, я выиграл час.

Когда я шел в столовую, портье вручил мне бланк из полиции, чтобы я его заполнил. Я подписал бланк, потом отправил телеграмму в Отель Монтойа с просьбой все письма и телеграммы на мое имя пересылать по такому-то адресу. Я высчитал, сколько дней пробуду в Сан-Себастиане, телеграфировал в редакцию, чтобы мою корреспонденцию сохраняли, но все телеграммы в течение шести дней пересылали в Сан-Себастиан. Потом я пошел в столовую и позавтракал.

После завтрака я поднялся к себе, немного почитал и заснул. Проснулся я в половине пятого. Я достал купальный костюм, завернул его вместе с гребенкой в полотенце, вышел на улицу и зашагал к бухте Конча. Начинался отлив. Желтый прибрежный песок был гладкий и твердый. Я вошел в кабинку, разделся, надел купальный костюм и пошел по гладкому песку к морю. Приятно было идти босиком по теплому песку. Купающихся, в воде и на берегу, было довольно много. Вдали, там, где края бухты почти сходились, замыкая гавань, за белой линией прибоя виднелось открытое море. Несмотря на отлив, изредка подкатывали медленные волны. Появлялась легкая зыбь, потом волны тяжелели и плавно набегали на теплый песок. Я вошел в воду. Вода была холодная. Когда подкатила волна, я нырнул, поплыл под водой и поднялся на поверхность, уже не чувствуя холода. Я подплыл к плоту, подтянулся и лег на горячие доски. На другом конце плота отдыхали молодой человек и девушка. Девушка отстегнула бретельку своего купального костюма и повернулась спиной к солнцу. Молодой человек лежал ничком на плоту и разговаривал с ней. Она смеялась его словам и подставляла под солнечные лучи загорелую спину. Я лежал на плоту под солнцем, пока не обсох. Потом я несколько раз нырнул. Один раз я нырнул глубоко, почти до самого дна. Я плыл с открытыми глазами, и кругом было зелено и темно. Плот отбрасывал густую тень. Я выплыл около плота, посидел на нем, еще раз нырнул, пробыл под водой как можно дольше и поплыл к берегу. Я полежал на берегу, чтобы обсохнуть, зашел в кабин-

ку, снял купальный костюм, окатился холодной водой и вытерся насухо.

Я прошел берегом под деревьями до казино, а потом по одной из прохладных улиц вышел к кафе Маринас. Внутри кафе играл оркестр, и я сидел на террасе, наслаждаясь прохладой среди жаркого дня, и пил лимонад со льдом, а потом выпил большой стакан виски с содовой. Я долго просидел на террасе кафе Маринас, читал газеты, смотрел на публику и слушал музыку.

Позже, когда стало темнеть, я погулял по набережной вдоль бухты и наконец вернулся в отель ужинать. Велосипедисты, участники пробега «Вокруг Бискайи», отдыхали эту ночь в Сан-Себастиане. Они сидели в столовой, за отдельным длинным столом, со своими тренерами и импресарио. Все они были французы и бельгийцы, и они уделяли немало внимания еде, но это не мешало им веселиться. На верхнем конце стола сидели две хорошенькие француженки, в которых было много чисто монмартрского шику. Я не мог определить, с кем из молодых людей они приехали. Все, сидевшие за длинным столом, говорили на арго и обменивались шутками, непонятными для посторонних, и случалось, что шуток, сказанных вполголоса в дальнем конце стола, не повторяли, когда девушки просили об этом. Старт финального перегона Сан-Себастиан — Бильбао был назначен на пять часов утра. Велосипедисты пили много вина, лица у них были темные, обожженные солнцем. К гонкам они относились серьезно, только когда состязались между собой. Они так часто соревновались друг с другом, что было почти безразлично, кто победит в этом пробеге. Особенно в чужой стране. Финансовую сторону всегда можно уладить.

У одного из гонщиков, добившегося преимущества в две минуты, был чирей, который причинял ему сильную боль. Он не мог сидеть как следует. У него была багровая от загара шея и выгоревшие на солнце светлые волосы. Остальные подтрунивали над ним. Он постучал вилкой по столу.

— Слушайте,— сказал он,— завтра мой нос так плотно прилипнет к рулю, что только легкий ветерок будет овевать мои чирья.

Одна из девушек взглянула на него через стол, и он, покраснев, засмеялся. Они говорили, что испанцы не умеют ездить на велосипеде.

Я пил кофе на террасе с представителем крупного велосипедного завода. Он сказал, что пробег был очень интересный и его стоило посмотреть, если бы только Ботекиа не выбыл из строя в Памплоне. Очень мешала пыль, но испанские дороги лучше французских. По его мнению, только велогонки — настоящий спорт. Следил ли я за пробегом «Вокруг Франции»? Только по газетам? «Вокруг Франции» было величайшим спортивным событием. Организуя этот пробег и сопровождая гонщиков, он узнал Францию. Мало кто знает Францию. Всю весну, все лето и всю осень он провел на дорогах с гонщиками. Смотрите, сколько автомобилей теперь сопровождает из города в город все пробеги. Франция — богатая страна и с каждым годом становится спортивней. Со временем она будет самой спортивной страной. И это благодаря велогонкам. И еще футболу. Он знает Францию. La France sportive. Он знает велосипедный спорт. Мы выпили коньяку. Но, конечно, и в Париж вернуться неплохо. Париж — самый спортивный город в мире. Знаю ли я кабачок Chope de Hégre? Нет, не знаю. Если я как-нибудь загляну туда, я его застану. Непременно загляну. Мы там опять выпьем по рюмке коньяку. Непременно выпьем. Они отправляются утром, без четверти шесть. Встану ли я к их отъезду? Постараюсь, непременно. Может быть, разбудить меня? Будет очень интересно. Я скажу портье, чтобы меня разбудили. Он с удовольствием сам разбудит меня. Зачем же затруднять его, я скажу портье, чтобы меня разбудили. Мы разошлись, попрощавшись до утра.

Назавтра, когда я проснулся, гонщики и сопровождавшие их автомобили уже покрыли трехчасовой путь. Кофе и газеты мне подали в постель, потом я оделся и, захватив купальный костюм, отправился на пляж. Утро еще не кончилось, все было свежо, прохладно и влажно. Под деревьями гуляли дети с нянями в форме или в крестьянском платье. Испанские дети были красивы. Под одним деревом сидели чистильщики сапог и разговаривали с солдатом. У солдата была только одна рука. Начался прилив, дул крепкий ветер, и набегали большие волны.

Я разделся в одной из кабинок, пересек узкую полосу пляжа и вошел в воду. Я поплыл, стараясь не попадать в волну, но иногда она накрывала меня. Выплыв в спокойную воду, я повернулся и лег на спину. Лежа на спине, я видел только небо и чувствовал легкое ука-

чивание зыби. Я перевернулся и поплыл обратно, и большая волна вынесла меня на берег, потом я опять поплыл, стараясь держаться между волнами и не давать им захлестывать меня. Когда я устал плавать между волнами, я повернул и поплыл к плоту. Вода была бурливая и холодная. Мне казалось, что утонуть невозможно. Я плыл медленно, меня словно тихо уносило течением, потом взобрался на плот и сидел, обсыхая на уже нагретых солнцем досках. Я смотрел на бухту, на старый город, на казино, на ряд деревьев вдоль набережной, на белые крылечки и золотые буквы вывесок больших отелей. Вдали, справа, почти замыкая бухту, виднелся зеленый холм с замком. Плот покачивался от движения воды. С левой стороны узкого прохода в открытое море высился другой холм. Я подумал, что хорошо бы переплыть бухту, но побоялся судорог.

Я обсыхал на солнце и вглядывался в усеянный купающимися пляж. Они казались очень маленькими. Немного спустя я встал, уперся пальцами ног в край плота, и когда он накренился под моей тяжестью, нырнул точно и глубоко, потом поднялся на поверхность, подталкиваемый водой, отряхнулся от соленой воды и не спеша, размеренно поплыл к берегу.

Одевшись и заплатив за кабинку, я пошел обратно в отель. Велосипедисты оставили в читальне несколько номеров журнала «Авто». Я собрал их, вышел с ними из отеля и уселся в кресле на солнечной стороне, чтобы почитать их и войти в курс спортивной жизни Франции. Вскоре из отеля вышел портье с синим конвертом в руках.

— Вам телеграмма, сэр.

Я подсунул палец под заклеенный край, развернул телеграмму и прочел. Ее переслали из Парижа:

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПРИЕЗЖАЙ МАДРИД ОТЕЛЬ МОНТАНА НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ БРЕТ.

Я дал портье на чай и перечел телеграмму. По тротуару шагал почтальон. Он вошел в отель. У него были пышные усы и вид бравого служаки. Потом он вышел из отеля. За ним по пятам шел портье.

— Еще телеграмма для вас, сэр.

— Спасибо,— сказал я.

Я вскрыл телеграмму. Ее переслали из Памплоны.

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПРИЕЗЖАЙ МАДРИД ОТЕЛЬ МОНТАНА НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ БРЕТ.

Портье не уходил, вероятно дожидаясь чаевых.

— Когда есть поезд на Мадрид?

— Уже ушел в девять утра. Есть почтовый в одиннадцать, а потом Южный экспресс в десять вечера.

— Возьмите мне билет на экспресс. Деньги вам сейчас дать?

— Как вам угодно,— сказал он.— Могу поставить на счет.

— Пожалуйста.

Итак, Сан-Себастиан полетел к черту. Мне кажется, я смутно ждал чего-то в этом роде. Я увидел, что портье еще стоит в дверях.

— Пожалуйста, дайте мне телеграфный бланк.

Он принес бланк, я достал свое вечное перо и вывел:

ЛЕДИ ЭШЛИ ОТЕЛЬ МОНТАНА МАДРИД ПРИЕДУ ЗАВТРА ЭКСПРЕССОМ ЦЕЛУЮ ДЖЕЙК.

Теперь, кажется, все. Так, так. Сначала отпусти женщину с одним мужчиной. Представь ей другого и дай ей сбежать с ним. Теперь приезжай и привези ее обратно. А под телеграммой поставь «целую». Так, именно так. Я пошел в отель завтракать.

Я плохо спал в эту ночь в Южном экспрессе. Утром я позавтракал в вагон-ресторане и любовался поросшими сосной горами между Авилой и Эскориалом. Я увидел в окно дворец, серый, длинный и холодный под солнцем и ничуть не восхитился. Вдали, по ту сторону иссушенной солнцем равнины, на вершине невысокой горы показался белый плотный массив Мадрида.

Мадридский Северный вокзал — конечная станция. Все маршруты кончаются здесь. Поезда не идут дальше. Перед вокзалом стояли извозчики и такси и шеренга отельных агентов. Было похоже на провинциальный город. Я взял такси, и мы поехали в гору, сначала парком, потом мимо нежилого дворца и недостроенной церкви над обрывом, выше и выше, пока не добрались до новой, жаркой части города. Машина ровной улицей выехала на Пуэрта дель Соль, пересекла оживленную, шумную площадь и выбралась на Каррера-Сан-Иеронимо. Для защиты от зноя у всех магазинов навесы были опущены, ставни на солнечной стороне улицы закры-

ты. Машина подъехала к тротуару и остановилась. Я увидел вывеску на втором этаже: Отель Монтана. Шофер внес мои чемоданы и поставил их возле лифта. Лифт не действовал, и я пошел наверх пешком. На втором этаже была медная дощечка с надписью: Отель Монтана. Я позвонил, но никто не вышел. Я еще раз позвонил, и дверь открыла хмурая служанка.

— Леди Эшли здесь?— спросил я.

Она тупо посмотрела на меня.

— У вас живет англичанка?

Она повернулась и кликнула кого-то. К двери подошла толстая женщина. Ее седые, густо напомаженные волосы жесткими фестонами лежали вокруг лица. Она была низкого роста и выглядела внушительно.

— Muy buenos [1],— сказал я.— У вас живет англичанка? Я хотел бы повидать ее.

— Muy buenos. Да, здесь живет англичанка. Конечно, вы можете повидать ее, если она хочет вас видеть.

— Она хочет меня видеть.

— Я пошлю спросить у нее.

— Очень жарко.

— Летом в Мадриде всегда очень жарко.

— Зато зимой как холодно.

— Да, зимой очень холодно.

Остановлюсь ли я тоже в Отеле Монтана?

Этого я еще не решил, но я попросил бы принести мои вещи снизу, чтобы они не пропали. В Отеле Монтана никогда ничего не пропадает. В других гостиницах, да. Но не здесь. Нет. В ее отеле прислугу нанимают с большим разбором. Рад слышать это. Все же я предпочел бы, чтобы мои вещи принесли наверх.

Вернулась служанка и сказала, что английская женщина хочет видеть английского мужчину сейчас же, немедленно.

— Ну вот,— сказал я.— Видите. Я вам так и говорил.

— Верно.

Я шел за спиной служанки по длинному темному коридору. Дойдя до конца, она постучала в одну из дверей.

— Хэлло,— сказала Брет.— Это ты, Джейк?

— Я.

— Входи, входи.

---

[1] *Здравствуйте* (испанск.).

Я открыл дверь. Служанка притворила ее за мной. Брет лежала в постели. Она только что пригладила волосы и еще держала щетку в руке. В комнате был тот беспорядок, какой бывает только у людей, привыкших всегда держать прислугу.

— Милый!— сказала Брет.

Я подошел к кровати и обнял ее. Она поцеловала меня, и я чувствовал, что, целуя меня, она думает о чем-то другом. Она дрожала, прижавшись ко мне. Она очень похудела.

— Милый! Это было просто ужасно.

— Расскажи мне все.

— Нечего рассказывать. Он только вчера уехал. Я заставила его уехать.

— Почему ты не оставила его при себе?

— Не знаю. Есть вещи, которых нельзя делать. Хотя, думаю, я ему не принесла вреда.

— Ты ничего, кроме добра, не принесла ему.

— Он вообще не должен ни с кем связываться. Я это сразу поняла.

— Разве?

— О, черт!— сказала она.— Не будем об этом говорить. Никогда не будем об этом говорить.

— Ладно.

— Все-таки было неприятно, что он стыдится меня. Знаешь, он сначала стыдился меня.

— Да что ты?

— Да, да. Его, должно быть, ругали за меня в кафе. Он хотел, чтобы я отпустила волосы. Представляешь меня с длинными волосами? На кого бы я была похожа!

— Вот чудак.

— Он говорил, что это придаст мне женственность. Я была бы просто уродом.

— Ну и что же?

— Ничего. Это скоро прошло. Он недолго стыдился меня.

— А почему ты писала, что нужна моя помощь?

— Я не знала, сумею ли я заставить его уехать, и у меня не было ни гроша, чтобы уехать самой. Он, знаешь, все хотел дать мне денег. Я сказала ему, что мне деньги девать некуда. Он знал, что это неправда. Но не могла же я брать у него деньги.

— Конечно.

— Ох, не будем говорить об этом. Хотя кое-что было забавно. Дай мне, пожалуйста, папиросу.

Я дал ей закурить.

— Он выучился английскому языку, когда был официантом в Гибралтаре.

— Да.

— Кончилось тем, что он предложил мне руку и сердце.

— Серьезно?

— Конечно. А я даже за Майкла не могу выйти.

— Может быть, он думал, что станет лордом Эшли?

— Нет. Не потому. Он серьезно хотел жениться на мне. Чтобы я не могла уйти от него, говорил он. Он хотел сделать так, чтобы я никогда не могла уйти от него. Но только после того, как я стану женственней.

— Теперь тебе будет спокойнее.

— Да. Мне опять хорошо. Я с ним забыла этого несчастного Кона.

— Это хорошо.

— Знаешь, я бы осталась с ним, но я видела, что это плохо для него. Мы с ним отлично ладили.

— Если не считать твоей наружности.

— О, к этому он бы привык.— Она потушила папиросу.— Мне, знаешь, тридцать четыре года. Не хочу я быть такой дрянью, которая занимается тем, что губит мальчишек.

— Ну конечно.

— Не хочу я этого. Мне сейчас хорошо, знаешь. Мне сейчас спокойно.

— Это хорошо.

Она отвернулась. Я подумал, что она хочет достать еще папиросу. Потом я увидел, что она плачет. Я чувствовал, как она плачет. Дрожит и плачет. Она не поднимала глаз. Я снова обнял ее.

— Не будем никогда говорить об этом. Пожалуйста, не будем никогда говорить об этом.

— Брет, дорогая моя!

— Я вернусь к Майклу.— Я крепче обнял ее, чувствуя, как она плачет.— Он ужасно милый и совершенно невозможный. Он как раз такой, какой мне нужен.

Она не поднимала глаз. Я гладил ее волосы. Я чувствовал, как она дрожит.

— Не хочу я быть такой дрянью,— сказала она.— Но только, Джейк, прошу тебя, никогда не будем говорить об этом.

Мы ушли из Отеля Монтана. Когда я хотел уплатить по счету, хозяйка не взяла денег. Счет был оплачен.

— Ну, ладно, пусть,— сказала Брет.— Теперь уж это не важно.

Мы взяли такси и поехали в Палас-Отель, оставили там вещи, заказали места в Южном экспрессе на тот же вечер и зашли в бар при отеле выпить коктейль. Мы сидели у стойки на высоких табуретах и смотрели, как бармен встряхивал мартини в большом никелированном кубке.

— Удивительно, как чинно и благородно бывает в баре большого отеля,— сказал я.

— В наше время только бармены и жокеи еще умеют быть вежливыми.

— Каким бы вульгарным ни был отель, в баре всегда приятно.

— Странно.

— Бармены всегда очаровательны.

— Знаешь,— сказала Брет,— так оно и есть. Ему только девятнадцать лет. Поразительно, правда?

Мы чокнулись стаканами, когда они рядышком стояли на стойке. От холода они покрылись бусинками. За окном со спущенной шторой угадывался летний зной Мадрида.

— Я люблю, чтобы в коктейле была маслина,— сказал я бармену.

— Вы совершенно правы, сэр. Пожалуйста.

— Спасибо.

— Простите, что не предложил вам.

Бармен отошел подальше вдоль стойки, чтобы не слышать нашего разговора. Брет отпила из своего стакана, не поднимая его с деревянной стойки. Потом она взяла стакан в руки. Теперь, после того как она отпила глоток, она уже могла поднять его, не расплескав.

— Вкусно. Правда, приятный бар?

— Все бары приятные.

— Знаешь, сначала я просто не верила. Он родился в тысяча девятьсот пятом году. Я тогда училась в парижском пансионе. Ты подумай!

— Что ты хочешь, чтобы я подумал?

— Не ломайся. Можешь ты угостить свою даму или нет?

— Пожалуйста, еще два мартини.

— Так же, как первые, сэр?

— Было очень вкусно.— Брет улыбнулась бармену.

— Благодарю вас, мэм.

— Ну, будь здоров,— сказала Брет.

— Будь здорова!

— Знаешь,— сказала Брет,— до меня он знал только двух женщин. Он никогда ничем не интересовался, кроме боя быков.

— Еще успеет.

— Не знаю. Он думает, что главное была я сама. А не то что вообще фиеста и все такое.

— Пусть ты.

— Да. Именно я.

— Ты, кажется, не хотела больше об этом говорить.

— Как-то само собой получается.

— Лучше не говори, тогда все останется при тебе.

— Я и не говорю, а только хожу вокруг да около. Знаешь, Джейк, мне все-таки очень хорошо.

— Так и должно быть.

— Знаешь, все-таки приятно, когда решишь не быть дрянью.

— Да.

— Это нам отчасти заменяет бога.

— У некоторых людей есть бог,— сказал я.— Таких даже много.

— Мне от него никогда проку не было.

— Выпьем еще по мартини?

Бармен смешал еще две порции и налил коктейль в чистые стаканы.

— Где мы будем обедать?— спросил я Брет. В баре было прохладно. Чувствовалось, что на улице за окном очень жарко.

— Здесь?— предложила Брет.

— Здесь в отеле скверно. Вы знаете ресторан Ботэн?— спросил я бармена.

— Да, сэр. Если угодно, я напишу вам адрес.

— Благодарю вас.

Мы пообедали в ресторане Ботэн, на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили риоха альта. Брет ела мало. Она всегда мало ела. Я съел очень сытный обед и выпил три бутылки риоха альта.

— Как ты себя чувствуешь, Джейк?— спросила Брет.— Господи! Ну, и обед же ты съел!

— Я чувствую себя отлично. Хочешь что-нибудь на сладкое?

— Ох, нет.— Брет курила.

— Ты любишь поесть, правда?— сказала она.

— Да,— сказал я.— Я вообще многое люблю.

— Например?

— О!— сказал я.— Я многое люблю. Хочешь что-нибудь на сладкое?

— Ты меня уже спрашивал,— сказала Брет.

— Да,— сказал я.— Совершенно верно. Выпьем еще бутылку?

— Хорошее вино.

— Ты почти не пила,— сказал я.

— Пила. Ты не заметил.

— Закажем две бутылки,— сказал я. Вино подали. Я отлил немного в свой стакан, потом налил Брет, потом наполнил свой стакан. Мы чокнулись.

— Будь здоров!— сказала Брет. Я осушил свой стакан и наполнил его. Брет дотронулась до моего локтя.

— Не напивайся, Джейк,— сказала она.— Не из-за чего.

— Почем ты знаешь?

— Не надо,— сказала она.— Все будет хорошо.

— Я вовсе не напиваюсь,— сказал я.— Я просто попиваю винцо. Я люблю выпить винца.

— Не напивайся,— сказала она.— Не напивайся, Джейк.

— Хочешь покататься?— спросил я.— Хочешь покататься по городу?

— Правильно,— сказала Брет.— Я еще не видела Мадрида. Надо посмотреть Мадрид.

— Я только допью,— сказал я.

Спустившись вниз, мы через столовую первого этажа вышли на улицу. Один из официантов пошел за такси. Было жарко и солнечно. В конце улицы, на маленькой площади, обсаженной деревьями и поросшей травой, была стоянка такси. Подъехала машина, на подножке, держась за окно, ехал официант. Я дал ему на чай, сказал шоферу, куда ехать, и сел рядом с Брет. Машина покатила по улице. Я откинулся на спинку сиденья. Брет подвинулась ко мне. Мы сидели близко друг к другу. Я обнял ее одной рукой, и она удобно прислонилась ко мне. Было очень жарко и солнечно, и дома были ослепительно белые. Мы свернули на Гран Виа.

— Ах, Джейк!— сказала Брет.— Как бы нам хорошо было вместе.

Впереди стоял конный полицейский в хаки и регулировал движение. Он поднял палочку. Шофер резко затормозил, и от толчка Брет прижало ко мне.

— Да,— сказал я.— Этим можно утешаться, правда?

ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Они выехали за два часа до рассвета, и сначала им не приходилось взламывать лед на канале, потому что впереди шли другие лодки. На каждой лодке стоял гребец с длинным кормовым веслом, в темноте их не было видно, и только слышался плеск воды. Охотник сидел на складном стуле, укрепленном на крышке ящика, где лежали еда и патроны, а ружья — два или даже больше — были прислонены к груде деревянных чучел. В каждой лодке был мешок с парой подсадных уток или уткой и селезнем; в каждой лодке сидела собака, собаки дрожали и метались, слыша над головой шум крыльев пролетающих во тьме птиц.

Четыре лодки пошли вверх, на север, по главному каналу, к большой лагуне. Пятая свернула в боковой канал. А вот теперь и шестая лодка повернула к югу, в неглубокую лагуну, затянутую льдом.

Лед был сплошной; воду схватило в эту безветренную ночь, когда вдруг ударил мороз; упругий покров только гнулся под ударами кормового весла. Потом он лопался с треском, как оконное стекло, но лодка почти не двигалась.

— Дайте-ка весло,— сказал охотник в шестой лодке. Он встал и, сохраняя равновесие, расставил ноги. Ему был слышно, как в темноте пролетают утки, а в лодке шарахается с места на место собака. С севера доносился треск льда, который ломали другие лодки.

— Осторожно,— предупредил лодочник с кормы.— Не переверните лодку.

— Я не новичок,— сказал охотник.

Он взял у лодочника длинное весло и проткнул лед. Почувствовав твердое дно, он уперся грудью в широкую лопасть весла и, держа его обеими руками, оттолкнул лодку так, что весло очутилось уже возле кормы, а лодка двинулась вперед, ломая ледяную корку. Когда лодка врезáлась в лед, а потом садилась на него днищем, лед раскалывался, как зеркальное стекло, и гребец на корме вел ее дальше по чистой воде.

Немного погодя охотник — он мерно, напряженно работал веслом и вспотел в теплой одежде — спросил лодочника:

— А где же наша бочка?

— Там, левее. В заливе, рядом.

— Может, мне пора сворачивать?

— Воля ваша.

— Что значит «воля ваша»? Вы ведь знаете, какая здесь глубина. Хватит тут воды, чтобы прошла лодка?

— Кто его знает! Вода спáла.

— Пока мы будем канителиться, совсем рассветет.

Лодочник молчал.

«Ах ты, черт собачий,— подумал охотник.— Ничего, доедем. Мы уже проплыли две трети пути, а если тебе неохота разбивать лед, чтобы я мог пострелять уток, это просто подло с твоей стороны!»

— А ну-ка поднатужься, хлюст ты этакий!— сказал он по-английски.

— Что?— спросил по-итальянски лодочник.

— Я говорю, что надо двигаться. Скоро рассветет.

Но уже светало, когда они наконец доплыли до большой дубовой бочки, врытой в дно лагуны. Бочку окружала покатая земляная насыпь, которую засадили камышом и осокой; охотник потихоньку ступил на нее и почувствовал, как мерзлые стебли ломаются у него под ногой. Лодочник вытащил из лодки складной стул с ящиком для патронов и передал охотнику; тот наклонился и поставил его на дно бочки.

На охотнике были высокие болотные сапоги и старая походная куртка с нашивкой на левом плече — никто не понимал, что это за нашивка,— и светлыми пятнышками на погонах, где раньше были звездочки; он спустился в бочку, и лодочник подал ему оба ружья.

Прислонив ружья к стене бочки, он повесил между ними, на вбитых специально для этого крючьях, второй патронташ, а затем поудобнее расставил ружья по обе стороны патронташа.

— Вода есть?— спросил он у лодочника.

— Нет,— ответил тот.

— А воду из лагуны пить можно?

— Нет. От нее болеют.

Охотник устал, разбивая лед, ему хотелось пить, он чувствовал, что начинает злиться, но сдержался.

— Хотите, я помогу разбивать лед и ставить чучела?

— Не надо,— ответил лодочник и с остервенением толкнул лодку на тонкий лед, который под ее тяжестью треснул и раскололся. Лодочник стал колотить по льду веслом, а потом швырять деревянные чучела во все стороны.

«Что это он ярится?— думал охотник.— Ведь он здоров, как бык. Я выбивался из сил по дороге сюда, а он

едва-едва нажимал на весло. Какая муха его укусила? Это же его работа!»

Он приладил складной стул так, чтобы можно было свободно поворачиваться вправо и влево, распечатал коробку с патронами и набил ими карманы, потом распечатал еще одну коробку, но оставил ее наготове в патронташе. Перед ним в утреннем свете поблескивала стеклянная поверхность лагуны, а на ней виднелись черная лодка и крупное, могучее тело лодочника, разбивающего веслом лед и швыряющего за борт чучела, словно он хотел избавиться от чего-то непотребного.

Рассвело, и охотник увидел низкие очертания ближайшей косы по ту сторону лагуны. Он знал, что за этой косой стоят еще две бочки, дальше опять идут болота, а за ними — открытое море. Он зарядил оба ружья и прикинул в уме расстояние до лодки, которая расставляла чучела.

Позади он услышал приближающийся шелест крыльев, присел, выглядывая из-за края бочки, взял правой рукой справа от себя ружье, потом встал, чтобы выстрелить по двум уткам, которые косо падали на чучела, притормаживая крыльями, по двум черным уткам на фоне серого, тусклого неба.

Втянув голову в плечи, он широко занес ружье, вскинул ствол, целясь туда, куда летела утка, а потом, не глядя, попал он или нет, плавно поднял ружье, целясь выше и левее того места, куда летела другая утка, и, нажав курок, увидел, как, сложив на лету крылья, она упала среди чучел и осколков льда. Поглядев направо, он заметил и первую утку — черное пятно там же, на льду. Он знал, что правильно выстрелил и в первую утку, взяв много правее лодки, да и во вторую тоже, высоко подняв ствол и отведя его влево, давая утке уйти повыше и левее, чтобы лодка не попала под огонь. Это был отличный дублет — аккуратный и точный, с должной заботой о безопасности лодки, и, перезаряжая ружье, он был очень доволен собой.

— Эй, послушайте,— крикнул ему лодочник.— А ну-ка, не стреляйте по лодке!

«Ах, будь я трижды проклят!— сказал себе охотник.— Отныне и во веки веков!»

— Бросайте свои чучела!— крикнул он лодочнику.— И побыстрее! Я не буду стрелять, пока вы не кончите, разве что прямо вверх.

Лодочник ответил что-то невнятное.

«Чепуха!— сказал себе охотник.— Он ведь это дело знает. И знает, что по дороге сюда я работал не меньше его. В жизни не стрелял аккуратнее и точнее. Чего же он взъелся? Я ведь предлагал ему вместе ставить чучела. Да ну его ко всем чертям!» Справа лодочник все еще злобно колотил по льду и расшвыривал чучела уток, и каждое его движение было полно ненависти.

«Нет, я не дам тебе испакостить мне утро,— подумал охотник.— Если солнце не растопит лед, много тут не настреляешь. Несколько штук — и все, так что я не дам тебе изгадить мне охоту! Кто его знает, сколько раз еще мне придется стрелять уток,— я не позволю, чтобы мне испортили эту охоту!»

Он смотрел, как за длинной болотной косой светлеет небо, а потом, повернувшись к бочке, поглядел на замерзшую лагуну, на болота и на снежные горы вдали. Он сидел так низко, что предгорий не было видно, вершины отвесно поднимались над плоской равниной. Глядя на горы, он чувствовал, как в лицо ему тянет ветерком, и понял, что с восходом солнца ветер задует, потревожит птиц и они непременно прилетят сюда с моря.

Лодочник кончил расставлять чучела. Они плавали на воде двумя стайками: перед бочкой, чуть-чуть левее ее, в той стороне, откуда встанет солнце, и справа от охотника. Вот он выбросил за борт и подсадную утку вместе с привязью и грузилом, и живой манок стал окунать голову в лагуну — высовывал, снова погружал и расплескивал у себя по спине воду.

— А не расколоть ли еще немножко льда по краям?— крикнул охотник лодочнику.— Слишком мало чистой воды — они не сядут.

Лодочник ничего не ответил, но стал колотить веслом по рваной кромке льда. Ломать лед было ни к чему, и лодочник это знал. Но охотник этого не знал и думал:

«Непонятно, что с ним происходит. Я не дам ему испакостить мне охоту. Не желаю, чтобы ей что-нибудь помешало, и ему не дам! Каждый выстрел теперь, может быть, мой последний выстрел, и я не позволю какому-то сукину сыну портить мне охоту! Спокойно, мальчик, только не злись»,— говорил он себе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Но он уже не мальчик. Ему пятьдесят, и он полковник пехотных войск армии Соединенных Штатов. И для того, чтобы пройти медицинский осмотр за день до по-

ездки в Венецию на охоту, он проглотил столько нитроглицерина, сколько было нужно для того, чтобы... он и сам не знал, для чего; для того, чтобы пройти этот осмотр, уверял он себя.

Врач выслушивал его с явным недоверием. Но, дважды измерив давление, все же занес цифры в карточку.

— Понимаешь, какое дело, Дик,— сказал он.— Тебе это не рекомендуется; больше того, при повышенном внутриглазном и внутричерепном давлении это противопоказано!

— Не понимаю,— сказал охотник, который только собирался стать охотником и пока что был полковником пехотных войск армии Соединенных Штатов, а раньше занимал генеральскую должность.

— Я ведь не первый день вас знаю, полковник. А может, мне только кажется, что я вас знаю давно?

— Нет, тебе это не кажется,— сказал полковник.

— Что-то мы оба будто романс запели,— сказал врач.— Только смотри, не стукнись обо что-нибудь твердое и следи, чтобы в тебя не попала искра, раз ты так набит нитроглицерином! Хорошо бы на тебя навесить предохранительный знак, как цистерну с горючим.

— А кардиограмма у меня в порядке?— спросил полковник.

— Кардиограмма у вас, полковник, замечательная! Но хуже, чем у двадцатипятилетнего. Да такой кардиограмме позавидуешь и в девятнадцать лет!

— Тогда чего же тебе надо?— спросил полковник.

Когда наглотаешься нитроглицерина, иногда немного подташнивает; ему хотелось, чтобы осмотр поскорее кончился. Ему хотелось поскорее лечь и принять соду. «Эх, я мог бы написать руководство по тактике обороны для взвода с высоким давлением,— подумал он.— Жаль, что нельзя ему этого сказать. А почему бы, в сущности, не сознаться и не попросить у суда снисхождения? Не сможешь,— сказал он себе.— Так до конца и будешь твердить, что невиновен».

— Сколько раз ты был ранен в голову?— спросил врач.

— Ты же знаешь,— ответил полковник.— В формуляре сказано.

— А сколько раз тебе попадало по голове?

— О господи!— Потом он спросил:— Ты спрашиваешь официально или как мой личный врач?

— Как твой личный врач. А ты подумал, что я хочу подложить тебе свинью?

— Нет, Вес, не думал. Прости меня, пожалуйста. Что ты спросил?

— Сколько у тебя было контузий?

— Серьезных?

— Когда ты терял сознание или ничего не мог вспомнить.

— Штук десять,— сказал полковник.— Считая и падение с лошади. А легких три.

— Ах ты, старый хрен,— сказал врач.— Вы уже меня извините, господин полковник!

— Ну как, можно идти?— спросил полковник.

— Да, господин полковник,— сказал врач.— У вас все в порядке.

— Спасибо. Хочешь, поедем со мной, постреляем уток на болотах в устье Тальяменто? Чудная охота. Там имение славных итальянских парнишек: я с ними познакомился в Кортине.

— А болота — это где водятся кулики?

— Нет, в тех местах охотятся на настоящих уток. Парнишки очень славные. И охота чудная. Настоящие утки. Гоголи, шилохвостки, чирки. Даже гуси попадаются. Не хуже, чем у нас дома, когда мы были ребятами.

— Ну, я-то был ребенком в тридцатом году.

— Вот это подлость! Не ожидал от тебя.

— Да я совсем не то хотел сказать. Я просто не помню, чтобы у нас хорошо было охотиться на уток. К тому же я рос в городе.

— Тем хуже! Всем вам, городским мальчишкам, грош цена!

— Вы это серьезно, полковник?

— Конечно, нет. Какого черта ты спрашиваешь?

— Со здоровьем у вас все в порядке, полковник,— повторил врач.— Жалко, что я не могу с тобой поехать. Но я и стрелять не умею.

— Ну и черт с ним,— сказал полковник.— Какая разница? У нас в армии никто не умеет стрелять. Мне очень хотелось, чтобы ты со мной поехал.

— Я вам дам еще одно лекарство, вдобавок к тому, что вы принимаете.

— А разве есть такое лекарство?

— По правде говоря, нет. Хотя они там что-то придумывают.

— Ну и пусть придумывают,— сказал полковник.

— Весьма похвальная жизненная позиция, господин полковник.

— Иди к черту. Так ты не хочешь со мной ехать?

— С меня хватит уток в ресторане «Лоншан» на Медисон-авеню,— сказал врач.— Летом там кондиционированный воздух, а зимой тепло. Не надо вставать чуть свет и напяливать на себя теплые кальсоны.

— Ладно, городской пижон. Что ты понимаешь в жизни?

— И никогда не хотел понимать,— сказал врач.— А со здоровьем у вас все в порядке, господин полковник.

— Спасибо,— сказал полковник и вышел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Это было позавчера. А вчера он выехал из Триеста в Венецию по старой дороге, которая шла от Монфальконе до Латизаны и потом прямо по равнине. Шофер у него был хороший, и он спокойно привалился к спинке переднего сиденья, поглядывая на места, которые знал еще мальчишкой.

«Сейчас они выглядят совсем иначе,— думал он.— Наверно, потому, что расстояния кажутся другими. Когда стареешь, все как будто становится меньше. Да и дороги теперь получше, и пыли такой нету. Когда-то я проезжал здесь на грузовике. Но чаще мы ходили пешком. Все, о чем я тогда мечтал,— это найти хоть полоску тени для привала и колодец на крестьянском дворе. И, конечно, канаву. Ну до чего же меня в те времена привлекали канавы!»

Они свернули и по временному мосту переехали через Тальяменто. Берега зеленели, а на той стороне, где было поглубже, какие-то люди удили рыбу. Взорванный мост восстанавливали, гулко стучали клепальные молотки, а в восьмистах ярдах от моста стояли разрушенный дом и службы; по развалинам усадьбы, когда-то построенной Лонгеной, было видно, где сбросили свой груз средние бомбардировщики.

— Нет, вы подумайте,— сказал шофер.— У них что ни мост, что ни станция — кругом на целые полмили одни развалины.

— Отсюда мораль,— сказал полковник,— не строй себе дом или церковь и не нанимай Джотто писать фрески, если твоя церковь стоит в полумили от моста.

— Я так и знал, господин полковник, что тут должна быть своя мораль,— сказал шофер.

Они миновали разрушенную виллу и выехали на пря-

мую дорогу; в кюветах, обсаженных ивами, еще стояла темная вода, а на полях росли шелковицы. Впереди ехал велосипедист и читал гаету, держа ее обеими руками.

— Если летают тяжелые бомбардировщики — другая мораль: отступи на целую милю,— сказал шофер.— Правильно, господин полковник?

— А если управляемые снаряды, то не на одну, а на двести пятьдесят миль. Ну-ка, погудите велосипедисту!

Шофер погудел, и тот съехал на обочину, так и не взглянув на них и не притронувшись к рулю. Когда они проезжали мимо, полковник высунулся, чтобы поглядеть, какую он читает газету, но заголовка не было видно.

— По-моему, теперь вообще не стоит строить себе красивых домов или церквей и нанимать этого, как его — как вы его назвали?— писать фрески.

— Джотто. Но это мог быть и Пьетро делла Франческа и Мантенья. И даже Микеланджело.

— Вы, видно, здорово знаете этих художников?

Теперь они ехали по прямому отрезку дороги и, стараясь наверстать время, гнали так, что один крестьянский дом словно наплывал на следующий; они почти сливались друг с другом, и видно было лишь то, что находилось далеко впереди и двигалось навстречу. За боковым стеклом тянулся безликий плоский пейзаж зимней равнины. «Я, пожалуй, не так уж люблю быструю езду,— думал полковник.— Хорош был бы Брейгель, заставь его наблюдать натуру из мчащегося автомобиля!»

— Художников?— переспросил он...— Да нет, Бернхем, не так уж много я про них знаю.

— Моя фамилия Джексон, господин полковник, Бернхема послали отдыхать в Кортину. Хорошее место, господин полковник.

— У меня, видно, память сдавать стала,— сказал полковник.— Простите, Джексон. Да, место там хорошее. Кормят недурно. Уход приличный. И никто к тебе не пристает.

— Это верно, господин полковник,— согласился Джексон.— Но я вас спросил о художниках из-за всех ихних мадонн. Я подумал, что и мне надо бы посмотреть картины, и пошел во Флоренции в самое большое заведение, какое у них есть.

— Уффици? Питти?

— Понятия не имею, как оно называется. Но самое большое, какое там есть. Смотрел я, смотрел, пока меня

от этих мадонн не замутило. Верно, тот, кто в картинах мало разбирается, только и видит что одних мадонн, и очень ему от этого муторно. Знаете, что мне кажется? Вы небось заметили, как все они тут помешаны на этих своих bambini[1], и чем меньше у них еды, тем больше bambini, а им все мало! Вот я и думаю, что их художники тоже были большими любителями bambini, как все итальянцы. Не знаю, те ли именно, кого вы назвали, и поэтому о них разговор особый, да вы меня и поправите, если я что скажу не так. Но мне лично сдается, что все эти мадонны — а я их, ей-богу, навидался досыта,— или, вернее сказать, все эти художники, которые только и знали, что рисовать мадонн... у всех у них только и было на уме что bambini... не знаю, поймете вы меня или нет...

— Не надо забывать, что им приходилось писать на одни только религиозные сюжеты.

— Это конечно, господин полковник. Значит, вы считаете, что взгляд мой правильный?

— Пожалуй. Только дело тут обстоит сложнее.

— Понятно, господин полковник. Взгляд мой на это дело еще не вполне окончательный.

— А у вас есть еще какие-нибудь взгляды насчет искусства, Джексон?

— Нет, господин полковник. Пока что я додумался только насчет bambini. Но чего бы мне хотелось — это чтобы они покрасивей нарисовали ту горную местность вокруг Кортины.

— Там родина Тициана,— сказал полковник.— Так, по крайней мере, считают. Я спускался в долину и видел дом, где, как говорят, он появился на свет,

— Шикарное место, господин полковник?

— Не очень.

— Ну что ж, если он рисовал картины с тех гор,— там такие скалы, ну прямо в цвет заката, сосны, кругом снег и остроконечные шпили...

— Campanile,— сказал полковник.— Такие, как там, впереди, в Чеджии. Колокольни.

— Ну что ж, если он в самом деле красиво срисовал картины с той местности, я бы не прочь у него даже парочку купить.

— Он замечательно писал женщин,— сказал полковник.

— Вот если бы я держал кабак, или трактир, или

---

[1] Дети *(итал.)*.

постоялый двор, тогда мне пригодилась бы и женщина,— сказал шофер.— Но не дай бог я привезу домой картину с женщиной — моя старуха мне покажет! Костей не соберешь.

— Вы могли бы подарить картину местному музею.

— Господи, да что там у нас в музее? Наконечники стрел, боевые уборы из перьев, ножи для снимания скальпов, разные скальпы, рыбьи окаменелости, трубка мира, фотографии Пожирателя Печенки Джонстона и шкура какого-то проходимца — его сперва повесили, а потом какой-то доктор содрал с него шкуру. Картина с женщиной там уже совсем некстати.

— Видите campanile по ту сторону равнины?— спросил полковник.— Я вам покажу место, где мы воевали, когда я был мальчишкой.

— Вы разве и тут воевали, господин полковник?

— Да.

— А у кого в ту войну был Триест?

— У фрицев. Точнее говоря, у австрияков.

— Но мы его все же у них забрали?

— Только потом, когда кончилась война.

— А у кого были Флоренция и Рим?

— У нас.

— Ну что ж, тогда вам плакать было не о чем.

— «Господин полковник»,— мягко добавил тот.

— Простите, господин полковник,— пробормотал шофер.— Я был в Тридцать шестой дивизии, господин полковник.

— Я видел у вас нашивку.

— Я как раз вспомнил Рапидо, господин полковник, а вовсе не хотел быть нахальным или грубить начальству.

— Верю,— сказал полковник.— Вы просто вспомнили Рапидо. Но, имейте в виду, Джексон, у всякого, кто долго воевал, было свое Рапидо и даже не одно.

— Ну, больше одного я бы не вынес, господин полковник.

Машина въехала в веселый городок Сан-Дона-ди-Пьяве. Его заново отстроили, но он от этого не стал уродливее любого городка Центрального Запада США. «Он выглядит таким процветающим,— думал полковник,— а Фоссальта чуть выше по реке — такой нищей и унылой. Неужели Фоссальта так и не оправилась после первой войны? Но я ведь не видел ее до того, как ее разбомбили,— подумал он.— Город здорово обстрели-

вали перед большим наступлением пятнадцатого июня тысяча девятьсот восемнадцатого года. А потом и мы по нему били, перед тем как взять обратно». Он вспоминал, как началась атака — от Монастье, через Форначе. В этот зимний день он вспоминал о том, что случилось в то лето.

Несколько недель назад он проезжал через Фоссальту и спустился к реке на то место, где его когда-то ранило. Место нетрудно было найти — это была излучина; там, где когда-то стояли тяжелые пулеметы, воронка густо заросла травой. Козы или овцы выщипали траву, и впадина стала похожа на выемку для игры в гольф. Река текла медленно, она была мутно-синяя и заросла по берегам камышом; пользуясь тем, что кругом ни души, полковник присел на корточки и, глядя за реку с того берега, где раньше нельзя было днем и головы поднять, облегчился на том самом месте, где, по его расчетам, он был тяжело ранен тридцать лет назад.

— Не бог весть какое достижение,— сказал он реке и берегу, напоенным осенней тишиной и сыростью после обильных дождей.— Но зато лично мое.

Он встал и огляделся. Вокруг никого не было; машину он оставил на дороге перед крайним и самым унылым из новых домов Фоссальты.

— А теперь я дострою памятник,— сказал он, хотя слышать его могли одни мертвецы, и вынул из кармана старый золингенский нож, какие носят немецкие браконьеры. Нож щелкнул; повертев им, он выкопал в сырой земле аккуратную ямку. Обтерев нож о правый сапог, он сунул в ямку коричневую бумажку в десять тысяч лир, притоптал ямку и прикрыл дерном.

— Двадцать лет по пятьсот лир в год за Medaglia d'Argento al Valore Militare[1]. За Крест Виктории, если не ошибаюсь, платят десять гиней. Медаль «За отличную службу» не дает ни гроша. Серебряная Звезда тоже. Ладно, сдачу я оставлю себе.

«Вот, теперь все в порядке,— думал он.— Дерьмо, деньги и кровь; погляди только, как растет здесь трава; а в земле ведь железо, и нога Джино, и обе ноги Рандольфо, и моя правая коленная чашечка! Прекрасный памятник! В нем есть все — залог плодородия, деньги, кровь и железо. Чем не держава? А где плодородная земля, деньги, кровь и железо — там родина. Но нам ну-

[1] Серебряная медаль за военную доблесть *(итал.)*.

жен еще и уголь. Надо достать немножко угля». Потом он посмотрел за реку, на вновь отстроенный белый дом, который тогда был грудой развалин, и плюнул в реку. Он стоял далеко от воды и доплюнул с трудом.

— Я никак не мог сплюнуть в ту ночь и долго еще после этого,— сказал он.— Но теперь я неплохо плююсь для человека, который не жует резинку.

— Он медленно пошел назад, к машине. Шофер спал.

— А ну-ка, проснитесь,— сказал он.— Разворачивайтесь, поедем по той дороге на Тревизо. В этих местах карта нам не нужна. Я скажу, где свернуть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Теперь, по пути в Венецию, он держал себя в руках и старался не думать о том, как сильно его туда тянет, а большой «бьюик» миновал тем временем последние строения Сан-Дона и въехал на мост через Пьяве.

Они пересекли реку и очутились на итальянской стороне; он снова увидел старую дорогу с высокими откосами. Как и всюду вдоль реки, она была здесь ровная и однообразная. Но глаз его различал старые окопы. По обе стороны прямой, гладкой дороги, по которой они катили на полной скорости, текли обсаженные ивами каналы; когда-то в них плавали трупы. Наступление окончилось страшной бойней, солнце припекало, и, чтобы расчистить позиции у реки и дорогу, кто-то приказал сбросить трупы в каналы. К несчастью, шлюзы в низовьях все еще находились в руках австрийцев и были на запоре.

Вода стояла почти без движения, и мертвые — их и наши — запрудили каналы надолго, плавая лицом кверху или лицом книзу, пучась, раздуваясь и достигая чудовищных размеров. В конце концов, когда все поуспокоилось, рабочие команды стали по ночам вылавливать трупы и хоронить их у самой дороги. Полковник посмотрел, не видно ли на обочинах особенно пышной растительности, но ничего не заметил. А в каналах плавали утки и гуси, и вдоль всей дороги люди удили рыбу.

«Да ведь их же всех вырыли,— подумал полковник,— и похоронили на том большом ossario[1] под Нервесой».

— Мы воевали тут, когда я был мальчишкой,— сказал полковник шоферу.

[1] Кладбище (*итал.*).

— Чертовски ровная местность, воевать здесь худо,— ответил шофер.— А реку держали вы?

— Да,— сказал полковник.— Мы держали ее, теряли и брали снова.

— Куда ни посмотришь, негде укрыться.

— В том-то и беда,— сказал полковник.— Приходилось цепляться за малейший бугорок, который не сразу и увидишь. За любую канаву, дом, откос на берегу канала, живую изгородь. Совсем как в Нормандии, только здесь еще ровнее. Наверно, так воевали в Голландии.

— Да уж этой реке далеко до Рапидо.

— Тогда это была совсем неплохая речка,— сказал полковник.— Пока не построили все эти гидростанции, в верховьях воды было много. А когда она мелела, среди гальки вдруг открывались омуты, глубокие и коварные. Было там одно место — Граве-де-Пападополи,— вот где было особенно паршиво.

Он знал, что о чужой войне слушать очень скучно, и замолчал. «Каждый смотрит на войну со своей колокольни,— подумал он.— Никто не интересуется войной отвлеченно, кроме разве настоящих солдат, а их немного. Вот готовишь солдат, а лучших из них убивают. И потом, каждый так занят своими делами, что ничего не видит и не слышит. Думает только о том, что сам пережил, и, пока ты говоришь, прикидывает, как бы похитрее ответить и добиться повышения или каких-нибудь выгод. Зачем же надоедать этому парню, который, несмотря на свою нашивку фронтовика, медаль за ранение и другие побрякушки, вовсе не солдат; на него против воли напялили военную форму, а теперь он, видно, решил остаться в армии по каким-то соображениям».

— Чем вы занимались до войны, Джексон?— спросил полковник.

— Мы с братом держали гараж в Ролинсе, штат Вайоминг.

— Собираетесь туда вернуться?

— Брата убили на Тихом, а парень, на которого мы оставили гараж, оказался бездельником,— сказал шофер.— Мы потеряли все, что туда вложили.

— Обидно,— сказал полковник.

— Еще бы, черт его дери, не обидно,— сказал водитель и добавил:— ...господин полковник.

Полковник поглядел вперед, на дорогу.

Он знал, что скоро будет перекресток, которого он ждал и никак не мог дождаться.

— Глядите в оба и на первом развилке сверните влево, на проселок,— сказал он шоферу.

— А вы уверены, что наша машина пройдет по этой низине?

— Посмотрим,— сказал полковник.— Какого черта, ведь дождей не было уже три недели.

— Что-то я не больно доверяю здешним проселкам. Кругом болота.

— Если мы застрянем, волы нас вытащат.

— Да я ведь беспокоюсь только о машине.

— А вы побеспокойтесь лучше о том, что я сказал, и сверните влево на первый же проселок, если он будет выглядеть мало-мальски сносно.

— Вот, видно, и он, там, где изгородь,— сказал шофер.

— За нами дорога пустая. Остановитесь у самого развилка, а я выйду погляжу.

Он вылез из машины, перешел на другую сторону широкого асфальтированного шоссе и посмотрел на узкую грунтовую дорогу, на быстрое течение идущего вдоль нее канала и густую живую изгородь на том берегу. За изгородью виднелся приземистый красный крестьянский дом с большим амбаром. Дорога была сухая. Даже телеги не выбили на ней колеи. Он вернулся к машине.

— Бульвар, а не дорога,— сказал он.— Можете не беспокоиться.

— Слушаюсь, господин полковник. Машина-то ведь ваша.

— Верно,— сказал полковник.— Я еще до сих пор за нее не расплатился. Скажите, Джексон, вы всегда так переживаете, когда сворачиваете с шоссе на проселок?

— Нет, господин полковник. Но ведь одно дело «виллис», а другое — машина с такой низкой посадкой, как эта. Вы же знаете, господин полковник, она может сесть на дифер. Можно и раму повредить.

— У меня в багажнике лопата и цепи. Вот когда выедем из Венеции, там действительно будет о чем беспокоиться.

— А мы поедем и дальше на этой машине?

— Не знаю. Посмотрим.

— Подумайте о крыльях, господин полковник.

— На худой конец подрежем крылья, как это делают индейцы в Оклахоме. Крылья у нее чересчур большие. Все у нее больше, чем надо, кроме мотора. Мотор у нее,

Джексон, настоящий.

— Еще бы, господин полковник. Вести такую мощную машину по хорошему шоссе — одно удовольствие. Вот я и не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось.

— Это вы молодец, Джексон. Ну, а теперь бросьте переживать.

— Я не переживаю, господин полковник.

— Вот и отлично,— сказал полковник.

Сам он забыл обо всем, потому что как раз в эту минуту увидел парус, который мелькал впереди, за купой коричневых деревьев. Это был красный парус, косо и круто уходивший вниз; он медленно плыл за деревьями.

«Почему всегда сжимается сердце, когда видишь, как вдоль берега движется парус?— подумал полковник.— Почему у меня сжимается сердце, когда я вижу больших, неторопливых светлых быков? Дело, верно, в их поступи, во всем их виде, величине и окраске.

Но меня трогают и красивый крупный мул, и цепочка холеных вьючных мулов. И койот, всякий раз, когда я его вижу, и волк, который движется иначе, чем все другие звери, серый и такой уверенный в себе, гордо несущий свою тяжелую голову с недобрыми глазами».

— Вы когда-нибудь видели волков в окрестностях Ролинса, Джексон?

— Нет, господин полковник. С волками покончили, когда меня еще не было на свете; их всех потравили. Зато койотов у нас сколько угодно.

— Вам нравятся койоты?

— Я люблю слушать их по ночам.

— Я тоже. Больше всего на свете. Да еще — смотреть на парусные лодки, плывущие между берегов.

— Вот как раз идет такая лодка, господин полковник.

— По каналу Силе,— сообщил полковник.— Этот парусник плывет в Венецию. Ветер дует с гор, и лодка идет довольно быстро. Если ветер не стихнет, ночью подморозит, и уток будет видимо-невидимо. Сверните-ка налево и поезжайте вдоль канала. Дорога тут хорошая.

— В наших местах редко охотятся на уток. А вот в Небраске на реке Платт уток сколько угодно.

— Хотите поохотиться там, куда мы едем?

— Пожалуй, не стоит. Стрелок я неважный, лучше поваляюсь подольше. У меня ведь спальный мешок с собой. Утро-то будет воскресное.

— Это верно,— сказал полковник.— Можете валять-

ся хоть до полудня.

— Я захватил порошок от клопов. Сосну как следует.

— Порошок, пожалуй, не понадобится,— сказал полковник.— А вы консервов из пайка захватили? Еда ведь будет только итальянская.

— Как же, запасся. И самим хватит, и других угостить сможем.

— Вот и отлично,— сказал полковник.

Теперь он смотрел вперед: дорога, бежавшая вдоль канала, снова должна была выйти на шоссе. Он знал, что в такой ясный день, как сегодня, с развилка все будет видно. На болотах, бурых, как болота зимой в устье Миссисипи, вокруг Пайлоттауна, резкие порывы северного ветра пригибали к земле тростник; а вдали была видна квадратная башня церкви в Торчелло и высокая campanile в Бурано. Море было синевато-серым, как сланец, и он насчитал двенадцать парусников, плывущих по ветру в Венецию.

«Придется подождать. Когда переедем мост через Дезе под Ногерой,— сказал он себе,— все будет видно как на ладони. Подумать только,— целую зиму мы защищали этот город тут, на канале, и ни разу его не видели. Но однажды я был в тылу, у самой Ногеры, день стоял холодный и ясный, как сегодня, и я впервые его увидел на той стороне залива. Но так туда и не попал. А все же это мой город — я воевал за него еще мальчишкой, а теперь, когда мне полвека от роду, они знают, что я за него воевал, и я для них желанный гость.

Ты думаешь, что ты поэтому для них желанный гость?— спросил он себя.

Может быть. А может быть, потому, что ты штабное начальство из армии победителей. Хотя вряд ли. Надеюсь, что нет. Это ведь тебе не Франция,— подумал он.

Там ты дерешься за какой-нибудь город, который тебе дорог, и дрожишь, как бы чего в нем не попортить, а потом, если только у тебя есть голова на плечах, ты и носа туда больше не покажешь: непременно напорешься на какого-нибудь вояку, который тебе не простил, что ты брал этот город. Vive la France et les pommes de terre frites. Leberté, Vénalité et Stupidifé [1]. Уж эта мне великая clarté [2] французской военной мысли! Не было у

---

[1] Да здравствует Франция и жареная картошка, Свобода, Продажность и Глупость! *(франц.)*

[2] Ясность *(франц.)*.

них ни одного военного мыслителя со времен дю Пика. Да и тот был несчастным полковником, вроде меня. Манжен, Мажино и Гамелен. Выбирайте по своему вкусу, господа! Три школы военной мысли. Первая: дам-ка я им в морду. Вторая: спрячусь за эту штуковину, хоть она у меня и левого фланга не прикрывает. Третья: суну голову в песок, как страус, и понадеюсь на военную мощь Франции, а потом пущусь наутек.

Пуститься наутек — это еще деликатно сказано. Впрочем,— подумал он,— справедливости ради не стоит слишком упрощать. Вспомни хороших ребят из Сопротивления, вспомни Фоша — он ведь и воевал, и сколачивал армию: вспомни, как прекрасно держались люди. Вспомни добрых друзей и вспомни погибших. Вспомни многое, еще разок вспомни самых лучших друзей и самых лучших ребят, которых ты знал. Не злись и не валяй дурака. И нечего тебе капать на солдатское ремесло. Хватит,— сказал он себе.— Ты ведь поехал развлекаться».

— Джексон,— сказал он,— вам здесь нравится?

— Да, господин полковник.

— Отлично. Сейчас мы подъедем к одному месту, которое я хочу вам показать. Вы на него только разок поглядите, и все. Вся операция пройдет для вас совершенно безболезненно.

«Чего это он на меня взъелся?— подумал шофер.— Вот воображает! Конечно, был важной шишкой! Но хороший генерал генералом бы и остался. Видно, его на войне так исколошматили, что даже мозги вышибли».

— Вот посмотрите, Джексон,— сказал полковник.— Поставьте машину на обочину и давайте поглядим отсюда.

Полковник и шофер перешли через дорогу и посмотрели на другую сторону лагуны,— воду ее хлестал резкий холодный ветер с гор, и контуры строений казались четкими, как на чертеже.

— Прямо перед нами Торчелло,— показал полковник.— Там жили люди, согнанные с материка вестготами. Они-то и построили вон ту церковь с квадратной башней. Когда-то тут жило тридцать тысяч человек; они построили церковь, чтобы почитать своего бога и воздавать ему хвалу. Потом, после того как ее построили, устье реки Силе занесло илом, а может, сильное наводнение погнало воду по новому руслу; всю эту землю, по которой мы сейчас ехали, затопило, расплодились москиты, и люди стали болеть малярией. Они мерли, как

мухи. Тогда собрались старейшины и решили переселиться в здоровую местность, которую можно оборонять с моря и куда вестготы, ломбардцы и прочие разбойники не смогут добраться, потому что у этих разбойников нет морских судов. А ребята из Торчелло все были отличными моряками. Вот они и разобрали свои дома, камни погрузили на барки, вроде той, какую мы сейчас видели, и выстроили Венецию.

Он замолчал.

— Вам не скучно это слушать, Джексон?

— Нет, господин полковник. Я и понятия не имел, кто пришел сюда первый, вроде как наши пионеры.

— Люди из Торчелло. Это были лихие ребята, и строили они хорошо, с большим вкусом. Они вышли из деревушки Каорле, там, выше по побережью, а во время нашествия вестготов к ним сбежалось все население окрестных городов и сел. И один парень, который возил оружие в Александрию, нашел там тело святого Марка и вывез его, спрятав под свиными тушами, чтобы мусульманские таможенники не нашли. Он тоже был из Торчелло. Этот парень привез тело в Венецию, и теперь святой Марк — их покровитель, и они построили ему собор. Но к тому времени они уже торговали с далекими восточными странами, и архитектура у них стала, на мой взгляд, слишком византийской. Никогда они не строили лучше, чем в самом начале, в Торчелло. Вот оно, Торчелло.

— А площадь Святого Марка — это там, где много голубей и где стоит громадный собор, вроде шикарного кинотеатра?

— Вот именно, Джексон. Это вы точно подметили. Все ведь зависит от того, как на что посмотреть. А теперь поглядите туда, за Торчелло, видите ту красивую campanile, на Бурано? У нее почти такой же наклон, как у падающей башни в Пизе. Бурано — густонаселенный островок, женщины там плетут прекрасные кружева, а мужчины делают bambini; днем они работают на стекольных заводах вот на том островке, по соседству с другой campanile, это — Мурано. Днем они делают прекрасное стекло для богачей всего мира, а потом возвращаются домой на маленьком vaporetto[1] и делают bambini. Однако не все проводят каждую ночь в постели с женой. По ночам они еще охотятся на уток по кромке

[1] Пароходик (*итал.*).

болот в этой лагуне; они охотятся на плоскодонках, с длинными ружьями. В лунную ночь выстрелы слышны до самого утра.

Он умолк.

— А там, за Мурано,— Венеция. Это мой город. Я бы мог еще много вам тут показать, да, пожалуй, пора ехать. Но вы все же взгляните еще раз хорошенько. Отсюда все видно, и можно понять, как родился этот город. Только никто с этого места на него не смотрит.

— Вид очень красивый. Спасибо, господин полковник.

— Ладно,— сказал полковник.— Поехали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Но сам он продолжал смотреть, и город казался ему таким же прекрасным и волновал ничуть не меньше, чем тогда, когда ему было восемнадцать и он увидел его впервые, ничего в нем не понял и только почувствовал, как это красиво. Зима в тот год стояла холодная и горы за равниной совсем побелели. Австрийцам надо было во что бы то ни стало прорваться в том месте, где река Силе и старое русло Пьяве создавали естественную преграду.

Если удерживаешь старое русло Пьяве, в тылу остается Силе, за которую можно отступить, когда прорвут первую линию обороны. За Силе не было уже ничего, кроме голой, как плешь, равнины и густой сети дорог; они вели в долины Венето и Ломбардии, и австрийцы всю зиму атаковали снова, снова и снова, чтобы выбраться на эту отличную дорогу, по которой машина катила теперь прямо в Венецию. В ту зиму у полковника — тогда он был лейтенантом и служил в иностранной армии, что потом всегда казалось чуть-чуть подозрительным в его собственной армии и порядком испортило его карьеру,— болело горло. Болело оно потому, что приходилось без конца торчать в воде. Обсушиться не удавалось при всем желании, и лучше было поскорее промокнуть до нитки да так и оставаться мокрым.

Австрийские атаки были плохо организованы, но шли одна за другой с необыкновенным упорством; сперва обрушивался артиллерийский огонь, который должен был подавить сопротивление, потом он прекращался, и можно было оглядеть свои позиции и сосчитать людей. Позаботиться о раненых было некогда: начиналась атака — и тогда убивали австрияков, которые наступали по

болоту, подняв над водой винтовки и бредя еле-еле, как только и можно брести по пояс в воде.

«Не знаю, что бы мы делали, если бы они не прекращали обстрела перед атакой,— часто думал полковник, бывший в то время лейтенантом.— Но перед самой атакой они всегда прекращали огонь и переносили его вглубь.

Если бы мы потеряли старое русло Пьяве и отошли к Силе, а противник перенес бы огонь на вторую и третью линии обороны, то и ту и другую невозможно было бы удержать, и тогда австрийцам следовало бы подтянуть всю артиллерию поближе и бить, не переставая, во время самой атаки, пока не прорвутся. Но слава богу,— думал полковник,— командует всегда какой-нибудь высокопоставленный оболтус, вот они и действовали непродуманно».

Всю ту зиму он тяжело болел ангиной и убивал людей, которые шли на него с гранатами, пристегнутыми к ремням портупеи, тяжелыми ранцами из телячьей кожи, в касках, похожих на котелок. Это был враг.

Но он никогда не питал к ним вражды, да и вообще каких бы то ни было чувств. Он командовал, обвязав горло старым носком, смоченным в скипидаре, и они отбивали атаки ружейным огнем и огнем пулеметов, которые оставались целы после очередного артиллерийского обстрела. Он учил своих людей стрелять — редкое в европейских войсках искусство, учил их глядеть в лицо наступающему врагу, и поскольку всегда выпадают минуты затишья, когда можно спокойно поучиться, они стали отличными стрелками.

Но после артиллерийского обстрела всякий раз приходилось считать — и считать быстро,— сколько у тебя стрелков. Его самого трижды ранило в ту зиму, но раны все были удачные — легкие ранения, не задевшие костей, и это внушило ему твердую веру в свое бессмертие,— ведь его давно должны были убить во время одного из ураганных обстрелов перед какой-нибудь атакой. В конце концов и ему попало как следует, на всю жизнь. Ни одна из его ран не оставила такого следа, как это первое тяжелое ранение. «Наверно,— думал он,— я тогда потерял веру в бессмертие. Что ж, в своем роде это немалая потеря».

Этот край был ему дорог, дороже, чем он мог или хотел кому-нибудь признаться, и теперь он был счастлив, что еще полчаса — и они будут в Венеции. Полков-

ник принял две таблетки нитроглицерина; он был мастер плеваться, только тогда, в восемнадцатом году, у него не хватало слюны, чтобы проглотить таблетку, ничем не запивая.

— Как дела, Джексон?— спросил он.

— Отлично, господин полковник.

— Сверните у развилка на Местре влево — мы увидим лодки на канале, да и движение там потише.

— Слушаюсь, господин полковник. Вы мне покажете этот развилок?

— Конечно,— сказал полковник.

Они быстро приближались к Местре, и он снова испытал то чувство, какое у него было, когда он впервые подъезжал к Нью-Йорку, а тот весь сверкал — белый и красивый. Тогда там еще не все было затянуто дымом. «Мы подъезжаем к моему городу,— думал он.— Господи, какой это город!»

Свернув влево, они поехали вдоль канала, где стояли у причалов рыбачьи лодки, и полковник наслаждался, глядя на коричневые сети, и плетеные садки, и строгую, красивую форму лодок. «Нет, живописными их не назовешь. Живописность — это дерьмо. Они просто дьявольски красивы».

Машина миновала длинную вереницу лодок; эти медленные воды канала текли из Бренты, и он вспомнил берег Бренты, где стоят знаменитые виллы с лужайками и садами, с платанами и кипарисами. «Вот если бы меня там похоронили,— думал он.— Я ведь так хорошо знаю те места. Но вряд ли это можно устроить. А впрочем, кто его знает. Найдутся же люди, которые дадут похоронить меня на своей земле. Спрошу у Альберто. Да нет, он еще решит, что я нытик».

Он уже давно подумывал о разных красивых местах, где бы ему хотелось быть похороненным, о тех краях, частью которых он хотел бы стать. «Смердишь и разлагаешься не так уж долго, зато станешь чем-то вроде навоза, даже кости и те пойдут в дело. Я бы хотел, чтобы меня похоронили где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но чтобы оттуда был виден милый старый дом и высокие тенистые деревья. Вряд ли это доставит им так уж много хлопот. Я бы смешался с той землей, где по вечерам играют дети, а по утрам, может быть, еще учат лошадей брать препятствия и их копыта глухо стучат по дерну, а в пруду прыгает форель, охотясь за мошками».

Теперь, от Местре, они ехали по мощеной дороге мимо уродливого завода Бреда, который с тем же успехом мог быть заводом Хэммонда в штате Индиана.

— А что они здесь делают, господин полковник?— спросил Джексон.

— В Милане эта фирма строит паровозы,— ответил полковник.— Тут они производят разные изделия из металла, всего понемножку.

Отсюда вид на Венецию был неказистый, полковник не любил эту дорогу; зато путь был намного короче и можно было поглядеть на каналы и бакены.

— Этот город сам себя кормит,— сказал он Джексону.— Когда-то Венеция была владычицей морей, народ здесь отчаянный, не боится ни бога, ни черта, такого больше нигде не встретишь. Люди здесь вежливые, но Венеция, если приглядишься, бедовое местечко — похуже Шайенна.

— Никогда бы не сказал, что Шайенн — бедовое местечко.

— Во всяком случае, более бедовое, чем Каспер.

— Вы думаете, господин полковник, что Каспер бедовый?

— Это нефтяной город. Славный город.

— Да, но бедовым я бы его не назвал. И прежде ничего бедового в нем не было.

— Ладно, Джексон. Может, мы с вами видим там разных людей. А может, называем одно и то же разными именами. Так или иначе, Венеция, где все на редкость вежливые и обходительные,— такое же бедовое местечко, как Кук-Сити в штате Монтана, когда старожилы в свой праздник напиваются до зеленого змия.

— Вот Мемфис — это, на мой взгляд, город бедовый.

— Далеко ему до Чикаго, Джексон. В Мемфисе беда одним только неграм. А в Чикаго — всем и каждому, он бедовый и с севера, и с юга, и с запада, а с востока там озеро. Да и люди там не очень-то вежливые. А вот тут, в Италии, если хотите узнать, что такое по-настоящему бедовое место, поезжайте в Болонью. И кормят там замечательно.

— Никогда там не был.

— Ну, вот и гараж, где мы поставим машину,— сказал полковник.— Ключ можете сдать в контору. Здесь не крадут. Я пока зайду в бар. И чемоданы здесь есть кому поднести.

— А ничего, что мы оставим в багажнике ваше ружье и снаряжение?

— Ничего. Здесь не крадут. Я ведь уже сказал.

— Я беспокоюсь о вашем имуществе, господин полковник. И хотел принять меры.

— Вы такой умник, что меня иногда просто тошнит,— сказал полковник.— Продуйте уши и слушайте, что вам говорят.

— Я слышал, господин полковник,— сказал Джексон. Полковник пристально на него посмотрел привычным уничтожающим взглядом.

«Вот сукин сын,—думал Джексон,— а ведь прикидывается таким милягой».

— Выньте наши чемоданы, поставьте машину вон там, проверьте горючее, воду и покрышки,— сказал полковник и направился по залитой бензином и маслом цементной дорожке прямо в бар.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В баре, за первым столиком у входа, сидел разбогатевший во время войны миланец, толстый, но жесткий, как камень,— таким бывают только миланцы,— и его роскошная, в высшей степени соблазнительная любовница. Они пили negroni — двойную порцию сладкого вермута с сельтерской, и полковник подумал: сколько же миланцу пришлось утаить налогов, чтобы заплатить за такую холеную даму в длинном норковом манто и за спортивную машину, которую шофер только что погнал по эстакаде в гараж? Парочка воззрилась на него, как и положено невоспитанным людям этой породы, и полковник небрежно отдал им честь.

— Простите, что я в военной форме,— сказал он по-итальянски.— Но, увы, это мундир, а не маскарадный костюм!

Не дожидаясь ответа, он повернулся к ним спиной и подошел к стойке. Оттуда можно было следить за своими вещами, как это делали pescecani [1].

«Он, наверно, commendatore [2],— подумал полковник.— А она — красивая бессердечная дрянь. Но чертовски красивая. А мог бы я, если бы у меня когда-нибудь были деньги, купить себе такую, как эта, и одеть ее в норку? Да пропади она пропадом! Хватит мне и того, что у меня есть».

[1] Крупные дельцы *(итал.)*.
[2] Здесь: воротила *(итал.)*.

Бармен пожал ему руку. Он был анархист, но не осуждал полковника за то, что тот — полковник. Наоборот, его это даже грело, ему это льстило, словно теперь и у анархистов был свой полковник; за те несколько месяцев, что они были знакомы, у бармена возникло чувство, будто он сам выдумал этого полковника или по меньшей мере произвел его в чин; он гордился этим, словно построил какую-нибудь campanile или старинную церковь в Торчелло.

Бармен слышал разговор, вернее, замечание, которое полковник отпустил у столика, и был очень доволен.

Он уже послал подъемник за джином и кампари.

— Сейчас,— сказал он,— мне пришлют ваш джин. Как дела у вас в Триесте?

— Да примерно так, как вы их себе представляете.

— А я не очень-то хорошо их себе представляю.

— И не напрягайтесь,— сказал полковник.— Не то наживете геморрой.

— Не возражаю, если меня за это сделают полковником.

— Вот я и не возражал.

— Смотрите, чтобы вас не скрутило, как от слабительного!

— Только, ради бога, ничего не рассказывайте почтенному Паччарди,— сказал полковник.

Это была любимая шутка у них с барменом: досточтимый Паччарди занимал пост министра обороны Итальянской республики. Ему было столько же лет, сколько полковнику, он храбро сражался в первую мировую войну, воевал в Испании, где был командиром батальона, и полковник познакомился с ним, будучи там военным наблюдателем. Серьезность, с какой министр обороны относился к своим обязанностям в этой неспособной к обороне стране, смешила и полковника и бармена. Оба они были людьми практичными, и мысль о досточтимом Паччарди — защитнике Итальянской республики — их очень забавляла.

— Там у нас довольно весело,— сказал полковник.— Так что ничего, жить можно.

— Надо бы малость механизировать досточтимого Паччарди. Дайте ему атомную бомбу.

— Я везу в багажнике целых три. Последняя ручная модель с запасными частями. Его надо как следует вооружить. Снабдить хотя бы бактериями.

— Да, почтенного Паччарди мы не подведем!— ска-

зал бармен.— Лучше один час прожить львом, чем всю жизнь ягненком.

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях,— добавил полковник.— Впрочем, бывает и так, что мигом хлопнешься на брюхо, если хочешь выжить.

— Полковник, прекратите эти разговорчики.

— Мы задушим их голыми руками,— продолжал полковник.— Наутро под ружье встанет миллионная армия защитников родины!

— А кто им даст ружья?— спросил бармен.

— Все необходимые меры будут приняты. Это только первый этап грандиозного плана обороны!

Вошел шофер. Полковник отметил, что, пока они перебрасывались шутками, он перестал следить за дверью, а всякая потеря бдительности его злила.

— Какого дьявола вы там возитесь, Джексон? Хотите выпить?

— Нет, спасибо, господин полковник.

«Ах ты чертова ханжа!— подумал полковник.— Но хватит мне его шпынять»,— сказал он себе.

— Сейчас пойдем,— объяснил он шоферу.— Я тут учусь у моего приятеля говорить по-итальянски.

Он оглянулся на миланских спекулянтов, но их уже не было.

«Ты потерял быстроту реакции,— подумал он.— Смотри, еще попадешься кому-нибудь в лапы. Может, даже почтенному Паччарди».

— Сколько с меня?— сухо спросил он бармена.

Итальянец назвал сумму, поглядывая на него своими умными глазами; теперь они больше не смеялись, хотя от них по-прежнему разбегались веселые морщинки. «Надеюсь, что у него все в порядке,— думал бармен.— Дай бог, или кто там еще есть, чтобы с ним не стряслось никакой беды!»

— До свиданья, полковник,— сказал он.

— Ciao,— ответил полковник.— Джексон, мы сейчас пойдем по длинной эстакаде прямо на север, туда, где пришвартованы маленькие моторки. Их тут покрывают лаком. А вот и носильщик с нашими чемоданами. Придется дать ему отнести вещи, у них тут такое правило.

— Слушаюсь, господин полковник,— сказал Джексон.

Оба, не оглядываясь, вышли из бара.

На imbarcadera[1] полковник заплатил человеку, ко-

[1] Пристань (*итал.*).

торый поднес их чемоданы, и стал высматривать знакомого лодочника.

Он не узнал человека в первой моторке, но тот сказал:

— День добрый, полковник. Сейчас моя очередь.

— Сколько до «Гритти»?

— Вы же знаете не хуже моего, полковник! Мы не торгуемся. Такса у нас постоянная.

— Какая же это такса?

— Три тысячи пятьсот лир.

— Мы можем поехать на пароходике за шестьдесят.

— Вот и езжайте,— сказал пожилой лодочник с красным, но добродушным лицом.— До самого «Гритти» он вас не довезет, вы сойдете на imbarcadero за «Гарри» и можете позвонить оттуда, чтобы прислали за вашими чемоданами.

«Что я куплю на дерьмовые три с половиной тысячи? А он славный старик...»

— Хотите, я пошлю с вами вон того человека?— Лодочник показал на дряхлого старика, которого на пристани гоняли по всяким поручениям; он всегда был готов оказать непрошеную помощь — подсадить или ссадить под локоток пассажира, который в этом совсем не нуждался,— а потом с поклонами стоял, протягивая старую фетровую шляпу.— Он сведет вас на пароходик. Следующий отходит через двадцать минут.

— Черт с ним,— сказал полковник.— Отвезите нас сами до «Гритти».

— Con piacere[1].

Полковник и Джексон спустились в лодку, похожую на гоночный катер. Она сияла лаком, была любовно надраена и оснащена крошечным двигателем «фиат»— он явно отслужил свой век на машине какого-нибудь провинциального доктора, был куплен на свалке автомобильного старья (что-что, а эти кладбища механических ископаемых теперь найдешь возле любого населенного пункта!), переделан и переоборудован для новой жизни на каналах Венеции.

— Мотор хорошо работает?— спросил полковник. Он слышал, как мотор чихает, словно подбитый танк или самоходное орудие, только звук был гораздо слабее, потому что силенок у него было меньше.

— Да так себе,—признался лодочник, помахав свободной рукой.

[1] С удовольствием *(итал.)*.

— Вам бы надо достать маленькую модель «универсал». Самый надежный и самый легкий морской двигатель, какой я знаю.

— Мало ли что мне надо достать!— сказал лодочник.

— Может, год выдастся хороший.

— Дай-то бог. Из Милана на Лидо приезжает много pescecani играть в рулетку. Но разве кто захочет сесть в эту лодку во второй раз? А лодка хорошая. Прочная, удобная. Конечно, нет у нее такой красоты, как у гондолы. Но ей нужен мотор.

— Постараюсь достать вам мотор с «виллиса». Из тех, что были списаны,— вы сможете его перебрать?

— Чего зря болтать?— сказал лодочник.— Разве это возможно? Я и думать об этом не хочу.

— Почему же?— сказал полковник.— Я знаю, что говорю.

— И не шутите?

— Нисколько. Правда, голову наотрез не дам. Но постараюсь. У вас много детей?

— Шестеро. Два мальчика и четыре девочки.

— Видно, вы не очень-то верили в фашистскую власть. Всего шестеро!

— А я и не верил.

— Вы мне голову не морочьте,— сказал полковник.— Ничего удивительного, если вы в нее верили. Думаете, теперь, когда мы победили, я вас стану этим попрекать?

«Ну вот мы и проехали самую унылую часть канала,— она тянется от Пьяццале-Рома до Ка'Фоскари; впрочем, и тут нет ничего унылого»,— подумал полковник. Нельзя же, чтобы повсюду были одни дворцы и церкви. А вот здесь уж никак не уныло! Он поглядел направо — по правому борту, поправил он себя. Ведь мы на судне! Они плыли мимо длинного, низкого приветливого здания; рядом с ним стояла траттория.

«Эх, хорошо бы здесь поселиться! Пенсии мне вполне хватит. Конечно, не в «Гритти-палас». Снять бы комнату в доме вроде этого и смотреть на приливы, отливы и проплывающие мимо лодки. По утрам читать, до обеда гулять по городу, каждый день ходить в Academia смотреть на Тинторетто и в Scuola San-Rocco, есть в хороших дешевых ресторанчиках за рынком, а вечером хозяйка, может, и сама сготовит что-нибудь на ужин.

Обедать лучше не дома, чтобы и после обеда можно

было пройтись. В этом городе хорошо гулять. Наверно, лучше, чем где бы то ни было. Когда бы я тут ни бродил, мне всегда бывает приятно. Я бы мог как следует его изучить, и тогда мне будет еще интереснее.

Какая она путаная, эта Венеция,— искать тут какое-нибудь место куда занятнее, чем решать кроссворды. Да, мы мало чем можем похвастаться, но вот ее мы, слава богу, ни разу не бомбили. А им делает честь, что и они отнеслись к ней с уважением.

Господи, как я ее люблю,— думал он,— я рад, что помогал ее защищать, когда был еще совсем сопляком, и плохо знал язык, и даже толком ее не видел до того ясного зимнего дня, когда пошел в тыл, чтобы перевязать пустяковую рану, и вдруг увидел, как она встает из моря. Черт возьми,— думал он,— а мы ведь неплохо дрались той зимой возле перекрестка.

Жаль, что нельзя перевоевать ту войну сначала,— думал он.— С моим опытом и с тем, что у нас сейчас есть. Но и у них теперь всего не меньше, а трудности — те же, если нет превосходства в воздухе».

Раздумывая об этом, он смотрел, как крутой нос сверкающей лаком, изящно отделанной медью лодки — медные части ее сияли — резал бурую воду и ловко обходил препятствия.

Они прошли под белым мостом и под еще не достроенным деревянным мостом. Красный мост они оставили справа и миновали первый высокий белый мост. За ним показался черный ажурный мост из чугуна на канале, ведущем к Рио-Нуово, и они миновали два столба, скованные цепью, но не касавшиеся друг друга,— совсем как мы с ней, подумал полковник. Он смотрел, как вырывает столбы прибой и как глубоко врезались в дерево цепи с той поры, когда он первый раз их увидел. «Совсем как мы,— думал он.— Это памятник нам. Сколько же памятников стоит нам в каналах этого города!»

Они шли медленно, пока не добрались до громадного фонаря по правую руку от входа в Большой канал; там мотор стал издавать металлические хрипы, от которых скорость чуть-чуть увеличилась.

Дальше они поплыли под зданием Academia, между сваями, и чуть было не столкнулись с черным дизелем, тяжело груженным пиленым лесом. Бруски эти шли на отопление сырых домов Морского Града.

— Это береза, правда?— спросил полковник у лодочника.

— Береза и какое-то другое дерево, подешевле, не припомню, как оно называется.

— Береза для камина все равно, что антрацит для плиты. А где они рубят эту березу?

— Я в горах не жил. Но, по-моему, ее привозят из-за Бассано, с дальнего склона Граппы. Я как-то ездил на Граппу поглядеть, где похоронен мой брат. Из Бассано мы поехали с экскурсией на большое ossario. А возвращались через Фельтре. И когда мы спускались в долину, я видел, что другой склон покрыт лесом. Ехали мы по военной дороге, и оттуда-то везли много дров.

— В каком году убили вашего брата на Граппе?

— В восемнадцатом. Он был патриот, и уж очень зажгли его речи д'Аннунцио. Пошел добровольцем, хотя его год еще не призвали. Мы и привыкнуть толком к нему не успели, больно быстро он от нас ушел.

— А сколько вас было братьев?

— Шестеро. Двоих убили за Изонцей, одного — на Баинзицце и одного у Карста. Потом на Граппе мы потеряли того брата, о котором я говорю, и я остался один.

— Я достану вам этот проклятый «виллис» со всеми потрохами,— сказал полковник.— А пока что не будем думать о мертвых, давайте лучше посмотрим, где живут мои друзья.

Они плыли по Большому каналу, и здесь было хорошо видно, где живут его друзья.

— Вот дом графини Дандоло,— показал полковник.

Он, правда, не сказал вслух, а только подумал: ей ведь уже за восемьдесят, а она все еще живая, как девчонка, и совсем не боится смерти. Волосы красит в ярко-рыжий цвет, и ей это очень к лицу. С ней всегда весело, она прелестная женщина.

И палаццо у нее удобный; стоит в глубине, перед ним сад с собственным причалом, куда в разные времена приставало множество гондол и высаживались самые разные люди: веселые, добродушные, грустные и потерявшие веру в жизнь. Но главным образом веселые — ведь они ехали в гости к графине Дандоло.

Лодка с трудом двигалась по каналу навстречу холодному ветру с гор, и он наслаждался древней магией города и его красотой; очертания домов были четки и рельефны, как в зимний день, а день и в самом деле был зимний. Но для полковника прелесть была еще и в том, что он знал многих обитателей этих палаццо, а если там сейчас никто и не жил, знал судьбу этих зданий.

«Вот дом матери Альварито»,— подумал он, но промолчал.

Она здесь теперь почти не живет и редко выезжает из имения возле Тревизо, где растет много деревьев. Ее угнетает, что в Венеции совсем нет деревьев. Она потеряла хорошего мужа, и теперь ее мало что интересует, кроме хозяйства.

В свое время ее семья уступила этот дом Джорджу Гордону, лорду Байрону, и в его кровати с тех пор никто не спит; не спят и в другой кровати, двумя этажами ниже, где он проводил ночи с женой гондольера. И не потому, что кровати эти — святыня или реликвия. Это просто лишние кровати, которыми не пользуются по разным причинам, а может, из уважения к лорду Байрону, которого тут, в городе, очень любили, несмотря на все его ошибки. Тут, видно, надо быть парнем бедовым, чтобы тебя полюбили. Они ведь так и не признали ни Роберта Браунинга, ни госпожу Браунинг, ни их собаку. Эти трое так и не стали венецианцами, что бы там мистер Браунинг об этом ни писал. «А что значит «бедовый»?— спросил себя полковник.— Я так часто употребляю это слово, что должен бы знать его смысл. Сорвиголова? Скорее, тот, кто умеет все поставить на карту и не выйдет из игры, сколько бы ни проиграл. Или просто тот, кто готов играть до конца. И речь идет отнюдь не о театре,— думал он.— Как бы я ни любил театр».

«Так ли?»— подумал он, увидев маленькую виллу над самой водой, ничуть не менее уродливую, чем любой домишко в предместье Парижа, который видишь из окна поезда по дороге на Гавра или Шербура. Вокруг виллы густо росли плохо ухоженные деревья, и по доброй воле вы бы там жить не стали. Но там жил *он*.

«А вот его любили за талант, за пороки и за смелость. Нищий еврейский мальчик, он покорил страну своим талантом и своим красноречием. Я не встречал человека более жалкого и более подленького. Но тот, с кем я мог бы его сравнить, не рисковал всем, что у него было, и сам не воевал, а Габриэле д'Аннунцио (интересно, как его звали на самом деле, кому могут дать имя д'Аннунцио [1] в такой земной стране, как эта; может, он и не был евреем, да и какая разница, был он им или не был) перепробовал разные роды войск, так же как перепробовал любовь разных женщин».

---

[1] Благовест *(итал.)*.

Ни один род войск не утруждал его службой, походы его были молниеносны, он всегда выходил сухим из воды. Полковник помнил, как д'Аннунцио потерял глаз, когда разбился самолет, на котором он летал не то над Триестом, не то над Пулой, и как он потом всегда носил черную повязку, а люди, не знавшие, где это произошло, ибо тогда этого еще никто как следует не знал, думали, что глаз ему выбили под Велики, или Сан-Микеле, или еще в каком-нибудь злосчастном месте по ту сторону Карста, где все либо полегли, либо стали калеками. Для д'Аннунцио война была только воинственной жестикуляцией. У пехотинца свое особое ремесло, не похожее на другие. Габриэле летал, но он не был летчиком. Он служил в пехоте, но не был пехотинцем, он и там соблюдал одну видимость.

И полковник вспомнил, как однажды, когда он командовал взводом первого эшелона, а погода стояла дождливая, как всегда в те бесконечные зимы или, уж во всяком случае, во время всех парадов или военных смотров, д'Аннунцио, с черной повязкой вместо глаза и мучнисто-белым лицом, белым, как брюхо у камбалы, только что перевернутой на сковороде, сырой стороной кверху, и с таким видом, будто он уже вторые сутки мертвый, кричал им: «Morire non é basta!»[1]— и полковник, бывший тогда лейтенантом, подумал: «Какого рожна им от нас еще надо?»

Он слушал речь и в конце, когда подполковник д'Аннунцио, писатель и национальный герой, явный и патентованный, раз уж нужны герои — а полковник в героев не верил,— попросил минуту помолчать в память о павших героях, лейтенант покорно вытянулся. Но взвод его, который не слышал речи, потому что тогда еще не было громкоговорителей, а ветер относил слова оратора в сторону, как только наступило молчание в честь павших героев, единодушно и раскатисто рявкнул: «Evviva d'Annunzio!»[2]

Д'Аннунцио не раз поздравлял их с победами и взывал к ним перед поражениями, и они знали, что им кричать, когда оратор делает паузу.

Полковник, который тогда был лейтенантом и любил свой взвод, крикнул вместе с ними, словно отдавая команду: «Evviva d'Annunzio!»— тем самым выгоражи-

---

[1] Умереть — это еще не все! *(итал.)*
[2] Да здравствует д'Аннунцио! *(итал.)*

вая тех, кто не слышал этого призыва, и пытаясь скромно, как и положено лейтенанту (если только речь не идет о защите безнадежной позиции или инициативе в бою), разделить с ними вину.

А вот теперь лодка проезжает мимо дома, где этот старый греховодник жил со своей актрисой — великой, печальной и не очень любимой, и полковник вспоминает ее поразительные пальцы и волшебно преображающееся лицо,— оно не было красивым, зато умело передать всю любовь, все величие, все восторги и всю боль на свете,— вспоминает, как легкий взмах ее руки надрывал ему сердце, и думает: «Господи, ведь оба они уже умерли, а я понятия не имею даже, где их похоронили. Но от души надеюсь, что в этом доме им все-таки бывало хорошо».

— Джексон,— сказал он.— Эта маленькая вилла слева принадлежала Габриэле д'Аннунцио. Он был великий писатель.

— Так точно, господин полковник,— сказал Джексон.— Спасибо, что вы мне сказали. Никогда о нем не слышал.

— Я вам скажу, что он написал, если вам захочется его прочесть. Он неплохо переведен на английский.

— Спасибо, господин полковник,— ответил Джексон.— С удовольствием почитаю, если будет время. Домик у него подходящий. Как, вы говорите, его фамилия?

— Д'Аннунцио,— сказал полковник,— писатель.

Он добавил мысленно, не желая путать Джексона и его стеснять, как делал уже сегодня не раз: писатель, поэт, национальный герой, фашистский фразер и полемист, эгоист и певец смерти, авиатор, полководец, участник первой атаки торпедных катеров, подполковник пехотных войск, толком не умевший командовать ротой и даже взводом, большой, прекрасный писатель, которого мы почитаем, автор «Notturno»[1] и хлюст.

Впереди, у Санта-Мария-дель-Джильо, был перекресток двух каналов, а за ним деревянный причал «Гритти».

— Вот и наша гостиница, Джексон.

Полковник показал на небольшой розоватый трехэтажный дворец, выходивший прямо на канал. Раньше это был филиал «Гранд-отеля», но теперь стал самостоятельной и очень хорошей гостиницей. В городе, где столько прекрасных отелей, это, пожалуй, самый луч-

[1] «Ноктюрн» *(итал.)*.

ший, если вы не любите, когда перед вами угодничают, заискивают и не дают вам самому шагу ступить.

— Местечко, по-моему, приличное,— сказал Джексон.

— Вполне приличное.

Моторная лодка с шиком подошла к деревянным сваям причала. «Каждое ее движение,— думал полковник,— это подвиг изношенного механизма. У нас теперь нет боевых коней, таких, как знаменитый Путник или как Лизетта генерала Марбо, воевавшая при Эйлау. Теперь мы почитаем стойкость изношенных рычагов, которые не выходят из строя, хотя давно имеют на это право».

— Причалили, господин полковник,— сказал Джексон.

— Конечно, причалили! А что нам еще делать? Ну-ка, прыгайте, а я расплачусь с этим гонщиком.

Повернувшись к лодочнику, он спросил:

— С меня ведь три с половиной тысячи, а?

— Так точно, полковник.

— Насчет списанного «виллиса» я не забуду. Получайте и купите своей лошадке овса.

Швейцар, который брал у Джексона чемоданы, засмеялся.

— Нет такого ветеринара, который возьмется вылечить его лошадь.

— Но она еще бегает!— сказал лодочник.

— А вот призов на скачках уже не берет. Как поживаете, полковник?

— Лучше не бывает. А как члены Ордена?

— Все в порядке.

— Хорошо,— сказал полковник.— Пойду повидаюсь с Гроссмейстером.

— Он вас ждет.

— Ждать мы его заставлять не можем. Джексон, пройдите в холл с этим джентльменом и попросите меня отметить. Позаботьтесь, чтобы сержанту дали комнату,— сказал он швейцару.— Мы только на одну ночь.

— Вас спрашивал барон Альварито.

— Я увижусь с ним у «Гарри».

— Хорошо, господин полковник.

— А где Гроссмейстер?

— Сейчас я его разыщу.

— Скажите, что я буду в баре.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Бар «Гритти» был сразу за холлом, хотя холл, подумал полковник, неподходящее слово для зала с таким благородством пропорций. Кажется, Джотто дал определение круга? Нет, это один математик. Из анекдотов о Джотто ему нравился вот какой: «Это так просто!»— сказал художник, начертив безукоризненный круг. Кто и где, черт побери, ему это рассказывал?

— Добрый вечер, Тайный Советник,— сказал он бармену; тот был только кандидатом в члены Ордена, но полковнику не хотелось его обижать.— Чем могу служить?

— Выпейте рюмочку, полковник.

Полковник поглядел через окна и стеклянную дверь на Большой канал. Он увидел высокий черный столб, к которому причаливают гондолы, и отсвет вечернего зимнего солнца на беспокойной от ветра воде. На той стороне стоял старинный дворец, а по каналу двигалась деревянная баржа, черная и широкая, разводя тупым носом волну, хотя ветер был попутный.

— Дайте мне сухого мартини,— сказал полковник.— Большую рюмку.

Тут вошел Гроссмейстер. На нем был фрак, как и положено метрдотелю. Он был по-настоящему, по-человечески красив — изнутри: улыбка его шла от самого сердца или от того, что зовут душой человека, а потом весело и открыто выходила на поверхность, то есть освещала лицо.

Лицо у него было лукавое, с длинным прямым носом, как у всех уроженцев этой части Венето, с добрыми, веселыми, правдивыми глазами и седыми волосами, приличествующими его возрасту,— он был на два года старше полковника.

Он подошел с сердечной улыбкой, хотя и с видом заговорщика — ведь у них было немало общих тайн,— и протянул свою руку, большую, сильную руку с длинными пальцами, холеную, как и подобало человеку в такой должности, а полковник протянул ему свою, дважды простреленную и чуть-чуть скрюченную. Так встретились два старожила Венето, двое мужчин, два брата из рода человеческого — единственного клуба, в который тот и другой платили взносы, братья в своей любви к этой древней стране, издавна бывшей яблоком раздора,

но победоносной даже в поражении, к стране, которую оба они защищали мальчишками.

Короткое рукопожатие, только чтобы ощутить близость и радость встречи; потом метрдотель сказал:

— Здравствуйте, полковник.

— Здравствуйте, Gran Maestro[1],— сказал полковник.

Полковник пригласил Gran Maestro выпить с ним рюмочку за компанию; метрдотель ответил, что он на работе. Пить на работе не полагается, да и запрещено.

— Ну их к разэтакой матери с их запрещениями,— сказал полковник.

— Само собой,— сказал Gran Maestro,— но обязанности свои надо выполнять, правила у нас разумные, их надо уважать, особенно мне, раз я должен подавать пример.

— Но вы же все-таки Gran Maestro!— сказал полковник.

— Ну что ж, дайте мне рюмочку Carpano punto e mezzo[2],— сказал Gran Maestro бармену, который все еще не был принят в Орден по какой-то пустяковой, неясной и скрытой причине.— Я выпью за Ordine[3].

Так, нарушая порядки и правила поведения старшего по званию, который должен служить примером, Gran Maestro и полковник опрокинули по рюмке. Они не торопились, и Gran Maestro был спокоен. Опрокинули по рюмке, и все тут.

— А теперь давайте обсудим дела Ордена,— сказал полковник.— Как, сессия у нас секретная?

— Да,— сказал Gran Maestro.— Я объявляю ее секретной.

— Давайте,— сказал полковник.

Орден, чистейший плод их фантазии, был основан во время бесед Gran Maestro с полковником. Он назывался El Orden Militar, Noble y Espirituoso de los Caballeros de Brusadelli[4]. И полковник и метрдотель говорили по-испански, а поскольку, если вы хотите основать Орден, этот язык самый подходящий, они им и воспользовались, присвоив своему Ордену имя известного миланского спекулянта-миллиардера, уклонявшегося от уплаты налогов; на бракоразводном процессе, во время спора из-за

[1] Гроссмейстер *(итал.)*.

[2] Название аперитива.

[3] Орден *(итал.)*.

[4] Военный, аристократический и духовный Орден кавалеров Брусаделли *(испанск.)*.

раздела имущества, он публично обвинил молодую жену в том, что своим необычайно страстным темпераментом она довела его до умственного расстройства.

— Gran Maestro, что слышно о нашем патроне, благословенно имя его?— спросил полковник.

— Ничего. Он что-то в последнее время притих.

— Должно быть, думает.

— Должно быть.

— Видно, придумывает новые и еще более выдающиеся подлости.

— Вероятно. Он мне ничего не сообщал.

— Но на него можно положиться.

— До последнего вздоха. Потом пусть черти жарят его в аду, а мы будем благословлять его память.

— Джорджо,— сказал полковник,— принесите Gran Maestro еще рюмку карпано.

— Если это приказ,— сказал Gran Maestro,— мне остается только повиноваться.

Они чокнулись.

— Джексон!— крикнул полковник.— В этом городе вы гость. Харчи бесплатные, только счет подпишите. Будьте завтра в одиннадцать ноль-ноль в холле, а до тех пор чтоб глаза мои вас не видели, но смотрите, как бы с вами чего не стряслось. Деньги у вас есть?

— Да, господин полковник,— сказал Джексон и подумал: старый хрыч и вправду рехнулся. Чем орать во все горло, мог бы меня подозвать вежливо.

— Убирайтесь с глаз долой,— повторил полковник.

Джексон стоял перед ним, вытянувшись в струнку.

— Вы мне надоели, вы все хлопочете и не умеете жить в свое удовольствие! Господи боже мой, поживите вы хоть день в свое удовольствие.

— Слушаюсь, господин полковник.

— Вы поняли, что я сказал?

— Да, господин полковник.

— Повторите.

— Рональду Джексону, личный номер сто тысяч шестьсот семьдесят восемь, явиться в холл гостиницы «Гритти» в одиннадцать ноль-ноль, завтра, числа не помню, а до тех пор не показываться полковнику на глаза и жить как вздумается, в свое удовольствие.

— Простите, Джексон,— сказал полковник.— Я просто дерьмо.

— Разрешите возразить, господин полковнк?— сказал Джексон.

— Спасибо, Джексон,— сказал полковник.— Может, я и не дерьмо. Хорошо, если вы правы. А теперь сматывайтесь. Комнату вам уже дали или должны дать, и харчи вам тут обеспечены. Постарайтесь пожить в свое удовольствие.

— Слушаюсь, господин полковник,— сказал Джексон.

Когда он ушел, Gran Maestro спросил:

— Что он за парень? Из породы мрачных американцев?

— Да,— сказал полковник.— Господи, сколько их у нас развелось. Мрачные, добродетельные, раскормленные и недоразвитые. В том, что они недоразвитые, есть и моя вина. Но у нас попадаются и хорошие ребята.

— Вы думаете, они держались бы на Граппе, на Пасубио и на Пьяве, как мы?

— Хорошие ребята держались бы. Может, даже и лучше нас. Но, знаете, у нас в армии не ставят к стенке даже за самострел.

— Господи!— сказал Gran Maestro.

И он, и полковник — оба знавали людей, которые ни за что не хотели умирать, забывая о том, что тот, кто умер в четверг, уже не должен умирать в пятницу; они помнили, как один солдат привязывал мешок с песком к ноге другого, чтобы не осталось пороховых ожогов, и стрелял в товарища с такой дистанции, с какой, по его расчетам, мог попасть в голень, не задев кости, а потом разика два палил в воздух, изображая перестрелку. Да, оба они это знали, и в память о войне, а также из настоящей хорошей ненависти ко всем, кто на ней наживается, они и основали свой Орден.

Они помнили, эти двое, любя и уважая друг друга, как бедные солдатики, ни за что не хотевшие умирать, делились друг с другом содержимым спичечной коробки, чтобы заразиться и не ходить в очередную кровавую атаку.

Они знавали и таких ребят, которые засовывали себе под мышку большие медные монеты, чтобы вызвать желтуху. И ребят побогаче, которым впрыскивали парафин под коленную чашечку, чтобы им вовсе не пришлось воевать.

Они знали, как применять чеснок, чтобы увильнуть от участия в атаке, знали все или почти все уловки — ведь один из них был сержантом в пехотной части, а другой лейтенантом, и оба сражались на трех ключевых

участках — на Пасубио, на Граппе, и на Пьяве, а уж где, как не там, стоило увиливать!

Еще раньше они прошли сквозь бессмысленную мясорубку на Изонце и на Карсте. Им было стыдно за тех, кто ее устроил, и они старались не думать о ней, об этой позорной, дурацкой затее — поскорее бы ее забыть. Правда, полковник вспоминал ее иногда, поскольку она могла послужить уроком в других войнах. Вот они и основали Орден Брусаделли, аристократический, военный и духовный, насчитывающий всего пять членов.

— Что слышно в Ордене? — спросил полковник.

— Шеф-повара ресторана «Манифик» мы произвели в командоры. В день, когда ему стукнуло пятьдесят, он трижды показал себя мужчиной. Я принял его заявление к сведению без проверки. Он никогда не лгал.

— Верно. Он никогда не лгал. Но в этом вопросе люди склонны преувеличивать.

— Я поверил ему на слово. На нем лица не было.

— А ведь бедовый был парнишка, любил девке подол задрать. Я помню.

— Anch'io [1].

— У вас есть какие-нибудь планы работы Ордена на зиму?

— Нет, Верховный Магистр.

— А вам не кажется, что следует устроить манифестацию в честь высокочтимого Паччарди?

— Как прикажете.

— Давайте отложим этот вопрос, — сказал полковник. Он подумал и заказал еще рюмку сухого мартини.

— А не устроить ли нам в честь нашего великого патрона Брусаделли, благословенно имя его, шествие и манифестацию в каком-нибудь из исторических мест — на площади Святого Марка или у старой церкви в Торчелло?

— Сомневаюсь, чтобы в данный момент это разрешили церковные власти.

— Тогда давайте откажемся на эту зиму от публичных манифестаций и будем действовать на благо Ордена нашими собственными силами.

— По-моему, это самое разумное, — сказал Gran Maestro. — Мы перестроим свои ряды.

— Ну, а вы-то сами как поживаете?

---

[1] Я тоже (*итал.*).

— Отвратительно,— сказал Gran Maestro.— Пониженное кровяное давление, язва желудка и долги.

— Но вы же не жалуетесь на жизнь?

— Никогда,— сказал Gran Maesrto.— Я очень люблю свою работу, мне приходится иметь дело с необыкновенными, прелюбопытнейшими людьми и с великим множеством бельгийцев. Они в этом году — как саранча. Прежде у нас бывало много немцев. Как это Цезарь сказал? «И храбрейшими из них были белги». Но отнюдь не самыми элегантными. Верно?

— В Брюсселе, я видел, они одеваются прилично,— сказал полковник.— Сытая, веселая столица.

— Вот бы нам повоевать в старину во Фландрии.

— В старину нас на свете не было,— сказал полковник.— Поэтому мы никак не могли там воевать.

— Жаль, что мы не воевали при кондотьерах; стоило тебе тогда перехитрить противника — и он сдавался. Вы бы придумывали разные хитрости, а я бы передавал ваши приказы.

— Сперва пришлось бы взять несколько городов, чтобы запугать противника нашими хитростями.

— Но если бы города вздумали сопротивляться, мы бы их разграбили,— сказал Gran Maesrto.— Какие города вы бы взяли?

— Только не этот,— сказал полковник.— Я бы взял Виченцу, Бергамо и Верону. Может быть, сперва Верону или Бергамо.

— Мало. Надо взять еще два города.

— Верно,— сказал полковник. Теперь он снова стал генералом и блаженствовал.— Я думаю, что Брешию можно оставить у себя в тылу. Она бы сдалась сама.

— Ну, а ваше здоровье как?— спросил Gran Maestro; он понимал, что взятие городов для него слишком сложное дело. Он чувствовал себя как дома в своем Тревизо, на берегу быстрой речки, под старыми городскими стенами. Течение шевелило водоросли, а под ними неподвижно стояла рыба и всплывала в сумерках, когда на воду садились мошки. Он чувствовал себя как дома и на войне, но если в деле участвовало не больше роты; тогда он разбирался в операции не хуже, чем в сервировке маленького банкетного зала, да и большого банкетного зала тоже. А когда полковник снова превращался в генерала и начинал орудовать понятиями, такими же темными для метрдотеля, как интеграля для человека, знающего только арифметику, тогда ему становилось не

по себе, одиноко, ему хотелось поскорей вернуть полковника к той поре, когда один из них был лейтенантом, а другой сержантом.

— А как бы вы поступили с Мантуей?— спросил полковник.

— Не знаю. Я же понятия не имею, с кем вы воюете, какие у них силы и какие у нас.

— Вы сами, по-моему, сказали, что мы кондотьеры. И базируемся либо здесь, в Венеции, либо в Падуе.

— Полковник,— сказал Gran Maesrto, ничуть не приукрашивая истины,— честно говоря, я понятия не имею о кондотьерах. И о том, как они воевали. Я ведь только пожалел, что в те времена не воевал под вашим командованием.

— Те времена ушли и не вернутся,— сказал полковник, и воздушного замка как не бывало.

«А ну их к дьяволу, все эти воздушные замки,— думал полковник,— может, их никогда и не было. А ну тебя самого к дьяволу,— сказал он себе.— Не валяй дурака и будь человеком, ведь тебе уже полста».

— Еще рюмочку карпано,— предложил он.

— Вы мне позволите отказаться? У меня язва.

— Да, да. Конечно. Эй, как вас там зовут, Джорджо! Еще рюмку сухого мартини. Secco, molto secco e doppio [1].

«Разрушать воздушные замки — это не мое ремесло,— думал он.— Мое ремесло — убивать вооруженных солдат. Воздушный замок должен превратиться в крепость, чтобы я стал его разрушать. Но мы убивали не одних только вооруженных солдат. Ладно, разрушитель замков, заткнись».

— Gran Maestro,— сказал он.— Вы все равно Gran Maesrto, и ну их к разэтакой матери, всех этих кондотьеров.

— Они давным-давно там, Верховный Магистр.

— Так точно,— сказал полковник.

Но воздушный замок все-таки рухнул.

— Увидимся за ужином,— сказал полковник.— Есть что-нибудь хорошее?

— Все, что хотите, а чего у нас нет, я достану.

— Свежая спаржа найдется?

— Вы же знаете, что сейчас для нее не сезон. Ее привозят из Бассано в апреле.

---

[1] Сухого, очень сухого, большую рюмку *(итал.)*.

— Ладно,— сказал полковник.— Тогда придумайте что-нибудь сами. Я съем все, что подадите.

— Вы будете один?— спросил метрдотель.

— Нас будет двое,— сказал полковник.— Когда закрывается ваш bistro?[1]

— Мы будем вас ждать, когда бы вы ни пришли.

— Постараюсь быть вовремя,— сказал полковник.— До свидания, Gran Maestro.— Он улыбнулся и протянул Gran Maestro искалеченную руку.

— До свидания, Верховный Магистр,— сказал Gran Maestro, и воздушный замок вырос снова, будто он и не был разрушен.

Но чего-то все же недоставало, и полковник это чувствовал, он подумал: «Отчего я такой ублюдок, отчего я не могут бросить свое военное ремесло и быть добрым и хорошим, каким мне хочется быть?

Я всегда стараюсь быть справедливым, но я резок и груб, и дело не только в том, что я не хочу ни перед кем пресмыкаться и это служит мне защитой против начальства и против всего света. Жить осталось немного, и мне бы следовало быть подобрее, унять свой нрав. Попробуем сегодня вечером,— подумал он.— Да, но с кем и где?— подумал он.— Дай только бог не сорваться!»

— Джорджо,— подозвал он бармена; лицо Джорджо было бело, как у прокаженного, но без бугров и без серебристого налета.

Джорджо недолюбливал полковника, а быть может, он просто был из Пьемонта и никого не любил,— разве можно этого требовать от холодных людей из пограничной провинции? Пограничные жители — народ недоверчивый, полковник это знал, он не ждал от людей того, чего они не могут дать.

— Джорджо,— сказал он бледному бармену,— пожалуйста, запишите все на мой счет.

Он вышел из бара привычной походкой, шагая чуть тверже, чем надо, и, помня о своем неуклонном стремлении вести себя любезно, скромно и доброжелательно, поздоровался со своим приятелем швейцаром и с помощником управляющего, который был военнопленным в Кении и умел говорить на суахили; это был очень приветливый человек, молодой, жизнерадостный, с хорошей внешностью. И хотя он еще не был членом Ордена, горя на своем веку он уже хлебнул.

---

[1] Кабачок *(франц.)*.

— А где же управляющий?— спросил полковник.— Где мой друг?

— Его нет,— ответил помощник управляющего.— Разумеется, в данный момент,— добавил он.

— Передайте ему привет,— сказал полковник.— И пусть меня кто-нибудь проводит в мой номер.

— Мы вам отвели ваш обычный номер. Он вам еще не надоел?

— Ничуть. А о сержанте позаботились?

— Да, конечно.

— Отлично,— сказал полковник.

Он отправился в свой номер в сопровождении рассыльного, который нес его чемодан.

— Прошу вас,— сказал рассыльный, когда лифт остановился, чуть-чуть не дотянув до верхнего этажа.

— Неужели вы не можете как следует управлять лифтом?— спросил полковник.

— Не могу, полковник,— ответил рассыльный.— С током у нас неладно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Полковник ничего не сказал и пошел по коридору впереди рассыльного. Коридор был длинный, просторный, с высоким потолком и по-барски большими промежутками между номерами, выходящими на Большой канал. И так как раньше это был дворец, из всех номеров открывался прекрасный вид, если не считать, конечно, бывших людских.

Путь показался полковнику длинным, хотя идти было совсем недалеко, и когда наконец появился коридорный — низенький, черноволосый, с поблескивающим в левой глазнице стеклянным глазом — и, сдерживая широкую улыбку, стал ворочать в скважине большим ключом, полковник никак не мог дождаться, чтобы дверь поскорее открылась.

— Отворяйте же,— сказал он.

— Сейчас, сейчас,— сказал коридорный.— Вы знаете, какие тут замки.

«Да,— подумал полковник,— знаю. Но я хочу, чтобы он отпер побыстрее».

— Как поживают ваши домашние?— спросил он коридорного, когда тот наконец распахнул дверь. Полковник вошел и очутился в комнате с высоким, потемневшим, но хорошо полированным гардеробом, двумя удобными кро-

ватями и большой люстрой; через еще закрытые окна была видна исхлестанная ветром вода Большого канала.

В ущербном свете зимнего дня канал был серый, как сталь, и полковник попросил:

— Арнальдо, откройте, пожалуйста, окна.

— Сегодня сильный ветер, а комната плохо натоплена — не хватает электричества.

— А для электричества не хватает дождей,— сказал полковник.— Откройте окна, все окна.

— Сию минуту, полковник.

Слуга растворил окна, и в комнату ворвался северный ветер.

— Будьте добры, соединитесь с портье и попросите позвонить по этому телефону.

Слуга позвонил, пока полковник был в ванной. Потом он доложил:

— Графини нет дома. Но там думают, что вы найдете ее у «Гарри».

— Чего только не найдешь у «Гарри»!

— Да, полковник, кроме счастья.

— Ну его-то я, черт возьми, тоже найду!— заверил его полковник.— Счастье, сами знаете, понятие относительное.

— В этом вы правы. Я принес горькую настойку и бутылку джина. Смешать вам кампари и джин с содовой?

— Вы славный малый,— сказал полковник.— Откуда вы это принесли, из бара?

— Нет. Купил, пока вас не было, чтобы вам не пришлось переплачивать в баре. Больно уж там все дорого.

— Верно,— согласился полковник.— Зря только вы вкладывали свои деньги в такую аферу.

— Риск — благородное дело. А мы оба рисковали не раз. Джин стоил три тысячи двести лир, он не контрабандный. Кампари — восемьсот.

— Вы очень славный малый,— сказал полковник.— Как вам понравились утки?

— Жена до сих пор их вспоминает. Нам еще не приходилось есть диких уток — они ведь дорого стоят, такое лакомство не для нас. Но один сосед рассказал ей, как их готовить, а потом мы вместе с этими соседями их и съели. Ну до чего же вкусно! В жизни не думал, что на свете бывает такая еда! Возьмешь в рот кусочек — ну просто сердце тает!

— И для меня тоже ничего нет вкуснее этих жирных уток из-за железного занавеса. Они летят через громад-

ные поля Дунайской равнины. У нас тут утки делают короткие перелеты, но прилетают к нам всегда по одному и тому же пути, с тех времен, когда еще и ружей не было.

— Я плохо разбираюсь в охотничьих делах,— сказал слуга.— Мы для этого слишком бедны. Нам не до охоты.

— Но в Венето охотятся не одни только денежные люди.

— Да. Оттуда всю ночь доносится стрельба. Но мы еще беднее их. Мы беднее, чем вы себе представляете.

— Почему же, я вполне могу себе представить.

— Не знаю,— сказал слуга.— Жена даже все перья собрала. Она просила вас поблагодарить.

— Если послезавтра нам повезет, мы настреляем много дичи. Больших селезней с зелеными головками. Скажите жене, что, если нам повезет, она получит очень вкусных уток — жирных, как поросята,— они здорово отъелись у русских — и с красивыми перьями.

— А как вы относитесь к русским, полковник, если это, конечно, не секрет?

— Говорят, это наш будущий враг. Так что мне, как солдату, может, придется с ними воевать. Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас.

— Мне ни разу не посчастливилось с ними встретиться.

— Не горюйте, у вас еще все впереди. Встретитесь. Разве что почтенный Паччарди задержит их на реке Пьяве, в которой, правда, больше не осталось воды. Ее разбирают гидростанции. Может, господин Паччарди решит драться с ними там. Но не думаю, чтобы бой очень затянулся.

— А я даже не знаю, кто он такой, этот господин Паччарди.

— Зато я знаю. А теперь попросите соединить вас с «Гарри» и спросите, нет ли там графини. Если нет, позвоните еще раз домой.

Полковник проглотил смесь, приготовленную Арнальдо, коридорным со стеклянным глазом. Пить ему не хотелось, и он знал, что ему это вредно.

Но он пил с тем же упорством дикого кабана, с каким жил всю жизнь, и когда он шел к открытому окну, движения его были по-кошачьи мягки, хотя это был уже довольно старый кот; он поглядел на Большой канал, который серел на глазах, словно его написал Дега в один из своих самых сереньких дней.

— Большое спасибо, Арнальдо,— сказал полковник. Тот разговаривал по телефону и только кивнул, блеснув в улыбке стеклянным глазом.

«Жаль, что ему пришлось вставить стеклянный глаз,— думал полковник.— Жаль,— подумал он,— что я люблю только тех, кто воевал или был искалечен.

Среди остальных тоже есть славные люди, я к ним отношусь хорошо и даже с симпатией; однако настоящую нежность я питаю только к тем, кто был там и понес кару, которая постигает всех, пробывших там достаточно долго.

Ну да, любой калека может меня обдурить,— думал он, допивая джин, который ему не хотелось пить.— Любой сукин сын, если только ему как следует попало,— а кому же не попадает из тех, кто там долго пробыл? Вот таких я люблю.

— Да,— согласилась другая, лучшая сторона его натуры.— Таких ты любишь.

— А зачем мне это надо?— думал полковник.— Зачем мне кого-то любить? Лучше бы поразвлечься напоследок.

Но и поразвлечься,— говорила лучшая сторона его натуры,— ты не сможешь, не любя.

Ладно, ладно, вот я и люблю, как последний сукин сын»,— сказал себе полковник, правда, не вслух.

А вслух он сказал:

— Ну как, дозвонились, Арнальдо?

— Чиприани еще не пришел,— сказал слуга.— Его ждут с минуты на минуту, а я не кладу трубку на случай, если он сейчас появится.

— Дорогое удовольствие,— сказал полковник.— Нука доложите, кто там есть, и не будем терять время попусту. Я хочу знать точно, кто там сейчас есть.

Арнальдо что-то вполголоса произнес в трубку.

Потом он прикрыл трубку рукой:

— Я разговариваю с Этторе. Он говорит, что барона Альварито еще нет. Граф Андреа там, он довольно пьян, но, как говорит Этторе, не так пьян, чтобы вы не могли с ним повеселиться. Там все дамы, которые обычно бывают после обеда, ваша знакомая греческая княжна и несколько человек, с которыми вы не знакомы. И разная шушера из американского консульства — они сидят там с полудня.

— Пусть позвонит, когда эта шушера уберется,— я тогда приду.

Арнальдо сказал что-то в трубку, а потом повернулся к полковнику, который смотрел в окно на купол Доганы.

— Этторе говорит, что он бы их выпроводил, но боится, не рассердится ли Чиприани.

— Скажите, чтобы он их не трогал. Раз им сегодня после обеда не нужно работать, почему бы им не напиться, как всяким порядочным людям? Но я не хочу их видеть.

— Этторе говорит, что он позвонит. Он просит передать, что, по его мнению, они сами сдадут позиции.

— Поблагодарите его,— сказал полковник.

Он смотрел, как гондола с трудом движется по каналу против ветра, и думал, что уж если американцы пьют, их с места не сдвинешь. «Я ведь понимаю, им здесь скучно. Да, здесь, в этом городе. Им тут очень тоскливо. Здесь холодно, платят им маловато, а топливо стоит дорого. Жены их молодцы, они мужественно делают вид, будто живут не в Венеции, а у себя в Киокаке, штат Айова, а дети уже болтают по-итальянски, как маленькие венецианцы. Но сегодня, Джек, мне не хочется разглядывать любительские снимки. Сегодня мы обойдемся без любительских снимков, без полупьяных откровений, назойливых уговоров выпить, и скучных неурядиц консульского быта».

— Нет, Арнальдо, мне сегодня что-то не хочется ни второго, ни третьего, ни четвертого вице-консулов.

— В консульстве есть очень милые люди.

— Да,— сказал полковник.— В девятьсот восемнадцатом тут был чертовски симпатичный консул. Его все любили. Сейчас вспомню, как его фамилия.

— Вы любите уходить далеко в прошлое, полковник.

— Так дьявольски далеко, что меня это даже не веселит.

— Неужели вы помните все, что было когда-то?

— Все,— сказал полковник.— Его фамилия была Керрол.

— Я о нем слышал.

— Вас тогда еще на свете не было.

— Неужели вы думаете, что надо вовремя родиться, чтобы знать все, что тут происходит?

— Да, вы правы. Неужели все тут знают всё, что происходит в городе?

— Не все. Но почти все,— сказал слуга.— В конце концов, простыни есть простыни, кто-то должен их ме-

нять, кто-то должен их стирать. Я не говорю, конечно, о постельном белье в таком отеле, как наш.

— Мне случалось совсем неплохо обходиться и без постельного белья.

— Еще бы! Но гондольеры, хоть они и самые компанейские люди и самые, на мой взгляд, у нас порядочные, любят поболтать.

— Я думаю!

— Потом священники. Они хоть никогда и не нарушают тайны исповеди, но тоже любят почесать языки.

— Еще бы!

— А их домоправительницы — посплетничать друг с другом.

— Это их право.

— Теперь — официанты. Люди разговаривают за столиком так, словно официант — глухонемой. У официанта есть правило никогда не подслушивать беседы клиентов. Но уши-то ведь себе не заткнешь! У нас, между собой, тоже идут разговоры,— конечно, не в таком отеле, как этот... И так далее.

— Да, теперь понятно.

— Я не говорю уже о парикмахерах!

— Какие новости на Риальто?

— Вам расскажут у «Гарри» всё, кроме того, в чем замешаны вы сами.

— А я в чем-нибудь замешан?

— Все обо всем знают.

— Ну что ж, меня это только украшает.

— Кое-кто не понимает той истории с Торчелло.

— Да будь я проклят, если и я что-нибудь понимаю!

— А сколько вам лет, полковник, простите за нескромность?

— Пятьдесят да еще один. Почему вы об этом не спросили портье? Я всегда заполняю листок для квестуры [1].

— Я хотел это услышать от вас самих и поздравить.

— О чем это вы? Не понимаю.

— Разрешите вас все-таки поздравить.

— Не могу, раз не знаю с чем.

— Вас очень любят у нас в городе.

— Спасибо. Вот это мне приятно слышать!

В эту минуту зазвонил телефон.

---

[1] Квестура — полиция.

— Я возьму трубку,— сказал полковник и услышал голос Этторе:

— Кто говорит?

— Полковник Кантуэлл.

— Позиция сдана, полковник.

— Куда они пошли?

— В сторону Пьяццы.

— Хорошо. Я сейчас буду.

— Приготовить вам столик?

— В углу,— сказал полковник и положил трубку.— Я пошел к «Гарри».

— Счастливой охоты.

— Охотиться я буду на уток послезавтра утром в botte[1] на болотах.

— Ну и холодно же там будет!

— Наверно,— сказал полковник, надел плащ и поглядел на себя в большое зеркало, надвигая фуражку.— Ну и уродина!— сказал он в зеркало.— Вы когда-нибудь видели более уродливое лицо?

— Да,— сказал Арнальдо.— Мое, каждое утро, когда бреюсь.

— Нам обоим лучше бриться в темноте,— сказал полковник и вышел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда полковник Кантуэлл шагнул за порог гостиницы «Гритти-палас», солнце уже заходило. На той стороне площади еще было солнечно, но там дул холодный ветер, и гондольеры предпочли укрыться под стенами «Гритти», пожертвовав остатками дневного тепла.

Отметив это про себя, полковник пошел направо по площади до угла мощеной улицы, сворачивавшей тоже вправо. Там он задержался и поглядел на церковь Санта-Мария-дель-Джильо.

«Какое красивое, компактное здание, а в то же время так и кажется, что оно вот-вот оторвется от земли. Никогда не думал, что маленькая церковь может быть похожа на Р-47[2]. Надо выяснить, когда она была построена и кто ее строил. Ах, черт, жаль, что я не могу всю жизнь бродить по этому городу. Всю жизнь?— подумал он.— Вот умора! Умереть можно от смеха. Подавиться

---

[1] Бочка *(итал.)*.
[2] Марка самолета.

от смеха. Ладно, брось,— сказал он себе.— На похоронной кляче далеко не уедешь.

К тому же,— думал он, разглядывая витрины, мимо которых шел (charcuterie[1] с сырами пармезан, окороками из Сан-Даниеле, колбасками all cacciatore[2], бутылками хорошего шотландского виски и настоящего джина «Гордон»; лавок ножовых изделий антиквара со старинной мебелью, старинными гравюрами и картами; второсортного ресторана, пышно разукрашенного под первосортный), а потом, приближаясь к первому мостику через один из боковых каналов, где ему надо было подняться по ступенькам,— я не так уж плохо себя чувствую. Вот только этот шум в ушах. Помню, когда он у меня появился, я думал, что в лесу гудят цикады; мне тогда не хотелось спрашивать молодого Лаури, но я все-таки спросил. Он ответил: «Нет, генерал, я не слышу ни кузнечиков, ни цикад. Ночь совсем тихая, и слышно только то, что слышно всегда».

Потом, поднимаясь по ступенькам, он почувствовал боль, а спускаясь с моста, увидел двух красивых девушек. Они были хороши собой и одеты бедно, но с природным шиком; они с жаром о чем-то болтали, а ветер трепал их волосы, когда они взбегали по лестнице на длинных, стройных, как у всех венецианок, ногах. Полковник подумал, что ему, пожалуй, не стоит глазеть на витрины,— ему ведь надо взобраться еще на один мост, пройти еще две площади, свернуть направо, а потом идти все прямо, пока он наконец не дойдет до «Гарри».

Он так и поступил, с трудом преодолев боль, двигаясь обычным размашистым шагом и только изредка поглядывая на прохожих. «В этом воздухе много кислорода»,— думал он, подставляя лицо ветру и глубоко вдыхая.

Но вот он отворил дверь в бар «Гарри» и вошел туда,— он и на этот раз добрался благополучно и наконец был дома.

Возле стойки он увидел высокого, очень высокого человека с помятым, но породистым лицом, веселыми синими глазами и длинным разболтанным телом, как у поджарого волка.

— Привет, о мой маститый, но нечестивый полковник,— сказал он.

---

[1] Колбасная *(франц.)*.
[2] По-охотничьи *(итал.)*.

— Привет, мой беспутный Андреа.

Они обнялись, и рука полковника почувствовала грубую домотканую шерсть нарядного пиджака Андреа, который тот носил вот уже лет двадцать.

— У вас прекрасный вид, Андреа.

Это была ложь, что оба они отлично знали.

— Еще бы,— сказал Андреа, платя ему той же монетой.— Никогда не чувствовал себя лучше. Но и вы прекрасно выглядите.

— Спасибо. Ох, и здоровы же мы, черти, всей земли наследники!

— Прекрасно сказано! Я бы не прочь получить в наследство хоть клочок земли!

— Что вы канючите! Дадут вам не меньше ста девяноста сантиметров земли.

— Мой рост сто девяносто пять,— сказал Андреа.— Ах вы безбожник! Ну как, все еще тянете лямку la vie militaire?[1]

— Тяну, но не надрываюсь,— сказал полковник.— Приехал поохотиться у Сан-Релахо.

— Знаю. Альварито вас искал. Просил сказать, что еще вернется.

— Хорошо. А ваша милая жена и дети здоровы?

— Вполне, просили передать вам привет, если я вас увижу. Они сейчас в Риме. Вот идет ваша девушка. Или одна из ваших девушек.

Он был такой высокий, что ему было видно даже то, что делается на улице; там уже стемнело; правда, эту девушку можно было узнать и в полной темноте.

— Пригласите ее выпить с нами у стойки, прежде чем уведете в угол, к своему столику. А ведь хороша, верно?

— Да.

И вот она вошла — во всей своей красе и молодости,— высокая, длинноногая, со спутанными волосами, которые растрепал ветер. У нее была бледная, очень смуглая кожа и профиль, от которого у тебя, да и не только у тебя щемит сердце, блестящие темные волосы падали на плечи.

— Здравствуй, чудо ты мое,— сказал полковник.

— Здравствуй!— сказала она.— А я уж боялась, что тебя не застану. Прости, что я так поздно.

[1] Солдатской жизни *(франц.)*.

Голос у нее был низкий, нежный; она старательно выговаривала английские слова.

— Ciao, Андреа,— сказала девушка.— Как Эмили и дети?

— Наверно, не хуже, чем в полдень, когда вы задали мне этот же самый вопрос.

— Пожалуйста, простите,— сказала она и покраснела.— Я почему-то ужасно волнуюсь, и потом, я всегда говорю невпопад. А что мне надо было спросить? Ах да, вы весело провели здесь день?

— Да,— сказал Андреа.— Вдвоем со старым другом и самым нелицеприятным судьей.

— А кто он такой?

— Шотландское виски с содовой.

— Ну что ж, если он хочет меня дразнить, пусть дразнит,— сказала она полковнику.— Но ты не будешь меня дразнить, правда?

— Ведите его к тому столику в углу и разговаривайте с ним там. Вы оба мне надоели.

— А вы мне еще не надоели,— сказал полковник.— Но мысль у вас правильная. Давай, Рената, лучше сядем за столик, ладно?

— С удовольствием, если Андреа не рассердится.

— Я никогда не сержусь.

— А вы с нами выпьете, Андреа?

— Нет. Ступайте к вашему столику. Мне тошно, что он пустой.

— До свиданья, caro![1] Спасибо за компанию, хоть вы и не хотите с нами посидеть.

— Ciao, Рикардо,— коротко сказал Андреа. Он повернулся к ним сухой, длинной, нервной спиной, поглядел в зеркало, которое всегда висит за стойкой, чтобы видеть, когда выпьешь лишнего, и решил, что лицо, которое на него оттуда смотрит, ему не нравится.— Этторе,— сказал он,— запишите эту мелочь на мой счет.

Он спокойно дождался, чтобы ему подали пальто, размашисто сунул руки в рукава, дал на чай швейцару ровно столько, сколько полагалось, плюс двадцать процентов и вышел.

За столиком в углу Рената спросила:

— Как ты думаешь, он на нас не обиделся?

— Нет. Тебя он любит, да и ко мне хорошо относится.

---

[1] Дорогой *(итал.)*.

— Андреа очень милый. И ты тоже очень милый.

— Официант!— позвал полковник, а потом спросил:— Тебе тоже сухого мартини?

— Да. Пожалуйста.

— Два самых сухих мартини «Монтгомери».

Официант, который когда-то воевал в пустыне, улыбнулся и отошел, а полковник обернулся к Ренате.

— Ты милая. И к тому же очень красивая. Ты мое чудо, и я тебя люблю.

— Ты всегда так говоришь; я, правда, не очень понимаю, что это значит, но слушать мне приятно.

— Сколько тебе лет?

— Почти девятнадцать. А что?

— И ты еще не понимаешь, что это значит?

— Нет. А почему я должна понимать? Американцы всегда так говорят, когда собираются уехать. У них, наверно, так принято. Но я тебя тоже очень люблю.

— Давай веселиться,— сказал полковник.— Давай ни о чем не думать.

— С удовольствием. Вечером я все равно не умею как следует думать.

— Вот и наши коктейли,— сказал полковник.— Помни, когда пьешь, нельзя говорить «ну, поехали»!

— Я уже помню. Я теперь никогда не говорю «ну, поехали», или «раздавим по маленькой», или «пей до дна».

— Надо просто поднять бокал и, если хочешь, можно чокнуться.

— Да, хочу,— сказала она.

Мартини было холодное, как лед, настоящее «Монтгомери», и, чокнувшись, они почувствовали, как веселый жар согревает им грудь.

— А что ты без меня делала?— спросил полковник.

— Ничего. Я все жду, когда мне надо будет ехать в школу.

— В какую теперь?

— А бог ее знает. Куда-нибудь, где я выучусь поанглийски.

— Будь добра, поверни голову и подыми подбородок.

— Ты надо мной смеешься?

— Нет. Не смеюсь.

Она повернула голову и вскинула подбородок без тени кокетства, без малейшего тщеславия. И полковник почувствовал, как сердце у него в груди перевернулось, словно спавший в норе зверь перевалился с боку на бок,

приятно напугав спавшего с ним рядом другого зверя.

— Ах, ты,— сказал он,— ты ни разу не пыталась попасть в царицы небесные?

— Что ты, разве можно так богохульничать!

— Наверно, нельзя, и я снимаю свое предложение.

— Ричард...— начала она.— Нет, не скажу.

— Скажи!

— Не хочу.

Полковник подумал: «Сейчас же скажи, я приказываю!» И она сказала:

— Не смей никогда на меня так смотреть!

— Прости! Я нечаянно. Вспомнил свое ремесло.

— А если бы мы были с тобой — как это говорят?— замужем, ты бы и дома занимался своим ремеслом?

— Нет! Клянусь, что нет. Дома — нет. Душой, во всяком случае.

— Ни с кем?

— С людьми твоего пола — нет.

— Мне не нравится, как ты это говоришь: «твоего пола». Это опять оттуда, из твоего ремесла.

— Плевал я на мое ремесло. Хочешь, я выброшу его в Большой канал?

— Видишь,— сказала она,— ты опять берешься за свое ремесло.

— Ладно,— сказал он.— Я тебя люблю и могу распроститься с моим ремеслом вежливо.

— Дай я подержу твою руку,— попросила она.— Ну вот. Теперь можешь опять положить ее на стол.

— Спасибо,— сказал полковник.

— Не смейся. Мне надо было ее потрогать, потому что всю неделю, каждую ночь или почти что каждую ночь, она мне снилась. Сон был такой странный, мне снилось, что это рука нашего Спасителя.

— Нехорошо! Такие вещи не должны сниться.

— Конечно. Но чем я виновата, что мне это снилось?

— А ты чего-нибудь не нанюхалась, а?

— Не понимаю, и, пожалуйста, не смейся, когда я говорю правду. Мне это на самом деле снилось.

— А как вела себя рука?

— Никак. Ну, это, может, и не совсем правда. Но почти все время это была просто рука.

— Такая, как эта?— спросил полковник, с отвращением глядя на искалеченную руку и вспоминая те два дня, которые ее такой сделали.

— Не такая, как эта, а эта самая. Можно мне ее чуть-чуть потрогать, если тебе не больно?

— Нет, не больно. У меня болит только голова, ноги и ступни. А рука, по-моему, вовсе ничего не чувствует.

— Неверно, Ричард,— сказала она.— Эта рука все отлично чувствует.

— Я не люблю на нее смотреть. Давай-ка лучше закроем на нее глаза.

— Давай. Но тебе она не снится?

— Нет. Мне снятся другие сны.

— Да. Наверно. А вот мне последнее время снится эта рука. Теперь, когда я ее потрогала, мы можем поговорить о чем-нибудь веселом. О чем бы это веселом нам с тобой поговорить?

— Давай смотреть на людей, а потом будем о них разговаривать.

— Чудно!— сказала она. Но мы не будем говорить о них гадости. Только чуть-чуть посмеемся. Мы ведь это умеем, правда? И ты, и я.

— Ладно,— сказал полковник.— Официант! Ancora due Martini [1].

Ему не хотелось громко произносить слово «Монтгомери», потому что за соседним столиком сидела какая-то пара, явно англичане.

«А вдруг этот англичанин был ранен в пустыне?— подумал полковник.— Хотя что-то не похоже. Но не дай бог вести себя по-свински. Посмотри лучше, какие глаза у Ренаты,—думал он.— Это самое красивое из всей ее красоты, и таких длинных ресниц я ни у кого не видел, и глазок она не строит, а смотрит всегда прямо и открыто. Она замечательная девушка, но я-то что делаю? Ведь это подло! Она твоя последняя, настоящая и единственная любовь,— думал он,— и ничего тут подлого нет. Это просто твоя беда, вот и все. Неправда, это счастье, тебе очень посчастливилось».

Они сидели за маленьким столиком в углу, а справа от них, за столиком побольше, сидели четыре женщины. Одна из них была в трауре, но траур выглядел так театрально, что напоминал полковнику Диану Маннерс, игравшую монахиню в «Чуде» Макса Рейнгардта. У женщины было миловидное, пухлое, веселое от природы лицо, и траур выглядел на ней нелепо.

«У другой женщины за этим же столиком волосы в три раза белее, чем обыкновенная седина,— думал пол-

[1] Еще два мартини (*итал.*).

ковник.— Лицо у нее тоже симпатичное». Лица остальных женщин ему ничего не говорили.

— По-твоему, они лесбиянки?— спросил он Ренату.

— Не знаю. Но они очень милые.

— По-моему, лесбиянки. А может, просто подруги. Или и то и другое. Мне-то все равно, я их не осуждаю.

— Я люблю, когда ты добрый.

— Как ты думаешь, слово «доблестный» произошло от слова «добрый»?

— Не знаю,— сказала девушка и кончиками пальцев погладила его искалеченную руку.— Но я люблю тебя, когда ты добрый.

— Тогда я постараюсь быть добрым,— сказал полковник.— А кто, по-твоему, вон тот сукин сын, который сидит за ними?

— Ненадолго же хватает твоей доброты,— сказала девушка.— Давай спросим Этторе.

Они поглядели на человека, сидевшего за третьим столиком. У него было странное лицо, напоминавшее увеличенный профиль обиженного судьбою хорька или ласки, а кожа испещрена оспинами и пятнами, как поверхность луны, на которую смотришь в дешевый телескоп; полковник подумал, что человек этот похож на Геббельса, если бы у герра Геббельса загорелся самолет и он не смог оттуда вовремя выброситься.

Над лицом, которое беспрерывно во что-то вглядывалось, словно все на свете можно узнать — стоит только разглядеть или выспросить как следует,— торчали черные волосы, но совсем не такие, как у людей. Казалось, будто с него сняли скальп, а потом наклеили волосы обратно. «Занятный тип,— думал полковник.— Неужели он мой соотечественник? Похоже, что да».

Когда тот, прищурившись, разговаривал с пожилой цветущей дамой, сидевшей рядом, в уголках его рта выступала слюна. А эта женщина похожа на американских матерей, которых изображают в «Ледис хоум джорнэл». «Ледис хоум джорнэл» регулярно выписывали для офицерского клуба в Триесте, и полковник всегда его просматривал. «Превосходный журнал,— думал он,— сексуальность наряду с самой изысканной кулинарией. Возбуждает и тот, и другой аппетит.

Но кто же он такой, этот тип? Чем не карикатура на американца, которого наскоро пропустили через мясорубку, а потом окунули в кипящее масло. Что-то я, кажется, опять не очень добрый»,— подумал полковник.

К их столику подошел Этторе. Лицо у него было аскетическое, но он любил пошутить и не верил ни в бога, ни в черта. Полковник его спросил:

— Кто эта одухотворенная личность?

Но Этторе только развел руками.

Человек был невысокий, смуглый, глянцевитые черные волосы удивительно не шли к его странному лицу. «У него такой вид,— подумал полковник,— будто он забыл переменить парик, когда постарел. Но лицо поразительное. Похоже на холмы вокруг Вердена. Не думаю, чтобы это был Геббельс, зачем бы он выбрал себе такое лицо в те дни, когда все они разыгрывали «Сумерки богов»? «Komm, süsser Tod»[1]. Ну что ж, в конце концов все они отхватили по большому ломтю этой самой süsser Tod».

— Не хотите ли бутерброд с süsser Tod, мисс Рената?

— Пожалуй, нет,— сказала она.— Хотя я люблю Баха и знаю, что Чиприани мог бы приготовить мне такой бутерброд.

— А я ничего и не говорю против Баха.

— Знаю.

— Черт подери!— сказал полковник.— Бах ведь, в сущности, был нашим союзником. Как и ты,— добавил он.

— Ну, меня ты, пожалуйста, не трогай!

— Дочка,— сказал полковник,— когда же ты поймешь, что мне можно над тобой шутить,— ведь я тебя люблю!

— Я это поняла. Но, знаешь, гораздо веселее, когда шутки не очень грубые.

— Хорошо. И я понял.

— Сколько раз ты думал обо мне на этой неделе?

— Все время.

— Нет, скажи правду!

— Правда. Все время.

— Ты думаешь, у нас с тобой это такой уж тяжелый случай?

— Почем я знаю,— сказал полковник.— Как я могу знать?

— Надеюсь все-таки, что у нас с тобой не такой уж тяжелый случай. Я никак не думала, что это будет такой тяжелый случай!

— А теперь думаешь?

---

[1] «Приди, сладостная смерть» *(нем.)*.— название духовной песни Баха.

— Да, теперь я вижу,— сказала девушка.— Теперь, и навсегда, и во веки веков. Я правильно сказала?

— Довольно и одного «теперь». Скажите, Этторе, а этот тип с обаятельным лицом — рядом с ним сидит такая симпатичная женщина,— он не в «Гритти» живет, а?

— Нет,—сказал Этторе.— Он живет поблизости, но иногда ходит в «Гритти» обедать.

— Великолепно,— сказал полковник.— Теперь я знаю, на что мне смотреть, когда нападет тоска. А кто ему эта женщина? Жена? Мать? Дочь?

— Увы! Не знаю!— сказал Этторе.— Мы тут в Венеции почему-то за ним плохо следили. Он у нас почему-то не вызвал ни любви, ни ненависти, ни страха, ни подозрений. Но вас он в самом деле интересует? Я могу расспросить Чиприани.

— Давай-ка лучше закроем на него глаза,— сказала девушка.— Ты так, кажется, говоришь?

— Что ж, давай закроем.

— Ну да, раз у нас так мало времени, Ричард. Зачем на него тратить время?

— Я смотрел на него, как на рисунок Гойи. Лица ведь — те же картины.

— Смотри на мое лицо, а я буду смотреть на твое. Давай на него закроем глаза, хорошо? Он ведь пришел сюда просто так и никому не мешает.

— Давай я буду смотреть на твое лицо, а ты на мое не смотри.

— Нет,— сказала она.— Это нечестно. Мне ведь твое лицо надо запомнить на целую неделю.

— Ну, а что ж тогда прикажешь мне делать?— спросил ее полковник.

К ним опять подошел Этторе,— это был отчаянный заговорщик,— и, быстро, как истинный венецианец, наведя справки, он сообщил:

— Мой товарищ, который работает в той гостинице, говорит, что он выпивает три-четыре рюмки виски, а потом садится и пишет длинно и бегло далеко за полночь.

— Представляю, как это увлекательно будет читать!

— Да, и я себе представляю,— сказал Этторе,— Данте, наверно, работал иначе.

— Данте был тоже vieux con [1],— сказал полковник.— Как мужчина, а не как писатель.

---

[1] Старый хрен *(франц.)*.

— Вы правы,— признал Этторе.— Никто из знатоков, кроме флорентийцев, не будет этого отрицать.

— Начхать нам на Флоренцию,— сказал полковник.

— Ну, это не так-то просто,— сказал Этторе.— Многие пытались, но редко кому это удавалось. А чем она вам, полковник, не нравится?

— Трудно объяснить. Когда я был мальчишкой, там был сборный пункт моего полка.— Он сказал по-итальянски — deposito.

— Тогда понятно. У меня тоже есть причины ее не любить. А вы знаете какие-нибудь хорошие города?

— Да,— сказал полковник.— Этот. Кое в чем Милан, Болонью. И Бергамо.

— Чиприани припас много водки на случай, если придут русские,— сказал Этторе. Он любил отпустить крепкую шуточку.

— Они привезут свою водку. И пошлины платить не будут.

— А Чиприани все же подготовился к их приходу.

— Ну, тогда он — единственный, кто к этому готов. Посоветуйте ему не брать от младших офицеров чеков на Одесский банк, и спасибо вам за сведения о моем соотечественнике. Больше я не буду отнимать у вас время.

Этторе отошел. Она заглянула в старые стальные глаза его и положила свои руки на его искалеченную руку.

— Ты сегодня довольно добрый,— сказала она.

— А ты ужасно красивая, и я тебя люблю.

— Ну что ж, это приятно слышать!

— Где мы будем ужинать?

— Мне надо позвонить домой и спросить, можно ли мне не ужинать дома.

— А почему ты стала грустная?

— Разве я грустная?

— Да.

— И совсем я не грустная. Такая же веселая, как всегда. Честное слово, Ричард. Но, ты думаешь, приятно, если тебе девятнадцать лет и ты влюбилась в человека, которому за пятьдесят, и ты знаешь, что он скоро умрет?

— Ну зачем так прямо?— спросил полковник.— Но когда ты это говорила, ты была очень красивая!

— Я никогда не плачу,— сказала девушка.— Никогда. У меня даже есть такое правило — никогда не плакать. Но сейчас я заплачу.

— Не плачь,— сказал полковник.— Ведь я сегодня добрый, правда? А что до всего прочего — ну его к дьяволу!

— Скажи еще раз, что ты меня любишь.

— Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя.

— И ты постараешься не умирать?

— Да.

— Что говорил доктор?

— Да ничего особенного...

— Но хуже тебе не стало?

— Нет,— солгал он.

— Тогда выпьем еще по одному мартини. Ты знаешь, я до тебя никогда не пила мартини.

— Знаю. Но теперь здорово пьешь.

— А лекарство тебе принимать не пора?

— Пора,— сказал полковник.— Лекарство пора принять.

— Можно, я тебе его дам?

— Да,— сказал полковник.— Можно.

Они всё сидели за столиком в углу, и какие-то люди входили в бар, а другие выходили. У полковника от лекарства слегка закружилась голова, и он ждал, пока это пройдет. «Каждый раз одно и то же,— думал он.— Черт бы его побрал, это лекарство!» Он видел, что девушка наблюдает за ним, и улыбнулся. Это была привычная улыбка, которой он пользовался уже пятьдесят лет, с тех пор как улыбнулся впервые, и она до сих пор не изменяла, как дедушкино ружье. Ружье, наверно, взял старший брат. «Что ж, он стрелял лучше меня,— думал полковник,— ружье принадлежит ему по праву».

— Слушай, дочка,— сказал он.— Ты только из-за меня не расстраивайся.

— Я и не расстраиваюсь. Ни чуточки. Но я тебя люблю.

— Тоже не бог весть какое занятие, правда?— Он сказал oficio вместо «занятие»,— когда им надоедало говорить по-французски, а по-английски при посторонних разговаривать не хотелось, они иногда разговаривали по-испански. «Испанский язык грубый,— думал полковник,— иной раз грубее кукурузной кочерыжки. Но зато всегда можно точно выразить свою мысль, и она запомнится».

— Es un oficio bastante malo,— повторил он,— любить меня.

— Да. Но это единственное мое занятие.

— А стихов ты больше не пишешь?

— Ну, это были школьные стихи. Так же, как и мое рисование. У всех у нас в детстве бывают таланты.

«В каком же возрасте у них тут стареют?— думал полковник.— В Венеции не бывает стариков, но мужают здесь очень быстро. Я и сам быстро возмужал в Венеции и никогда уж потом не был таким взрослым, как в двадцать один год».

— Как мама?— спросил он ласково.

— Очень хорошо. Она никого не принимает и почти не видит людей. У нее ведь такое горе.

— Как ты думаешь, она очень расстроится, если у нас будет ребенок?

— Трудно сказать. Она очень умная. А мне все равно придется за кого-нибудь выйти замуж. Но очень не хочется.

— Мы могли бы с тобой пожениться.

— Нет,— сказала она.— Я подумала и решила, что лучше не надо. Это такое же решение, как насчет того, что не нужно плакать.

— А что, если ты решила неверно? Видит бог, я тоже принимал неверные решения, и очень много людей погибло из-за того, что я ошибался.

— По-моему, ты преувеличиваешь. Не верю, чтобы ты часто ошибался.

— Не часто. Но бывало,— сказал полковник.— В моем деле трех раз больше чем достаточно, а я ошибся целых три раза.

— Расскажи, как это было.

— Тебе будет скучно,— сказал полковник.— Мне самому до смерти тошно, когда я вспоминаю, а другим — тем более.

— А я разве другая?

— Нет. Ты моя любовь. Моя последняя, единственная и настоящая любовь.

— А ты их принял, эти решения, давно или недавно?

— Одно давно. Другое попозже. А третье недавно.

— Может, ты мне все-таки расскажешь? Я тоже хочу заниматься твоим скверным ремеслом вместе с тобой.

— А ну его к дьяволу!— сказал полковник.— Ошибки были сделаны, и я заплатил за них сполна. Беда только в том, что расплатиться невозможно.

— Расскажи, как это было и почему невозможно.

— Не хочу,— сказал полковник. И переубеждать его было бесполезно.

— Тогда давай веселиться.

— Давай,— сказал полковник.— Жизнь-то ведь у нас только одна.

— А вдруг не одна? Вдруг будут еще другие?

— Не думаю,— сказал полковник.— Ну-ка, повернись ко мне в профиль, чудо мое!

— Вот так?

— Так,— сказал полковник.— Именно так.

«Ну вот,— подумал полковник, — начался последний раунд, а я даже не знаю, какой он по счету. Я любил в своей жизни только трех женщин и трижды их терял.

Женщину теряешь так же, как теряешь свой батальон,— из-за ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, и немыслимо тяжелых условий. И еще — из-за своего скотства. Я потерял в своей жизни три батальона и трех женщин, а теперь у меня четвертая, самая красивая из всех, и чем же, черт подери, это кончится?

А ну-ка, объясните, генерал,— ведь у нас сейчас не военный совет, а свободный обмен мнениями по поводу создавшейся обстановки,— ответьте мне, генерал, на вопрос, который вы мне сами не раз задавали: *где же ваша кавалерия, генерал?*

Ну вот, так я и думал,— сказал он себе.— Командир не знает, где его кавалерия, а кавалерия не разбирается ни в своем положении, ни в своих задачах, и часть ее, ровно столько, сколько для этого нужно, изгадит все дело, как гадила кавалерия во всех войнах, с тех самых пор, как ее посадили на коней».

— Чудо ты мое,— сказал он.— Ma très chère et bien aimée [1]. Я очень скучный человек, ты уж меня, пожалуйста, прости.

— Мне с тобой никогда не скучно, я ведь тебя люблю. Мне только хочется, чтобы сегодня мы были повеселее.

— Будь я проклят, но сегодня мы будем веселые,— сказал полковник.— Ты не знаешь чего-нибудь особенно веселого?

— А мы сами разве не веселые, да и все, что творится тут, в городе... Ты ведь часто бывал веселый.

— Да,— признался полковник,— бывал.

— Неужели мы не можем еще хоть раз повеселиться?

— Конечно. Можем. Отчего же...

— Видишь того молодого человека с волнистыми волосами — он их не завивает, он их только аккуратно укладывает, чтобы казаться покрасивее.

[1] Моя самая дорогая и любимая (*франц.*).

— Вижу.

— Это очень хороший художник, но передние зубы у него вставные. Он был раньше pédéraste, но другие pédérastes как-то раз напали на него на Лидо во время полнолуния.

— Сколько тебе лет?

— Скоро будет девятнадцать.

— Откуда же ты все это знаешь?

— Мне рассказывал один гондольер. Этот молодой человек по нашим временам очень хороший художник. Теперь ведь настоящих художников не бывает. Но подумай, ходить с вставными зубами в двадцать пять лет — это просто смешно!

— Я тебя очень люблю,— сказал полковник.

— И я тебя очень люблю. Я только не знаю, что это значит по-вашему, по-американски. Но я люблю тебя и по-итальянски, хотя это против моих взглядов и против моего желания.

— Нельзя так чертовски много желать,— сказал полковник,— не то, смотри, желание возьмет да исполнится!

— Верно,—сказала она.— Но я бы хотела, чтобы мое теперешнее желание исполнилось.

Оба помолчали, потом девушка сказала:

— Этот молодой человек,— он теперь уже настоящий мужчина и ухаживает за женщинами,— чтобы скрыть, что он такое, написал мой портрет. Хочешь, я тебе его подарю?

— Спасибо. Я буду очень рад,— сказал полковник.

— Там все так поэтично! Волосы куда длиннее, чем у меня на самом деле; и кажется, будто я выхожу из моря, даже не намочив головы! А когда выходишь из воды, волосы прилизанные, концы у них слипшиеся и вся ты похожа на дохлую крысу. Но папа хорошо заплатил за портрет, и хотя это совсем не я, но такой ты бы хотел меня видеть.

— Я часто себе представляю, как ты выходишь из моря.

— Ну да? Ужасное уродство!.. Может, ты правда возьмешь этот портрет на память?

— А твоя мама возражать не будет?

— Нет, мама возражать не будет. Она будет даже рада от него избавиться. У нас есть картины получше.

— Я очень люблю вас обеих — и тебя, и твою маму.

— Я ей это непременно скажу.

— Как ты думаешь, этот конопатый хлюст в самом деле писатель?

— Да. Этторе ведь тебе сказал. Этторе любит пошутить, но никогда не врет. Ричард, что такое хлюст? Только ты надо мной не смейся.

— Боюсь, что это трудно объяснить. По-моему, хлюст — это человек, который никогда всерьез не занимается делом (oficio) и только раздражает всех своим нахальством.

— Мне надо научиться правильно употреблять это слово.

— Не стоит употреблять его вообще.— Потом он спросил:— А когда я получу твой портрет?

— Если хочешь, сегодня. Я попрошу, чтобы его упаковали и послали тебе. Где ты его повесишь?

— У себя дома.

— А туда никто не придет и не будет надо мной смеяться и говорить гадости?

— Нет. Пусть только попробуют. И потом, я им скажу, что это портрет моей дочери.

— А у тебя когда-нибудь была дочь?

— Нет, но мне всю жизнь хотелось, чтобы она была.

— Но я могу быть тебе и дочерью тоже.

— Тогда это будет кровосмешением.

— В таком старинном городе, как наш, это никого не испугает. Чего тут только не видали!

— Послушай, дочка...

— Вот и хорошо,— сказала она.—Мне это очень нравится.

— Ну и слава богу,—сказал полковник. Его голос звучал чуть-чуть хрипло.— Мне тоже нравится.

— Теперь ты понимаешь, за что я тебя люблю, хоть и знаю, что этого не надо?

— Послушай, дочка... Где мы будем ужинать?

— Где хочешь!

— Давай поужинаем в «Гритти»?

— Давай.

— Тогда позвони домой и спроси разрешения.

— Не хочу. Я не буду просить разрешения, я просто им скажу, где я ужинаю, чтобы они не беспокоились.

— Но ты в самом деле хочешь ужинать в «Гритти»?

— Конечно. Это очень хороший ресторан, и ты там живешь, и все могут нас там видеть.

— С каких пор ты стала такой?

— А я и была такая. Мне всегда было все равно, что

обо мне думают. И потом, я никогда не делала того, чего надо было бы стыдиться, разве что врала, когда была маленькая, и грубила.

— Эх, как бы я хотел, чтобы мы могли пожениться и родить пятерых сыновей,— сказал полковник.

— Я тоже,— сказала девушка.— И разослать их в пять разных концов света.

— А разве у света пять концов?

— Не знаю,— сказала она.— Пока я говорила, мне казалось, что да. Ну вот видишь, мы опять веселимся, правда?

— Да, дочка.

— Ну-ка, скажи еще раз. Повтори, как ты сказал.

— Да, дочка.

— Ах,— сказала она.— Почему у людей все так сложно? Можно мне подержать твою руку?

— Она такая уродливая, мне самому противно на нее смотреть.

— Ты даже не понимаешь, какая у тебя рука!

— Это, конечно, дело вкуса,— сказал он.— Но ты, дочка, все же не права.

— Может быть. Но видишь, мы опять веселимся, а то плохое, что у нас было на сердце, теперь ушло.

— Ушло, как туман из низины, когда над холмами встает солнце,— сказал полковник.— И ты — это солнце.

— А мне хочется быть похожей на луну.

— Ты и луна тоже. И любая другая планета, какая тебе нравится, и я даже могу тебе точно сказать, где эта планета находится. Господи Иисусе, дочка, да если хочешь, будь хоть целым созвездием!

— Нет, лучше я буду луной. У нее тоже есть свои неприятности.

— Да. Невзгоды и к ней приходят в положенный срок. Но прежде чем луне пойти на убыль, всегда бывает полнолуние.

— Она мне кажется иногда такой грустной там, над каналом, что у меня даже сердце щемит.

— Ей немало досталось на ее веку.

— Как ты думаешь, мы можем заказать еще по одному «Монтгомери»? —спросила девушка. И только тут полковник заметил, что англичане уже ушли.

Он ничего не видел, кроме ее лица. «Смотри, тебя еще убьют, если так будешь зевать,— сказал он себе.— С другой стороны, это своего рода сосредоточенность. Но так вести себя чертовски неосторожно!»

— Конечно, почему же нет?

— Мне от них делается очень приятно,— сказала девушка.

— У Чиприани их здорово готовят, они действуют даже на меня.

— Чиприани ужасно умный!

— Мало этого — он еще и мастер своего дела.

— Когда-нибудь он приберет к рукам всю Венецию.

— Не всю,— возразил он.— Тебя он не получит.

— Нет. Ни он и никто другой, пока ты меня хочешь.

— Я хочу тебя, дочка. Но я не хочу прибирать тебя к рукам.

— Знаю. Я тебя люблю и за это тоже.

— Давай позовем Этторе и попросим его позвонить к тебе домой. Ты им скажешь насчет портрета.

— Правильно. Если хочешь получить портрет сегодня, я попрошу дворецкого его упаковать и отправить. А потом я позову к телефону мамочку, скажу ей, где мы будем ужинать, и, если нужно, спрошу у нее разрешения.

— Не надо,— сказал полковник.— Этторе, дайте нам два самых лучших «Монтгомери» с мелкими оливками и, пожалуйста, позвоните домой к этой даме. Скажите нам, когда там кто-нибудь подойдет к телефону. И сделайте все побыстрей.

— Слушаюсь, полковник.

— Ну, а теперь, дочка, давай опять веселиться.

— Мы ведь уже начали, когда ты его подозвал.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Они шли по правой стороне улицы, которая вела к «Гритти». Ветер дул им в спину и трепал волосы девушки. Ветер разделил волосы на затылке, и они улетали вперед, прилипая к щекам. Они шли, заглядывая по дороге в витрины; девушка задержалась у освещенного окна ювелирного магазина.

Там было много старинных драгоценностей; они стали их разглядывать и показывать друг другу самые лучшие; для этого им пришлось разнять руки.

— Может, тебе что-нибудь тут хочется? Я могу утром купить. Чиприани даст мне денег взаймы.

— Нет,— сказала она,— мне ничего не хочется, ты ведь все равно никогда мне не даришь подарков.

— Ты гораздо богаче меня. Я привожу тебе из армейского магазина всякие мелочи и плачу в ресторанах.

— И катаешь меня в гондоле, и возишь в разные красивые места за город.

— Вот не думал, что тебе хочется получить в подарок камушки!

— Не потому, что это камушки. А потому, что это подарок, и на них можно смотреть, о них можно думать, когда их носишь.

— Для меня это новость,— сказал полковник.— Но разве я смог бы купить тебе на армейское жалованье что-нибудь вроде твоих квадратных изумрудов?

— Ах, ты не понимаешь! Они же мне достались по наследству. Их мне завещала бабка, а она получила их от своей матери, а та получила их от своей матери. Думаешь, приятно носить камни, которые достались тебе от мертвецов?

— Никогда об этом не думал.

— Хочешь, я тебе их дам, если ты любишь камни? Для меня они просто наряд, вроде парижского платья. Ты-то любишь носить парадный мундир?

— Нет.

— И саблю носить не любишь?

— Да нет же, говорю тебе, нет!

— Значит, ты не настоящий военный, а я не настоящая девушка. Но подари мне что-нибудь надолго, чтобы я могла это носить и радоваться каждый раз, когда надену.

— Хорошо,— сказал полковник.— Подарю.

— Видишь, какой ты сообразительный,— сказала девушка.— И как хорошо, что ты решаешь сразу. Пожалуйста, возьми мои изумруды, ты можешь носить их в кармане как талисман и трогать их каждый раз, когда соскучишься.

— На службе я редко держу руки в карманах. Я либо верчу в руках стек, либо показываю что-нибудь карандашом.

— Но ты можешь сунуть руку в карман хотя бы изредка и там их потрогать?

— Мне не скучно, когда я работаю. Так приходится голову ломать, что тут уж не до скуки.

— Но ты же теперь не работаешь.

— Да. Только делаю все, чтобы меня поскорее списали в расход.

— Я все равно тебе их отдам. Мама поймет, я уверена. Да мне и не надо ей сразу об этом рассказывать. Она

никогда не проверяет, целы ли мои вещи. А горничная ей не скажет.

— Нет, пожалуй, я их все-таки не возьму.

— Нет возьмешь, я тебя прошу.

— Я не уверен, что это порядочно.

— Это все равно, как если бы я сказала: я не уверерена, что я девушка! Все, что доставляет удовольствие тому, кого любишь, всегда порядочно.

— Ладно,— сказал он.— Возьму, и будь что будет.

— На, а теперь скажи «спасибо»,— сказала девушка и так ловко сунула ему в карман изумруды, что ей позавидовал бы любой карманник.— Я взяла их с собой потому, что давно это придумала и собиралась сделать всю неделю.

— А говоришь, что думала о моей руке.

— Не придирайся, Ричард. Тебе-то стыдно быть таким глупым! Ведь ты же трогаешь их рукой. Неужели ты сразу не догадался.

— Нет, не догадался. Ты права, я глупый. А что бы тебе хотелось из того, что выставлено тут, в витрине?

— Вон того негритенка с головой из черного дерева в тюрбане из мелких алмазов с маленьким рубином посредине. Я бы носила его вместо брошки. В старину все женщины у нас носили такие фигурки: им придавали сходство с любимым арапчонком. Я очень давно о нем мечтаю и хотела, чтобы мне подарил его ты.

— Я пришлю тебе его утром.

— Нет. Подари мне его за обедом, перед отъездом.

— Ладно.

— Ну, а теперь нам пора идти, не то мы опоздаем к ужину.

Они пошли дальше рука об руку, и, когда поднимались на первый мост, в лицо им яростно ударил ветер.

Почувствовав боль, полковник подумал: «Ну и черт с тобой!»

— Ричард,— попросила его девушка,— будь добр, положи руку в карман и потрогай их.

Полковник послушался.

— Знаешь, а они очень приятные на ощупь! — сказал он.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Они вошли через главный подъезд в светлый, теплый холл гостиницы «Гритти-палас», оставив за собой ветер и непогоду.

— Добрый вечер, графиня. Добрый вечер, полковник! Сегодня, кажется, очень холодно?— сказал портье.

— Да,— ответил полковник и не сдобрил ответа грубоватой шуточкой насчет того, как именно холодно или с какой силой дует ветер, что обычно доставляло им такое удовольствие, когда они бывали одни. Они вошли в коридор, который вел к главной лестнице и лифту, справа находились вход в бар, выход на Большой канал и дверь в ресторан; из бара вышел Gran Maestro. На нем был белый смокинг; он улыбнулся и поздоровался с ними.

— Добрый вечер, графиня. Добрый вечер, полковник.

— Здравствуйте, Gran Maestro,— ответил полковник.

Gran Maestro улыбнулся и, еще раз поклонившись, сказал:

— У нас ужинают в баре, в самом конце. Зимой тут почти никого не бывает, и ресторан слишком велик. Я оставил вам столик. Если хотите, на закуску можно подать хорошего омара.

— А он свежий?

— Я видел его утром, когда его принесли в корзинке с базара. Он был еще живой, темно-зеленый и смотрел на меня очень недружелюбно.

— Хочешь на закуску омара, дочка?

Полковник поймал себя на том, что назвал ее дочкой. Это заметил и Gran Maestro, и сама девушка. Но для каждого из них слово это прозвучало по-разному.

— Я решил придержать его для вас, на случай, если придут pescecani. Они сейчас играют на Лидо. Не думайте, что я хочу его вам сбыть.

— С удовольствием съем омара,— сказала девушка.— Холодного, с майонезом. Майонез, пожалуйста, поострее.— Она сказала это по-итальянски.— А омар — это не очень дорого? — озабоченно спросила она полковника.

— Ay, hija mia! [1]

— Потрогай, что у тебя в правом кармане,— сказала она.

— Я позабочусь, чтобы он не стоил слишком дорого,— сказал Gran Maestro.— А могу и сам за него заплатить. Недельного жалованья хватит с избытком.

— Нет, он уже продан Тресту,— сказал полковник; слово «трест» означало в военном коде войска, оккупирующие Триест.— Мне на это хватит дневного жалованья.

[1] Ах, дочка! (*испанск.*)

— Сунь руку в правый карман, и ты почувствуешь, какой ты богатый,— сказала девушка.

Gran Maestro сразу понял, что эта шутка не предназначена для чужих ушей, и молча удалился. Он радовался за девушку, которую уважал, и радовался за своего полковника.

— Я очень богатый,— сказал полковник,— но если ты будешь меня ими дразнить, я их тебе отдам, тут же, на глазах у всех, возьму и положу прямо на скатерть.

Теперь он дразнил ее сам, опрометью кинувшись в контратаку.

— Нет, не отдашь,— сказала она.— Ты уже их полюбил.

— Мало ли что! Я могу кинуть все, что люблю, с самого высокого утеса, какой только есть на свете, и уйду, даже не обернувшись!

— Нет, не можешь,— сказала девушка.— Ты меня не кинешь с высокого утеса.

— Не кину,— признался полковник.— И прости мне эти злые слова.

— Слова были не такие уж злые, да потом, я тебе и не поверила,— сказала девушка.— Ты лучше скажи, куда мне пойти причесаться — в дамскую комнату или к тебе?

— Куда хочешь.

— Конечно, к тебе, я хочу посмотреть, как ты живешь и как там все устроено.

— А что скажут в гостинице?

— В Венеции и так все всё знают. Но они знают, что я из хорошей семьи и девушка порядочная. И что ты — это ты, а я — это я. Мы у них еще пользуемся доверием.

— Ладно,— сказал полковник.— Пешком или на лифте?

— На лифте,— ответила она, и он заметил, что голос у нее не дрогнул.— Позови лифтера, а если хочешь, давай поедем сами.

— Поедем сами,— сказал полковник.— Я давно научился управлять лифтом.

Поездка прошла благополучно, если не считать небольшого толчка вначале и того, что лифт чуть-чуть не дотянул до площадки; полковник подумал: «Ничего себе, научился! Лучше подучись еще!» Коридор казался сейчас не только красивым, но и каким-то таинственным, а ключ он поворачивал в замке так, словно совершал обряд.

— Ну вот,— сказал полковник, распахивая дверь.— Вот и все, что я могу тебе предложить.

— Очень мало,—сказала девушка.— Но ужасно холодно — у тебя открыты окна.

— Сейчас закрою.

— Не надо. Пусть будут открыты, если тебе так лучше.

Полковник поцеловал ее и всем телом почувствовал ее длинное, молодое, гибкое, крепко сбитое тело; сам он был еще сильный и мускулистый, но его здорово покалечило; целуя ее, он ни о чем не думал. Поцелуй был долгий, они стояли, прижавшись друг к другу, а из открытых окон, выходивших на Большой канал, тянуло холодом.

— Ох!— вздохнула она. А потом снова:— Ох!

— Не охай. На что тебе жаловаться?— сказал полковник.— Не на что!

— Ты на мне женишься, и мы родим пятерых сыновей?

— Да! Да!

— Но ты этого хочешь?

— Конечно, хочу.

— Поцелуй меня еще раз, чтобы пуговицы на твоей куртке сделали мне больно. Только не очень больно.

Так они стояли и целовались.

— Ричард, знаешь, я должна тебя огорчить...— сказала она. Она сказала это просто, напрямик.

— Обидно?

— Да.

— Ну, что поделаешь, доченька!

Теперь в этом слове больше не было другого, тайного смысла — она и в самом деле была ему дочкой, он нежно любил ее и жалел.

— Ничего,— сказал он.— Ничего. Причешись, намажь губы и все такое прочее, а потом пойдем и хорошенько поужинаем.

— Нет, сначала повтори, что ты меня любишь, и прижми ко мне покрепче свои пуговицы.

— Я люблю вас,— церемонно сказал ей полковник.

А потом он прошептал ей на ухо так тихо, как он, бывало, шептал, когда до врага оставалось всего семь шагов, а сам он был молоденьким лейтенантом в патруле:

— Я люблю тебя, моя единственная, моя самая лучшая, самая последняя и настоящая любовь.

— Хорошо,— сказал она и поцеловала его так крепко, что он почувствовал приторно-соленый вкус крови на десне.

«Да, хорошо!» — подумал он.

— Ну, а теперь я причешусь, намажу губы, а ты на меня смотри.

— Хочешь, я закрою окна?

— Нет. Мы можем побыть с тобой и на холоде.

— Кого ты любишь?

— Тебя,— сказала она.— А ведь нам с тобой не очень-то везет?

— Не знаю,— сказал он.— Ладно, причесывайся!

Полковник пошел в ванную, чтобы умыться перед ужином. Ванная была единственным неудобством его номера. «Гритти» был когда-то дворцом, а в ту пору, когда его строили, особых мест для ванных не отводили, их пристроили потом в конце коридора, и если ты хотел помыться, надо было предупреждать заранее: тогда грели воду и вешали чистые полотенца.

Его ванная была выгорожена из угла какой-то комнаты и казалась полковнику скорее оборонительной, чем наступательной позицией. Умываясь, он заглянул в зеркало, чтобы проверить, не выпачкан ли он губной помадой, и увидел там свое лицо.

«У этого лица такой вид, будто его высек из дерева бездарный ремесленник»,— подумал он.

Он стал рассматривать рубцы и шрамы, оставшиеся еще с тех времен, когда не умели делать пластических операций, и незаметные для постороннего глаза следы отличных пластических операций после ранения в голову.

«Ну что же, вот и все, что я могу вам предложить в качестве gueule [1] или façade [2],— думал он.— Жалкий подарок. Одно утешение — загар, он прячет мое безобразие. Но боже ты мой, какой урод!»

Он не замечал, что глаза у него серые, как старый боевой клинок, от уголков глаз сбегают тоненькие морщинки — следы улыбок, а сломанный нос — как у гладиатора на какой-нибудь древней скульптуре. Не замечал он и доброго от природы рта, который умел порою быть беспощадным. «Ах, будь ты проклят,— сказал он в зеркало.— Злосчастный ты калека. Ну что ж, вернемся к нашим дамам». Он вошел в комнату и сразу стал молодым, как во времена своей первой атаки. Все, что у него было никудышного, осталось там, в ванной. «Правильно,— подумал он.— Там ему и место».

---

[1] Рожа *(франц.)*.

[2] Фасад *(франц.)*

«Où sont les neiges d'antan? Où sont les neiges d'autrefois? Dans le pissoir toute la chose comme ça»[1].

Девушка, которую звали Ренатой, распахнула дверцы высокого гардероба. Внутри были вставлены зеркала, и она расчесывала волосы.

Расчесывала она их не из кокетства и не для того, чтобы понравиться полковнику, хотя и знала, как это ему нравится. Она расчесывала их с трудом и без всякой жалости, а так как волосы были густые и непокорные, словно у крестьянок или великосветских красавиц, гребенке трудно было с ними справиться.

— Ветер их ужасно спутал,— сказал она.— Ты меня еще любишь?

— Да. Можно, я тебе помогу?

— Нет. Я всегда причесываюсь сама.

— Ты могла бы повернуться в профиль?

— Нет. Это все — для наших пятерых сыновей и для того, чтобы тебе было куда положить голову.

— Я думал только о лице,— сказал полковник.— Но спасибо, что ты напомнила. Какой я стал рассеянный!

— А я, наверно, слишком смелая.

— Нет,— сказал полковник.— В Америке эти штуки делают из проволоки и губчатой резины, как сиденья танков. И никогда не узнаешь, где свое, а где чужое, если только ты не такой нахал, как я.

— У нас не так,— сказала она и гребнем перекинула уже разделенные пробором волосы; прикрыв ей щеку, они спустились на шею и плечо.— Ты любишь, когда они гладко причесаны?

— Ну, не такие уж они гладкие, но зато дьявольски красивые.

— Я могла бы поднять их вверх, если тебе нравится гладкая прическа. Но я всегда теряю шпильки, и возиться с ними ужасно глупо! — Голос был такой красивый и так напоминал ему виолончель Пабло Казальса, что внутри у него невыносимо ныло, как от раны. «Но вынести можно все»,— подумал он.

— Я тебя люблю такой, какая ты есть,—сказал полковник.— Ты самая красивая женщина, каких я знал или видел — даже на картинах старых мастеров.

— Не понимаю, почему они до сих пор не прислали портрета.

— За портрет большое спасибо,— сказал полковник

[1] Где вы, снега минувших дней? Где вы, снега былого? Все это в писсуаре *(франц.)*.

и вдруг добавил совсем по-генеральски:— Но это все равно что шкура с дохлого коня.

— Пожалуйста, не будь таким грубым. Сегодня мне не хочется, чтобы ты был грубый.

— Я нечаянно вспомнил язык моего sale métier [1].

— Не надо,— сказала девушка.— Пожалуйста, обними меня. Нежно, но покрепче. Пожалуйста. И ремесло твое совсем не грязное. Это самое древнее и самое лучшее ремесло, хотя большинство тех, кто им занимается,— ничтожные люди.— Он прижал ее к себе изо всех сил, стараясь не причинить ей боли, и она сказала:

— Я бы не хотела, чтобы ты был адвокатом или священником. Или чем-нибудь торговал. Или чем-нибудь прославился. Мне нравится, что ты занимаешься твоим ремеслом, и я тебя люблю. Если хочешь, можешь мне шепнуть на ухо что-нибудь хорошее.

Полковник зашептал, крепко прижав ее к себе, и в этом прерывистом шепоте, который едва можно было расслышать, как тихий посвист собаке возле самого ее уха, звучала безысходность.

— Я люблю тебя, ты, проклятая! Но ты ведь мне и дочка тоже. И что мне все наши потери, если нам светит луна, наша мать и отец наш? Ну, а теперь пойдем ужинать!— Он прошептал ей это так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал.

— Хорошо,— сказала девушка.— Хорошо. Но сначала поцелуй.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Они сидели за столиком в самой глубине бара, где у полковника были прикрыты оба фланга, а угол зала надежно защищал тылы. Gran Maestro это понимал, недаром он когда-то был превосходным сержантом в хорошей роте отборного пехотного полка; он не стал бы сажать своего полковника посреди зала, как сам никогда бы не занял невыгодную оборонительную позицию.

— Омар,— объявил Gran Maestro.

Омар был внушительный. Он был вдвое больше обычного омара, а его недружелюбие выварилось в кипятке, и теперь, со своими выпученными глазами и длинными чуткими щупальцами, которые рассказывали ему о том, чего не видели глупые глаза, он был похож на памятник самому себе. «Омар немножко напоминает Джорджи

[1] Грязное ремесло *(франц.)*.

Паттона,— подумал полковник.— Но омар-то небось не плакал, когда бывал растроган».

— Как ты думаешь, он не жестковат?— спросил полковник девушку по-итальянски.

— Нет,— заверил их Gran Maestro, застывший в поклоне с омаром в руках.— Он совсем не жесткий. Он просто крупный, вот и все. Вы же знаете, какие они бывают.

— Ладно,— сказал полковник.— Давайте его сюда.

— А что вы будете пить?

— Ты что хочешь, дочка?

— А ты?

— Капри бьянка,— сказал полковник.— Сухое. И заморозьте его как следует.

— Уже готово,— сказал Gran Maestro.

— Как нам весело,— сказала девушка.— Видишь, нам опять весело и ничуть не грустно. А омар очень внушительный, правда?

— Очень,— сказал полковник.— Но пусть этот черт только попробует быть жестким!

— Он не будет жестким,— сказала девушка.— Gran Maestro не лжет. Как хорошо, что есть люди, которые не лгут!

— Замечательно, но они встречаются очень редко,— сказал полковник.— Я как раз думал о человеке по имени Джорджи Паттон, который, вероятно, ни разу в жизни не сказал правды.

— А ты когда-нибудь говоришь неправду?

— Я врал четыре раза в жизни. Всякий раз — когда уставал до смерти. Но и это не оправдание.

— Я очень много врала, когда была маленькая. Хотя чаще выдумывала всякие истории. Фантазировала. Я никогда не врала с корыстной целью. Этим я себя утешаю.

— А я врал,— сказал полковник.— Четыре раза.

— А ты бы стал генералом, если бы не врал?

— Если бы я врал, как другие, у меня было бы уже три генеральских звезды.

— А ты был бы счастливее, если бы у тебя было три звезды?

— Нет,— сказал полковник.— Ничуть.

— Положи в карман свою правую руку, ту самую руку, и скажи, что ты чувствуешь.

Полковник послушался.

— Здорово!— сказал он.— Но знаешь, я должен бу-

ду их тебе вернуть.

— Пожалуйста, не надо.

— Ладно, давай сейчас этого не обсуждать.

Тут подали разделанного омара.

Он был нежный, с какой-то особенной, тающей прелестью двигательных мышц, то есть хвоста, да и клешни были превосходные — не слишком тощие, но и не слишком мясистые.

— Омар отъедается в полнолуние,— сказал полковник.— Когда луны нет, его не стоит и заказывать.

— Я этого не знала.

— Это, наверно, потому, что в полнолуние он может есть всю ночь. Или в полнолуние пищи больше.

— Их, кажется, привозят с берегов Далмации?

— Да,— подтвердил полковник.— Это у вас тут самые рыбные места. Пожалуй, я мог бы сказать — у нас.

— Вот и скажи,— сказала девушка.— Ты и представить не можешь, как иногда важно что-то высказать.

— Да, но куда важнее написать это на бумаге.

— Нет,— сказала девушка.— Неправда. Разве бумага поможет, если слова не идут от сердца?

— А что, если у тебя нет сердца или сердце твое подлое?

— У тебя есть сердце, и оно совсем не подлое.

«Эх, с каким удовольствием я променял бы его на новое,— подумал полковник.— И зачем только из всех моих мышц сдает именно эта?» Но вслух полковник ничего не сказал и сунул руку в карман.

— На ощупь они чудные,— сказал он.— И ты у меня просто чудо.

— Спасибо,— сказала она.— Я буду вспоминать это всю неделю.

— Тебе достаточно взглянуть в зеркало.

— Теперь не могу смотреться в зеркало,— сказала она.— Красить губы и облизывать их, чтобы помада легла ровнее, расчесывать такую копну волос — разве это жизнь для женщины или для влюбленной девушки? Не так уж весело смотреться в зеркало и тратить время на женские уловки, когда тебе хочется быть луной и самыми разными звездами и жить со своим мужем и родить ему пятерых сыновей!

— Тогда давай поженимся.

— Нет,— сказала она.— Мне пришлось принять на этот счет решение. Как и насчет всего остального. У меня ведь целая неделя, чтобы принимать решения.

— Я тоже принимаю решения,— сказал полковник.— Но твое решение меня просто убивает.

— Давай тогда не будем о нем говорить. А то и у меня вот здесь немножко ноет. Давай лучше узнаем, что еще нам подаст Gran Maestro. Пожалуйста, пей вино. Ты его даже не попробовал.

— Сейчас попробую,— сказал полковник.

Он выпил глоток, вино было холодное и прозрачное, как вина Греции, но не терпкое, а запах был таким же свежим и ароматным, как у Ренаты.

— Оно похоже на тебя.

— Да. Знаю. Потому я и хотела, чтобы ты его попробовал.

— Я пью,— сказал он.— И выпью весь бокал.

— Ты хороший.

— Спасибо,— сказал полковник.— Я это буду вспоминать всю неделю и постараюсь быть хорошим.— Потом он позвал Gran Maestro. Gran Maestro подошел к ним с видом заговорщика, совсем позабыв о своей язве.

— Что вы предложите нам еще? — спросил он.

— Надо подумать,— сказал Gran Maestro.— Сейчас узнаю. Ваш земляк сел тут рядом, ему все слышно. Он отказался сесть в дальний угол.

— Ладно,— сказал полковник,— мы уж позаботимся, чтобы ему было о чем писать.

— Знаете, он ведь пишет каждую ночь! Мне рассказывал мой товарищ из той гостиницы.

— Отлично,— сказал полковник.— Это показывает, что он человек прилежный, даже если он уже исписался.

— Все мы люди прилежные,— сказал Gran Maestro.

— Кто в чем.

— Пойду выясню, что у нас сегодня из мясного.

— Выясните как следует.

— Я человек прилежный.

— И к тому же чертовски рассудительный.

Когда Gran Maestro отошел, девушка сказала:

— Он прекрасный человек, я рада, что он тебя любит.

— Мы с ним друзья,— сказал полковник.— Надеюсь, у него найдется для тебя хороший бифштекс.

— Есть один отличный бифштекс,— сообщил, возвратившись, Gran Maestro.

— Возьми его, дочка. Меня все время кормят бифштексами в офицерской столовой. Хочешь с кровью?

— Да, пожалуйста, с кровью.

— Al sangue [1],— заявил полковник.— Как говорил Джон, объясняясь с официантом по-французски: crudo [2], bleu [3], а проще говоря — с кровью.

— Значит, с кровью,— повторил Gran Maestro.— А вам, полковник?

— Эскалоп в сладком винном соусе и цветную капусту в масле. Если найдется, дайте еще артишок с уксусом. Тебе что к мясу, дочка?

— Картофельное пюре и салат.

— Не забывай, что ты еще растешь.

— Да, но я не хочу расти слишком или не там, где надо.

— Тогда все,— сказал полковник.— Как насчет fiasco [4] вальполичеллы?

— Мы не держим вина в fiasco. У нас ведь первоклассная гостиница. Вино мы получаем в бутылках.

— Совсем забыл,— сказал полковник.— А помните, оно стоило тридцать чентезимо литр?

— А помните, как на станциях мы швыряли из эшелонов пустыми бутылками в жандармов?

— А возвращаясь с Граппы, побросали под гору оставшиеся гранаты!

— И те, кто видел взрывы, решили, что австрийцы прорвали фронт, и как вы перестали бриться, и мы носили fiamme nere [5] на серых тужурках, а под тужуркой серый свитер!

— И как я напивался до того, что даже вкуса вина не различал! Ну и бедовые же мы были ребята,— сказал полковник.

— Еще какие бедовые,— сказал Gran Maestro.— Просто головорезы, а вы были из нас самый отпетый!

— Да,— сказал полковник.— Это верно, мы были головорезы. Ты уж нас прости, дочка, ладно?

— А у тебя не осталось фотографии тех лет?

— Нет. Мы тогда не снимались, кроме того раза, с господином д'Аннунцио. К тому же большинство из нас плохо кончили.

— Кроме нас двоих,— сказал Gran Maestro.— Ладно, пойду присмотрю за бифштексом.

---

[1] С кровью *(итал.)*.
[2] Сырой *(итал.)*.
[3] Синий *(франц.)*.
[4] Двухлитровая бутыль *(итал.)*.
[5] Черные нашивки в виде языков пламени *(итал.)*.

Полковник задумался — теперь он снова был младшим лейтенантом и ехал на грузовике, весь в пыли, на лице его были видны только стальные глаза, веки были красные, воспаленные.

«Три ключевые позиции,— вспоминал он.— Массив Граппы с Ассалоне и Пертикой и высотой справа, названия которой не помню. Вот где я повзрослел, каждую ночь просыпаясь в холодном поту,— мне все снилось, будто я не смогу заставить солдат вылезти из машин. И зря они вылезли, как потом оказалось. Ну и ремесло!»

— В нашей армии,— сказал он девушке,— ни один генерал, в сущности, никогда не воевал. Для них это занятие непривычное, поэтому наверху у нас не любят тех, кто воевал.

— А генералы вообще воюют?

— Ну да, пока они еще капитаны или лейтенанты. Потом это выглядело бы просто глупо. Разве что отступаешь, тогда волей-неволей приходится драться.

— А тебе много пришлось воевать? Я знаю, что много. Но ты расскажи.

— Достаточно, чтобы наши мудрецы причислили меня к разряду дураков.

— Расскажи.

— Когда я был мальчишкой, я дрался против Эрвина Роммеля на полпути между Кортиной и Граппой, которую мы тогда удерживали. Он был еще капитаном, а я исполнял обязанности капитана, хоть и числился всего младшим лейтенантом.

— Ты его знал?

— Нет. Я познакомился с ним только после войны, когда нам можно было поговорить. Он оказался человеком приятным, мне он понравился. Мы вместе ходили на лыжах.

— А ты много знал немцев, которые тебе нравились?

— Очень много. Больше всех мне нравился Эрнст Удет.

— Но ведь они так подло поступали!

— А разве мы всегда поступали благородно?

— Я не могу относиться к ним так терпимо, как ты,— ведь это они убили моего отца и сожгли нашу виллу на Бренте! Мне они никогда не нравились. Особенно с того дня, как немецкий офицер у меня на глазах стрелял из дробовика по голубям на площади Святого Марка.

— Я тебя понимаю,— сказал полковник.— Но, пожалуйста, дочка, пойми и ты меня. Когда убьешь так мно-

го врагов, можно позволить себе быть снисходительным.

— А сколько ты убил?

— Сто двадцать два верных. Не считая сомнительных.

— И совесть тебя не мучит?

— Никогда.

— И дурные сны не снятся?

— Нет, дурные не снятся. Странные снятся все время. После боя я всегда дерусь во сне. Чаще всего вижу какую-нибудь местность. Ведь для нашего брата главное — какой попадется рельеф. Вот об этом и думаешь во сне.

— А меня ты никогда не видишь во сне?

— Стараюсь, но не могу!

— Надеюсь, портрет тебе поможет.

— Будем надеяться,— сказал полковник.— Напомни мне, чтобы я вернул тебе камни.

— Ты нарочно хочешь меня огорчить?

— У меня есть свои скромные правила чести, и они мне так же дороги, как нам обоим наша любовь. И одно не может существовать без другого.

— Но ты бы мог мне иногда уступить.

— А я тебе и уступаю,— сказал полковник.— Ведь камни пока у меня в кармане.

К ним подошел Gran Maestro, сопровождая бифштекс, эскалоп и овощи. Их нес парнишка с гладко прилизанными волосами, он плевал на всех и на всё, но из кожи лез вон, чтобы стать хорошим младшим официантом. Его уже приняли в члены Ордена. Gran Maestro ловко разложил еду, с уважением и к ней самой, и к тем, кто ее будет есть.

— На здоровье,— сказал он.— Открой-ка бутылку вальполичеллы,— обратился он к парнишке, который поглядывал на них глазами недоверчивого спаниеля.

— А за что вы взъелись на этого типа?— спросил полковник, кивая на своего рябого земляка, который шумно жевал; его пожилая спутница ела с жеманством провинциалки..

— Скорее я должен вас об этом спросить. А не вы меня.

— Я его никогда раньше не видел,— сказал полковник.— Но он портит мне аппетит.

— Он смотрит на меня сверху вниз. Упорно не желает говорить со мной по-английски, а по-итальянски двух слов связать не может. Осматривает все подряд по

Бедекеру, ест и пьет что попало. Женщина симпатичная. Кажется, это его тетка. Но точно не знаю.

— Мы бы вполне могли без него обойтись.

— Я тоже так думаю. Скрепя сердце.

— Он о нас расспрашивал?

— Спросил, кто вы такие. Имя графини он слышал — в путеводителе указаны дворцы, которые принадлежали ее роду. Ваше имя, сударыня, произвело на него впечатление, я для этого вас и назвал.

— Как вы думаете, он нас опишет в какой-нибудь книге?

— Не сомневаюсь. Он описывает все подряд.

— Мы должны попасть в какую-нибудь книгу,— сказал полковник.— Ты, дочка, не возражаешь?

— Конечно, нет,— сказала девушка.— Но лучше бы ее написал Данте.

— Что-то давно его не видно, этого Данте.

— Расскажи мне что-нибудь о войне,— попросила девушка.— Из того, что мне можно знать.

— Пожалуйста. Все, что хочешь.

— Что за человек генерал Эйзенхауэр?

— Само благонравие. Хоть я к нему, видно, несправедлив. Да он и не всегда сам себе хозяин. Отличный политик. Политический генерал. Это он умеет.

— А другие ваши полководцы?

— Лучше о них не говорить. Они достаточно говорят о себе сами в своих мемуарах. Почти все они и в самом деле смахивают на полководцев и состоят в «Ротари-клубе», о котором мы и не слыхали. Члены этого клуба носят эмалированный жетон со своим именем, там штрафуют, если назовешь кого-нибудь по фамилии. Воевать им, правда, не приходилось. Никогда.

— Неужели среди них нет хороших военных?

— Нет, почему же. Школьный учитель Брэдли, да и многие другие. Вот хотя бы Молниеносный Джо. Он парень славный. Очень славный.

— А кем он был?

— Командовал седьмым корпусом, куда входила моя часть. Умен как бес. Быстро принимает решения. Точен. Теперь он начальник штаба.

— Ну, а великие полководцы, о которых мы столько слышим, вроде генералов Монтгомери и Паттона?

— Забудь их, дочка. Монти — это такой тип, которому нужен пятнадцатикратный перевес над противником, да и тогда он никак не решается выступить.

— А я всегда считала его великим полководцем!

— Никогда он им не был,— сказал полковник.— И хуже всего, что он это знает сам. Как-то при мне он приехал в гостиницу, снял военный мундир и напялил юбочку, чтобы поднять дух населения.

— Ты его не любишь?

— Почему? Просто он типичный английский генерал, отсюда все его качества. Так что ты насчет великих полководцев помалкивай.

— Но он ведь разбил генерала Роммеля.

— А ты думаешь, там, кроме него, против Роммеля никого не было? Да и кто не победит, имея пятнадцатикратный перевес? Когда мы тут воевали мальчишками, Gran Maestro и я, мы побеждали целый год, побеждали в каждом бою при их перевесе в три или четыре к одному. Выдержали три тяжелых сражения. Вот почему мы не прочь подшутить над собой и не пыжимся, как индюки. В тот год мы потеряли больше ста сорока тысяч убитыми. Вот почему мы умеем подурачиться и нет в нас никакого чванства.

— Какая страшная наука, если только это вообще наука,— сказала девушка.— Терпеть не могу военные памятники при всем моем уважении к погибшим.

— Да я и сам их не люблю. Как и дела, во славу которых их воздвигали. Ты когда-нибудь над этим думала?

— Нет. Но я хотела бы об этом знать.

— Лучше не знать,— сказал полковник.— Ешь бифштекс, пока он не остыл, и прости, что я заговорил о своем ремесле.

— Я его ненавижу. И люблю.

— Видно, мы смотрим на вещи одинаково,— сказал полковник.— Но о чем сейчас размышляет там, через два столика от нас, мой рябой земляк?

— О своей новой книге или о том, что написано в Бедекере.

— Не поехать ли нам после ужина покататься на ветру в гондоле?

— Это было бы чудесно.

— Скажем рябому, куда мы едем, а? Мне почему-то кажется, что у него дырявое не только лицо, но и сердце, и душа, а может, интерес к жизни дырявый.

— Ничего мы ему не скажем,— возразила девушка.— Gran Maestro передаст ему все, что мы сочтем нужным.

Она прилежно принялась за бифштекс, а потом ска-

зала: — Как ты думаешь, правда, что после пятидесяти на лице у человека все написано?

— Надеюсь, что нет. У меня бы тогда было другое лицо.

— Ты,— сказала она.— Ты...

— Как бифштекс?— спросил полковник.

— Замечательный. А твой эскалоп?

— Очень нежный, и соус совсем не приторный. А гарнир вкусный?

— Цветная капуста даже хрустит, как сельдерей.

— Надо было заказать сельдерей. Но вряд ли у них есть сельдерей, не то Gran Maestro сам бы его принес.

— Правда, нам весело ужинать? Вот если бы мы могли всегда есть вдвоем!

— Я тебе это предлагал.

— Не будем об этом говорить.

— Ладно,— сказал полковник.— Я тоже принял одно решение. Я брошу армию и поселюсь тут, в Венеции; буду жить очень скромно, на пенсию.

— Вот было бы хорошо! А как ты выглядишь в штатском?

— Ты же меня видела.

— Конечно, милый. Я просто пошутила. Ты ведь тоже иногда шутишь не очень деликатно.

— Штатское мне идет. Если только у вас тут есть хороший портной.

— У нас нет, но в Риме найдется. А мы не можем поехать в Рим на машине и заказать тебе костюм?

— Давай. Мы остановимся за городом, в Витербо, и будем ездить в город только на примерки и ужинать. А ночью будем возвращаться к себе.

— И встречаться с кинозвездами, говорить о них то, что думаем, а может, и выпивать с ними иногда.

— Да, уж кинозвезд там сколько угодно.

— А мы увидим, как они женятся во второй и третий раз и получают папское благословение?

— Если тебе это интересно.

— Нет, не интересно,— сказала девушка.— Я ведь поэтому и не могу выйти за тебя замуж.

— Понятно,— сказал полковник.— Спасибо.

— Но я буду любить тебя, чего бы мне это ни стоило, а мы с тобой прекрасно знаем, чего это стоит, я буду любить тебя, пока мы живы и даже после.

— Я не уверен, что можно любить после того, как умрешь,— сказал полковник.

Он принялся сосать артишок, отрывая листок за листком и макая их мясистым концом в соус.

— Я тоже в этом не уверена,— сказала девушка.— Но я постараюсь. Разве не приятно, что тебя любят?

— Да,— сказал полковник.— Я чувствую себя так, словно был раньше на голом скалистом пригорке,— кругом камень, ямки не выроешь, нигде ни кустика, ни выступа, и вдруг оказывается, ты укрылся, ты в танке. Тебя теперь защищает броня, и поблизости нет ни одной противотанковой пушки.

— Расскажи это нашему другу писателю, у которого лицо изрыто, как поверхность луны,— пусть запишет сегодня ночью.

— Я бы рассказал это Данте, будь он тут поблизости,— заметил полковник, который вдруг разбушевался, как бушует море, когда налетит шквал.— Я бы ему объяснил, что это такое — вдруг очутиться в танке, когда ты уверен, что тебе крышка.

В этот миг в зал вошел барон Альварито. Он искал их; взглядом охотника он их сразу приметил. Подойдя к столику, он поцеловал у Ренаты руку и сказал:

— Ciao, Рената.

Альварито был довольно высок, костюм отлично сидел на его складном теле, однако это был самый застенчивый человек, какого полковник знал в своей жизни. Он был застенчив не от невежества, неловкости или какого-нибудь физического недостатка. Он был застенчив по природе, как некоторые звери, ну, хотя бы антилопа-бонго — ее никогда не увидишь в джунглях, и на нее охотятся с собаками.

— Здравствуйте, полковник,— сказал он и улыбнулся, как может улыбаться очень застенчивый человек. Это не было ни спокойной усмешкой человека, уверенного в себе, ни кривой, язвительной улыбкой пройдохи или подлеца, ни деланной, расчетливой улыбочкой придворного или политикана. Это была удивительная, редкая улыбка, которая поднимается из самых сокровенных глубин, более глубоких, чем колодец или глубочайшая шахта, из самого нутра.

— Я зашел на минутку. Я хотел вам сказать, что виды на охоту прекрасные. Утки летят с севера тучами. И крупных много. Таких, как вы любите.

— Садитесь, Альварито. Прошу вас.

— Нет,— сказал Альварито.— Встретимся в гараже в два тридцать, хорошо? Вы на своей машине?

— Да.

— Вот и отлично. Если выедем вовремя, увидим уток еще до темноты.

— Великолепно,— сказал полковник.

— Ciao, Рената. До свидания, полковник. Значит, завтра, в два тридцать.

— Мы знаем друг друга с детства,— сказала девушка.— Он старше меня года на три. Но он уже родился стариком.

— Да. Знаю. Мы с ним большие приятели.

— Как ты думаешь, твой земляк нашел его в своем путеводителе?

— Кто его знает,— сказал полковник.— Gran Maestro,— спросил он,— вы не видели, мой прославленный соотечественник искал барона в Бедекере?

— По правде говоря, полковник, я не заметил, чтобы он вынимал Бедекер во время еды.

— Поставьте ему за поведение пятерку,— сказал полковник.— А знаете, это вино лучше, когда оно не слишком выдержанное. Вальполичелла не grand vin [1]; когда его разливают в бутылки и держат годами, оно дает только осадок. Согласны?

— Согласен.

— Как же нам тогда быть?

— Сами знаете, полковник, в большой гостинице вино должно стоить денег. И в «Рице» вы дешевого вина не получите. Я бы вам посоветовал купить несколько fiasco хорошего вина; вы можете сказать, что оно из имения графини Ренаты и прислано вам в подарок. Потом я перелью его в графины. Таким образом, и вино у нас будет получше, и мы еще на этом порядочно сэкономим. Если хотите, я объясню управляющему.

— Объясните. Он ведь тоже не из тех, кто выбирает вино по этикеткам.

— Правильно. А пока пейте это. Оно тоже хорошее.

— Да,— сказал полковник.— Но ему далеко до шамбертена.

— А что мы пили когда-то?

— Что попало,— сказал полковник.— Но теперь я ищу совершенства. Или, вернее, не совершенства вообще, а того, какое могу купить за свои деньги.

— Я ищу его тоже,— сказал Gran Maestro.— Но тщетно. Что вы хотите на десерт?

---

[1] Коллекционное вино *(франц.)*.

— Сыр,— сказал полковник.— А ты, дочка?

Увидев Альварито, девушка притихла и теперь казалась рассеянной. Она о чем-то раздумывала, а голова у нее была светлая.

— Пожалуйста, сыру,— сказала она. В эту минуту она была далеко от них.

— А какого вам сыру?

— Принесите что есть, а мы выберем,— сказал он.

Когда Gran Maestro ушел, полковник спросил ее:

— Что с тобой, дочка?

— Ничего. Ровно ничего. Как всегда, ничего.

— Тогда не витай в облаках. У нас для такой роскоши нету времени.

— Да. Ты прав. Давай займемся сыром.

— Тебе не нравится, что я сказал?

— Да нет,— сказала она.— Положи правую руку в карман.

— Хорошо,— сказал полковник.— Сейчас.

Он положил правую руку в карман и нащупал то, что там лежало, сперва кончиками пальцев, потом всеми пятью пальцами и наконец ладонью, искалеченной ладонью.

— Прости,— сказала она.— А теперь давай опять веселиться. И займемся сыром.

— Отлично,— сказал полковник.— Интересно, какой сыр он нам принесет?

— Расскажи о последней войне. А потом мы поедем кататься на холодном ветру в гондоле.

— Да это не так уж интересно,— сказал полковник.— Правда, для нас, военных, такие вещи всегда интересны. Но в этой войне было всего три, самое большее четыре этапа, которые интересовали меня.

— Почему?

— Мы сражались с уже разбитым противником, у которого были прерваны коммуникации. На бумаге мы уничтожили целую уйму дивизий, но все это были призрачные дивизии. Не настоящие. Их уничтожала наша тактическая авиация, прежде чем они успевали сосредоточиться. Трудно было только в Нормандии из-за рельефа, да еще когда мы прорвали фронт и должны были держать брешь, чтобы могли пройти танки Джорджи Паттона.

— А как это делают прорыв для танков? Расскажи, пожалуйста.

— Сперва дерутся, чтобы захватить город на скреще-

нии главных дорог. Назовем этот город хотя бы Сен-Ло. Потом надо оседлать дороги, взяв соседние города и деревни. Противник удерживает главную линию обороны, но не может стянуть дивизии для контрудара, так как штурмовая авиация перехватывает их на дорогах. Тебе не скучно? Мне все это надоело до чертиков.

— А мне нет. Я еще никогда не слышала, чтобы объясняли так понятно.

— Спасибо,— сказал полковник.— Ты уверена, что тебе хочется обучиться этой страшной науке?

— Да,— сказала она.— Ведь я тебя люблю и хочу, чтобы ты разделил ее со мной.

— Никто не может разделить мое ремесло с кем бы то ни было,— сказал полковник.— Я только рассказываю тебе, как это делается. И могу добавить несколько анекдотов, чтобы тебе было интереснее.

— Пожалуйста.

— Взять Париж ничего не стоило,— сказал полковник.— Пустая жестикуляция, войны тут никакой не было. Мы застрелили несколько писарей — сняли заслон, который, как всегда, оставили немцы, чтобы прикрыть свой отход. Наверно, они решили, что им больше не понадобится столько писарей, и поставили их под ружье.

— Разве взятие Парижа не было большой победой?

— Люди Леклерка — еще один хлюст третьего или четвертого сорта, чью кончину я отпраздновал бутылкой перье-жуэ сорок второго года,— расстреляли немало патронов, чтобы это выглядело шикарнее, благо патронов они получили от нас вдоволь. Но это была чепуха.

— Ты там участвовал?

— Да,— сказал полковник.— Смело могу сказать, что участвовал.

— И это не произвело на тебя впечатления? В конце концов, это же был Париж, и не каждому приходилось его брать.

— Сами французы взяли его четырьмя днями раньше. Но по великому плану штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил, где собрались все тыловые политиканы из военных,— они носили нашивку, изображавшую что-то пламенное, а мы листик клевера как опознавательный знак, но больше на счастье,— так вот, по этому хитроумному плану город надо было окружить. Просто взять его мы не могли. К тому же нам пришлось дожидаться прибытия генерала и даже фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери, который не

сумел заткнуть брешь у Фалеза, продвигаться вперед было нелегко, вот он к нам вовремя и не поспел.

— Наверно, вам его очень не хватало,— сказала она.

— Еще бы,— откликнулся он.— Ужасно не хватало.

— Но разве во всем этом не было ничего благородного, ничего героического?

— А как же,— сказал полковник.— Мы пробивались из Ба-Медона через Пор-де-Сен-Клу по улицам, которые я знал и любил, и у нас не было ни одного убитого, и мы старались причинить городу как можно меньше вреда. На площади Звезды я взял в плен дворецкого Эльзы Максуэлл. Это была очень сложная операция. На него донесли, будто он японский снайпер и застрелил несколько парижан. Такого мы еще не слыхали! Вот мы и послали трех солдат на крышу, где он прятался, но он оказался безобидным парнишкой из Индокитая.

— Я начинаю понемножку понимать. Но как все это обидно!

— Всегда обидно, еще как обидно! Но в нашем ремесле нельзя ничего принимать близко к сердцу.

— Ты думаешь, что во время кондотьеров было то же самое?

— Уверен, что еще хуже.

— Но рука у тебя ранена честно?

— Да. В самом что ни на есть честном бою. На каменистой, голой, как плешь, высоте.

— Пожалуйста, дай мне ее потрогать,— сказала она.

— Только поосторожнее с ладонью,— сказал полковник.— Она пробита, и рана нет-нет да и открывается.

— Тебе надо писать,— сказала девушка.— Я говорю серьезно. Люди должны обо всем этом знать.

— Нет,— возразил полковник.— У меня нет таланта, и я знаю слишком много. Любой враль почти всегда пишет убедительнее очевидца.

— Но писали же другие военные!

— Да. Мориц Саксонский. Фридрих Великий. Су Цинь.

— А в наше время?

— Ты не задумываясь сказала «в наше». Но мне это нравится.

— Ведь многие из нынешних военных пишут!

— Пишут. Ну, а ты их читаешь?

— Нет. Я читаю главным образом классиков и скандальную хронику в иллюстрированных журналах. И твои письма.

— Ты бы их сожгла,— сказал полковник.— Они ни к черту не годятся.

— Пожалуйста, не будь таким грубым.

— Не буду. Что бы тебе рассказать поинтереснее?

— Расскажи, как ты был генералом.

— Ах, об этом.— Он сделал Gran Maestro знак принести шампанское. Это был редерер сорок второго года, который он любил.— Если ты занимаешь генеральскую должность, ты живешь в прицепном фургоне, и твой начальник штаба живет в таком же фургоне, и у тебя есть выпивка, когда у других ее нет. Твои начальники отделов живут на КП. Я бы мог о них рассказать, но тебе будет скучно. Я бы мог рассказать о начальниках первого, второго, третьего, четвертого и пятого отделов, но у немцев был и шестой. Боюсь только, что тебе будет скучно... Если ты генерал, у тебя есть карта под плексигласом и на ней — три полка из трех батальонов каждый. Все это нанесено на карту цветным карандашом. На карте указаны разграничительные линии, чтобы батальоны не лезли куда попало и не перестреляли друг друга. Каждый батальон состоит из пяти рот. Все батальоны должны быть хорошими, но среди них есть хорошие, а есть и похуже. Кроме того, у тебя есть дивизионная артиллерия, танковый батальон и целая гора запчастей. Вся твоя жизнь сводится к координатам на карте.— Он помолчал, пока Gran Maestro разливал радерер сорок второго года.

— Из корпуса, из cuerpo d'Armata,— перевел он, и в голосе его зазвучала неприязнь,— дают указания, что делать, а ты решаешь, как это сделать. Диктуешь приказы писарю, а чаще отдаешь их по телефону. Вынимаешь душу из людей, которых ты уважаешь, заставляя их делать заведомо невозможное, потому что приказ есть приказ. Ломаешь себе голову, ложишься бог знает когда, а встаешь чуть свет.

— И ты об этом не напишешь? Даже чтобы доставить мне удовольствие?

— Нет,— сказал полковник.— Книги о войне обычно пишут нервные юноши, они чуть-чуть свихнулись и сохранили свежесть воспоминаний о первом дне боев или о первых трех или четырех таких днях. Это неплохие книги, но тому, кто там был, они кажутся скучными. Другие пишут, чтобы поживиться на войне, которой они и не нюхали,— те, что удирали в тыл, чтобы поскорее сообщить новости с фронта. И не такие уж это бы-

ли новости. Профессиональные писатели пристроились на службе в тылу и писали о боях, в которых ничего не смыслили, так, словно видели их своими глазами. Не знаю, как назвать такой грех! Вот и какой-то лощеный моряк в звании капитана, который даже шлюпкой не смог бы командовать, написал про тайную подоплеку поистине Великой войны. Рано или поздно каждый выпускает свою книгу. Может, нам когда-нибудь перепадет и хорошая. Но я, дочка, книг не пишу.

Он сделал Gran Maestro знак налить бокалы.

— Gran Maestro,— спросил он,— вы любите воевать?

— Нет.

— Но мы ведь воевали?

— Да. Слишком много.

— А как у вас со здоровьем?

— Великолепно, если не считать язвы, ну и сердце чуть-чуть пошаливает.

— Не может быть,— сказал полковник и почувствовал, как забилось его сердце, у него даже перехватило дыхание.— Вы мне говорили только про язву.

— Ну вот, а теперь вы все знаете...— Gran Maestro не закончил фразы и улыбнулся широкой, ясной улыбкой, озарившей его лицо, как луч солнца.

— Сколько у вас было приступов?

Gran Maestro поднял два пальца, как человек, который сигнализирует на скачках своему букмекеру и ждет ответного кивка, скрепляющего сделку.

— Я вас обскакал,— сказал полковник.— Но довольно ныть! Подлейте лучше донне Ренате этого превосходного вина.

— Ты не говорил мне, что у тебя они были опять,— сказала девушка.— Ты от меня это скрыл.

— С тех пор как мы в последний раз виделись, ничего больше не было.

— А ты не думаешь, что это из-за меня? Не то я приеду к тебе, и останусь, и буду о тебе заботиться.

— Это всего-навсего мышца,— сказал полковник.— Но, видишь ли, это главная мышца. Она работает, как хорошо налаженная машина. И беда в том, что, когда она сдает, ее не пошлешь в гарантийный ремонт. А когда она остановится, ты этого даже не узнаешь. Умрешь — и все.

— Пожалуйста, не надо об этом.

— Ты сама меня спросила,— сказал полковник.

— А у этого рябого с потешным лицом, у него таких

вещей не бывает?

— Конечно, нет,— сказал полковник.— Если он посредственный писатель, он будет жить вечно.

— Почем ты знаешь? Ты ведь не писатель.

— Бог миловал, я не писатель. Но кое-что читал. У нас, пока мы не женаты, на чтение остается уйма времени. Может, и не столько, сколько у моряков торгового флота. Но все же достаточно. Я могу отличить одного писателя от другого, и уж ты мне поверь: посредственному писателю суждена долгая жизнь. Им всем надо назначить пенсию по старости.

— Давай не будем об этом говорить,— слишком мне это горько, расскажи лучше какую-нибудь историю.

— Я могу рассказать тебе сотню всяких историй. Ничего не выдумывая.

— Расскажи хотя бы одну. Потом мы допьем вино и поедем кататься.

— А тебе не будет холодно?— спросил полковник.

— Конечно, нет.

— Что бы тебе рассказать? Тем, кто не воевал, скучно слушать про войну. Разве какие-нибудь небылицы.

— Я бы хотела знать, как вы брали Париж.

— Почему? Ты вспомнила, что я тебе говорил, будто ты похожа на Марию-Антуанетту по дороге на казнь?

— Нет. Я, правда, была польщена и знаю, что в профиль мы немножко похожи. Но меня никогда не везли в тележке на казнь, и я хочу, чтобы ты мне рассказал о Париже. Когда любишь и он для тебя герой, всегда интересно слушать, где он был и что делал.

— Пожалуйста, повернись в профиль,— сказал полковник,— и я все тебе расскажу. Gran Maestro, в этой несчастной бутылке еще что-нибудь осталось?

— Нет,— ответил Gran Maestro.

— Тогда дайте другую.

— Я ее уже заморозил.

— Отлично. Несите ее сюда. Итак, дочка, мы отделились от колонны генерала Леклерка в Кламаре. Они пошли на Монруж и Пор-д'Орлеан, а мы двинулись прямо на Ба-Медон и захватили мост в Пор-де-Сен-Клу. Это не слишком подробно, тебе не скучно?

— Ничуть.

— Жаль, что нету карты.

— Дальше.

— Мы захватили мост и предмостные укрепления на той стороне реки, сбросив в Сену немцев, обороняв-

ших мост,— и живых и мертвых.— Он помолчал.— Да, мост они нам просто подарили. Его надо было взорвать. Немцев сбросили в Сену. Но там были одни писари.

— Дальше.

— На следующее утро нам сообщили, что немцы укрепились в ряде мест, стянули на Мон-Валерьен артиллерию, а по улицам шныряют танки. Кое-что тут было правдой. К тому же нам приказали не торопиться, так как город полагалось взять генералу Леклерку. Я послушался приказа и стал продвигаться как можно медленнее.

— А как это делается?

— Откладываешь атаку часика на два и потягиваешь шампанское, кто бы тебе его ни подносил — патриоты, коллаборационисты или просто болельщики.

— Но неужели там не было ничего потрясающего или величественного, как пишут в книгах?

— Конечно, было. Сам город. Народ был вне себя от счастья. Старые генералы расхаживали по улицам в изъеденных молью мундирах. Да мы и сами радовались, что нам не пришлось драться.

— Неужели вам совсем не пришлось драться?

— Всего три раза. Да и то не по-настоящему.

— Всего три раза, чтобы взять такой город?

— Дочка, мы двенадцать раз вступали в бой от Райбуйе до Парижа. Но настоящих боев было только два. В Туссю-ле-Нобль и в Лебюке. Остальное было просто приправой. Мне, в общем, и не пришлось драться, если не считать этих двух стычек.

— Расскажи, как дерутся.

— Скажи, что ты меня любишь.

— Я люблю тебя,— сказала девушка.— Если хочешь, можешь напечатать об этом в «Gazzetino». Я люблю твое жесткое, сухое тело и твои странные глаза — я их боюсь, когда они злеют. Я люблю твою руку и все твои раны.

— Теперь и я должен сказать тебе что-нибудь очень хорошее. Во-первых, я люблю тебя.

— А почему бы тебе не купить хорошего стекла?— спросила вдруг девушка.— Мы можем вместе съездить в Мурано.

— Я ничего не понимаю в стекле.

— Я могу тебя научить. Вот было бы весело!

— В нашей бродячей жизни не обзаводятся венецианским стеклом.

— Ну, а когда ты выйдешь в отставку и поселишься здесь?

— Тогда и купим.

— Я бы хотела, чтобы это было сегодня.

— Я тоже, но сегодня это сегодня, а завтра я поеду на охоту за утками.

— А мне можно поехать с тобой на охоту?

— Если Альварито тебя пригласит.

— Я могу заставить его меня пригласить.

— Сомневаюсь.

— Невежливо сомневаться в том, что говорит твоя дочка, она уже слишком взрослая, чтобы лгать.

— Ладно, дочка. Беру свои слова обратно.

— Спасибо. За это я не поеду и не буду вам мешать. Я останусь в Венеции и пойду к мессе с мамой, и ее теткой, и с моей теткой, а потом навещу своих бедняков. Я ведь единственная дочь, и у меня много обязанностей.

— Меня всегда интересовало: что ты делаешь целый день?

— Вот это я и делаю. А потом попрошу горничную помыть мне голову и сделать маникюр.

— Но ведь будет воскресенье.

— Тогда я займусь этим в понедельник. А в воскресенье прочту все иллюстрированные журналы, и самые неприличные тоже.

— Может, там будет фотография мисс Бергман. Ты все еще хочешь быть на нее похожа?

— Уже нет,— сказала девушка.— Я хочу быть похожа на самое себя, только много, много лучше, и я хочу, чтобы ты меня любил. И еще,— добавила она вдруг, глядя на него прямо и не таясь,— я хочу быть такой, как ты. Можно мне сегодня быть такой, как ты?

— Конечно. И спасибо, что ты больше не просишь рассказывать про войну.

— Ну, ты должен будешь мне потом рассказать!

— Должен?— переспросил полковник, и в его странных глазах сверкнула такая жестокая решимость, словно неприятельский танк навел на него жерло своей пушки.— Ты, дочка, кажется, сказала «должен»?

— Да. Но не в том смысле. А если я не так сказала, прости. Я хотела сказать — пожалуйста, расскажи мне попозже еще какую-нибудь настоящую историю про войну. И объясни мне то, чего я не понимаю.

— Можешь говорить «должен», дочка. Черт с ним!

Он улыбнулся, и глаза его опять подобрели, хотя —

он это знал и сам — они никогда не бывали совсем добрыми. Но тут уж ничего не поделаешь, он и так старался быть поласковей со своей последней, настоящей и единственной любовью.

— Честное слово, дочка, я не возражаю. Право же, нет. Я знаю, что такое отдавать приказы, и в твои годы сам это любил.

— Но я вовсе не хочу приказывать,— сказала девушка. Хоть она и приняла решение не плакать, в глазах у нее стояли слезы.— Я хочу тебе подчиняться.

— Знаю. Но и приказывать тебе тоже хочется. В этом нет ничего дурного. Такие, как мы, без этого не могут.

— Спасибо за «такие, как мы».

— Мне это было совсем нетрудно...— сказал полковник. И добавил: — Дочка.

В эту минуту к их столику подошел портье.

— Извините,— обратился он к полковнику.— Там пришел какой-то человек — кажется, ваш слуга, сударыня,— с довольно большим пакетом для полковника. Оставить пакет в камере хранения или послать наверх, к вам в номер?

— Ко мне в номер,— сказал полковник.

— Пожалуйста, давай посмотрим здесь,— попросила девушка.— Нам ведь все равно, что скажут другие?

— Разверните его и принесите сюда.

— Слушаюсь.

— А потом отнесите поосторожней ко мне и запакуйте как следует к двенадцати часам завтрашнего дня. Я возьму его с собой.

— Слушаюсь, полковник.

— Тебе хочется на него посмотреть?— спросила девушка.

— Очень,— ответил полковник.— Gran Maestro, пожалуйста, еще бутылку редерера и, прошу вас, поставьте стул так, чтобы мы могли поглядеть на портрет. Мы страстные поклонники живописи.

— Больше редерера не заморожено,— сказал Gran Maestro.— Но, если хотите, есть перье-жуэ.

— Несите его сюда,— сказал полковник и добавил:— Пожалуйста.— Он обратился к девушке:— Я не привык говорить с людьми, как Джорджи Паттон. Не вижу в этом нужды. К тому же Джорджи Паттон умер.

— Бедняга.

— И был беднягой всю жизнь. Хотя денег у него

куры не клевали, да и танков была уйма.

— Тебе не нравятся танки?

— Нет. Не столько танки, сколько те, кто в них сидит. Броня превращает людей в наглецов, а это первый шаг к трусости, к настоящей трусости. Может, тут виновата и боязнь пространства.

Он взглянул на нее, улыбнулся и пожалел, что заговорил о вещах, которые ей непонятны. У нее был вид неопытного пловца, который привык плавать на мелком месте, у отлогого берега, и вдруг не чувствует больше дна под ногами; он постарался ее ободрить:

— Прости меня, дочка. Я часто бываю несправедлив. И все же в том, что я говорю, больше правды, чем в генеральских мемуарах. После того как человек получит генеральскую звезду или несколько звезд, правда становится для него такой же недосягаемой, как святой Грааль для наших предков.

— Но ведь ты и сам занимал генеральскую должность.

— Не бог весть как долго,— сказал полковник.— Капитаны — вот кто знает настоящую правду и может ее рассказать. А кто не может, тех надо разжаловать.

— А меня ты разжалуешь, если я солгу?

— Смотря по тому, о чем ты будешь лгать.

— А я не собираюсь лгать о чем бы то ни было. Я не хочу, чтобы меня разжаловали. Это звучит так страшно.

— Еще бы,— сказал полковник.— Тебя отошлют в тыл вместе с рапортом в одиннадцати экземплярах — и все одиннадцать я подпишу собственноручно.

— А ты многих разжаловал?

— Порядочно.

В бар вошел портье; он нес портрет в большой раме, лавируя между столиками, как яхта, поднявшая слишком много парусов.

— Возьмите два стула и поставьте их вон туда,— сказал полковник младшему официанту.— Смотрите не заденьте холст. И придерживайте портрет, не то он упадет.— Повернувшись к девушке, он заметил:— Раму надо будет сменить.

— Знаю,— сказала она.— Не я ее выбирала. Увези его без рамы, а на будущей неделе мы купим другую, получше. А теперь смотри на портрет. Не на раму. Смотри. Говорит он что-нибудь обо мне или нет?

Портрет был хорош — не ремесленный, не холуй-

ский, не манерный и не архисовременный. Вот так бы, наверно, писали наших возлюбленных Тинторетто или, на худой конец, Веласкес, если бы жили среди нас. Однако это не было подражанием ни тому, ни другому. Просто великолепный портрет,— они еще попадаются в наше время.

— Поразительно,— сказал полковник.— Вот молодец!

Портье и младший официант держали портрет, заглядывая сбоку. Gran Maestro не скрывал своего восхищения. Двумя столиками дальше сидел американец и пытался определить своим журналистским глазом, кто написал этот портрет. Ко всем остальным портрет был повернут тыльной стороной.

— Поразительно,— сказал полковник.— Но ты не можешь делать мне таких подарков.

— Я его уже тебе подарила,— сказала девушка.— Хотя я знаю, что волосы у меня никогда не доставали до плеч.

— А мне кажется, что доставали.

— Если хочешь, я попробую их отрастить.

— Попробуй,— сказал полковник.— Ах ты, чудо мое. Я так тебя люблю. Тебя и ту, что там, на холсте.

— Можешь сказать это громко. Я уверена, что официантов ты не удивишь.

— Отнесите холст наверх, в мой номер,— сказал полковник портье.— Большое спасибо, что вы его нам показали. Если цена будет сходная, я его куплю.

— Цена сходная,— заметила девушка.— А может, сказать им, чтобы они пододвинули стулья вместе с портретом к твоему земляку? Давай устроим для него специальный просмотр. Gran Maestro сообщит ему адрес художника, и твой земляк посетит его мастерскую.

— Это очень красивый портрет,— сказал Gran Maestro.— Но его надо отнести в номер. Не следует давать воли шампанскому.

— Отнесите его в мой номер.

— Ты забыл сказать: «пожалуйста».

— Спасибо, что ты это заметила. Портрет меня так взволновал, что я не отвечаю за свои слова.

— Давай не будем ни за что отвечать.

— Идет,— сказал полковник.— Пусть за все отвечает Gran Maestro. Он всегда за все отвечал.

— Нет,— сказала девушка.— Он сказал это не только из чувства ответственности, но и со зла. Знаешь, в

каждом из нас в этом городе сидит что-то злое. Может, он не хотел, чтобы тот человек даже краешком глаза заглянул в чужое счастье.

— Каким бы оно ни было.

— Я научилась этому выражению у тебя, а теперь ты перенял его у меня.

— Так обычно и бывает,— сказал полковник.— Что наживешь в Бостоне, потеряешь в Чикаго.

— Не понимаю.

— Этого, пожалуй, не объяснишь,— сказал полковник.— Хотя нет,— добавил он,— почему же? Объяснять — это главное в моем ремесле. Кто сказал, что чего-то нельзя объяснить? Знаешь, это как в футболе. Те, что выигрывают в Милане, проигрывают в Турине.

— Я не люблю футбола.

— Я тоже,— сказал полковник.— Особенно матчи между командами армии и флота. И когда футбольные термины употребляют наши военные шишки. Правда, им тогда самим легче понять, о чем они говорят.

— Сегодня нам с тобой будет хорошо. Как бы там ни было.

— Давай захватим с собой эту бутылку.

— Давай,— сказала девушка.— И бокалы побольше. Я скажу Gran Maestro. Возьмем пальто и пойдем.

— Хорошо, я только приму лекарство, распишусь на счете, и мы пойдем.

— Жалко, что я не могу принимать за тебя лекарство.

— Нет уж, черт возьми, лучше не надо,— сказал полковник.— Мы сами выберем гондолу или скажем, чтобы наняли какую попало?

— Давай рискнем. Пускай выбирают они. Что мы теряем?

— Терять нам, пожалуй, нечего. Совсем, пожалуй, нечего.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Они вышли через боковой подъезд на imbarcadero, и в лицо им сразу ударил ветер. Свет из окон отеля падал на черную гондолу, и вода казалась зеленой. «Она красива, как хорошая лошадь или как летящий снаряд,— подумал полковник.— Почему я раньше не замечал, до чего гондолы красивые? Какие нужны были руки и глаз, чтобы создать такую соразмерность линий!»

— Куда мы поедем?— спросила девушка.

Ее тоже освещали лучи, падавшие из подъезда и окон отеля; она стояла у причала, возле черной гондолы, волосы развевал ветер, и она была похожа на статую на носу галеры. «И не только лицом»,— думал он.

— Давай прокатимся по парку,— сказал полковник.— Или через Булонский лес. Пускай он свезет нас в Эрменонвиль.

— А мы с тобой поедем в Париж?

— Конечно,— сказал полковник.— Попроси его, чтобы он часок покатал нас там, где полегче грести. Мне не хочется мучить его на таком ветру.

— От этого ветра вода очень поднялась,— сказала девушка.— Кое-где в наших любимых местах нельзя будет проехать под мостами. Можно, я скажу ему, куда нас везти?

— Конечно, дочка. Поставьте ведерко со льдом в лодку,— сказал полковник младшему официанту, который вышел их проводить.

— Gran Maestro просил передать, что эта бутылка — вам в подарок.

— Поблагодарите его хорошенько и скажите, что это невозможно.

— Пусть сначала выгребет против ветра, а потом я знаю, куда мы поедем,— сказала девушка.

— Gran Maestro послал вам еще это,— сказал официант.

Он подал старое армейское одеяло. Рената разговаривала с гондольером — волосы ее трепал ветер. На гондольере был толстый синий морской свитер; голова у него тоже была не покрыта.

— Передайте ему от меня большое спасибо,— сказал полковник.

Он сунул официанту в руку бумажку. Тот вернул деньги.

— Вы мне уже подписали чаевые на счете. Ни вы, ни я, ни Gran Maestro еще с голоду не помираем.

— А как насчет жены и bambini?

— У меня их нету. Ваши средние бомбардировщики разбили наш дом в Тревизо.

— Обидно.

— Вы тут ни при чем,— сказал официант.— Вы были такой же пехтурой, как и я.

— И все равно обидно. Разрешите мне вам это сказать?

— Пожалуйста,— сказал официант.— Но разве это

поможет? Счастливо, полковник. Счастливо, сударыня.

Они спустились в гондолу, и сразу же началось всегдашнее волшебство: послушная лодка вдруг качнулась у них под ногами, потом они стали усаживаться в темноте, потом пересели, когда гондольер принялся горланить и чуть накренил лодку, чтобы легче было править.

— Ну вот,— сказала девушка,— теперь мы дома, и я тебя люблю. Поцелуй меня, пожалуйста, чтобы я знала, как ты меня любишь.

Полковник прижал ее к себе, она закинула голову, и он целовал ее, пока от поцелуя не осталось ничего, кроме горечи.

— Я люблю тебя.

— Что бы это ни значило,— прервала она его.

— Я люблю тебя и знаю, что это значит. Портрет красивый. Но что же тогда ты сама?

— Дикарка?— спросила она.— Растрепа? Неряха?

— Нет.

— Неряха — одно из первых слов, которому я выучилась от гувернантки. Так говорят, когда плохо причешешься. А лентяйка — это когда на ночь проведешь по волосам щеткой меньше ста раз.

— Я сейчас проведу рукой, и они растреплются еще больше.

— Раненой рукой?

— Да.

— Но мы не так сидим. А ну-ка, поменяемся местами!

— Ладно. Вот это разумный приказ, ясный и понятный.

Они очень веселились, пересаживаясь и стараясь не нарушить равновесия гондолы.

— Ну вот,— сказала она.— Но обними меня крепко другой рукой.

— Ты всегда знаешь, чего тебе хочется?

— Всегда. По-твоему, это нескромно? Слову «нескромно» меня тоже научила гувернантка.

— Нет, это хорошо. Подтяни повыше одеяло — чувствуешь, какой ветер?

— Он дует с гор.

— Да. И откуда-то еще дальше.

Полковник слышал, как бьет волна по доскам гондолы, ощущал резкие порывы ветра и знакомую издавна шершавость одеяла, а потом почувствовал прохладное тепло и прелесть ее тела, и упругость груди, кото-

рой легко касалась его левая рука. Тогда он провел искалеченной рукой по ее волосам раз, другой и третий, поцеловал ее, чувствуя, как из души его уходит даже горечь.

— Пожалуйста,— попросила она, совсем спрятавшись под одеяло,— теперь я тебя поцелую.

— Нет,— сказал он.— Я тебя.

Ветер был ледяной и резал лицо, но под одеялом ветра не было, там не было ничего, кроме его искалеченной руки.

— Пожалуйста, милый,— сказала девушка,— пожалуйста, не надо.

— А ты ни о чем не думай. Ни о чем на свете.

— Я не думаю.

— Ни о чем.

— Молчи.

— Тебе хорошо?

— Сам знаешь.

— Ты уверена?

— Молчи, пожалуйста.

Она молчала. Молчал и он, и когда большая птица, сорвавшись, пропала вдали, за закрытым окошком гондолы, оба не сказали ни слова. Он легонько придерживал ее голову здоровой рукой.

— Выпей вина,— сказал полковник, ловко достав ведерко со льдом и открывая бутылку, которую уже откупорил для них Gran Maestro, а потом заткнул обыкновенной винной пробкой,— тебе это полезно, дочка. Это помогает от всех наших недугов, от всех печалей и страхов.

— У меня ничего этого нет,— сказала она, старательно выговаривая слова, как учила ее гувернантка.— Я просто женщина или девушка, не знаю, как лучше сказать, которая делает то, что ей не следует делать. Ну что ж, обними меня опять.

— Хорошо,— сказал он.— Хорошо, если хочешь.

— Пожалуйста, обними меня. Я ведь тебя прошу.

«Голос у нее ласковый, как у котенка,— думал полковник,— даром что бедные котята не умеют разговаривать». Но потом он перестал думать о чем бы то ни было и очень долго не думал ни о чем.

Гондола шла сейчас по одному из поперечных каналов. Когда они выходили из Большого канала, ветер так ее накренил, что гондольеру пришлось всем телом налечь на противоположный борт, а полковник и де-

вушка тоже были вынуждены передвинуться под своим одеялом, и туда, под одеяло, с ожесточением ворвался ветер. Они долго не произносили ни слова, и полковник заметил, что, когда гондола проходила под последним мостом, между ее верхом и пролетом моста оставалось всего несколько дюймов.

— Ну как, дочка?

— Хорошо.

— Ты меня любишь?

— Пожалуйста, не задавай глупых вопросов.

— Вода очень высокая, мы едва прошли под последним мостом.

— Ну, я знаю, как ехать. Я здесь родилась.

— Я, бывало, совершал ошибки и в родном городе,— сказал полковник.— Родиться — это еще не все.

— Нет, это ужасно много,— сказала девушка.— И ты это сам знаешь. Пожалуйста, обними меня крепко-крепко, так, чтобы нас хоть минутку нельзя было оторвать друг от друга.

— Попробуем,— сказал полковник.

— И я смогу быть тобой?

— Это очень трудно. Но мы постараемся.

— Вот теперь я — это ты,— сказала она.— Я только что взяла город Париж.

— Господи, дочка,— сказал он.— У тебя же теперь хлопот полон рот! Берегись! Сейчас выведут на парад Двадцать восьмую дивизию!

— А мне наплевать!

— Ну, а мне нет.

— Разве она такая плохая?

— Отнюдь. И командиры хорошие. Это были национальные гвардейцы, но такие невезучие! Тридцать три несчастья, да и только. Хоть патент на невезенье получай.

— Я в этих вещах ничего не понимаю.

— Да их и объяснять не стоит,— сказал полковник.

— А ты мне правда можешь рассказать про Париж? Я так его люблю, и когда я думаю, что ты его брал, мне кажется, будто я еду в гондоле с самим маршалом Неем.

— Вот уж совсем не интересно,— сказал полковник.— Особенно после того, как он выдержал столько арьергардных боев, отступая от какого-то русского города. Он дрался по десять, двенадцать, пятнадцать раз в день, иногда еще чаще. И потом даже людей не узна-

вал. Нет, и не думай кататься с ним в гондоле!

— Он всегда был одним из моих самых любимых героев.

— Еще бы. И моим тоже. До Катр-Бра. А может, это было не у Катр-Бра, а где-нибудь еще. Память у меня сдает. Давай назовем это просто Ватерлоо.

— У него там ничего не вышло?

— Ни черта,— сказал ей полковник.— Нет, ты его брось. У него было слишком много арьергардных боев на обратном пути из Москвы.

— Но его же звали храбрейшим из храбрых.

— Ну и что? Из этого каши не сваришь. Храбрым тебе полагается быть всю жизнь. И еще — умнейшим из умников. А ко всему этому нужно хорошее снабжение.

— Пожалуйста, расскажи мне о Париже. Я вижу, что целоваться нам больше нельзя.

— А я не вижу. Кто тебе сказал, что нельзя?

— Я сама, потому что я тебя люблю.

— Ладно. Ты сама, и ты меня любишь. Ну, нельзя так нельзя, будь оно трижды проклято.

— А ты думаешь, можно еще немножко, если тебе это не вредно?

— Мне вредно?— спросил полковник.— К черту! Разве мне что-нибудь бывает вредно?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Пожалуйста, не злись,— сказала она, натягивая одеяло повыше.— Пожалуйста, выпей со мной вина. Ты сам знаешь, что тебе вредно злиться.

— Верно. И давай об этом не вспоминать.

— Слушаюсь,— сказала она.— Это я у тебя научилась так говорить. Видишь, мы уже не вспоминаем.

— Почему тебе так нравится эта рука?— спросил он, положив свою руку туда, где ей хотелось лежать.

— Пожалуйста, не прикидывайся, что ты глупый, и не смей ни о чем думать, ни о чем, ни о чем на свете!

— А я и на самом деле глупый,— сказал полковник.— Но я ни о чем не буду думать, ни о чем, даже о том, что на свете есть ничто и брат его — завтра.

— Пожалуйста, будь хорошим. Будь добрым.

— Буду. А сейчас я открою тебе военную тайну. Совершенно секретно: я тебя люблю.

— Вот это мило,— сказала она.— И ты это очень мило сказал.

— А я вообще милый,— сказал полковник, быстро

прикинул в уме высоту моста, к которому они приближались, и рассчитал, что гондола пройдет свободно.— Это сразу бросается людям в глаза.

— Я вечно путаю слова,— сказала девушка.— Ты меня все равно люби. Я бы очень хотела, чтобы это я любила тебя.

— А ты разве меня не любишь?

— Люблю,— сказала она.— Всей душой.

Теперь они шли по ветру. Оба устали.

— Как ты думаешь...

— А я совсем не думаю,— сказала девушка.

— А ты попробуй подумать.

— Хорошо.

— Выпей вина.

— С удовольствием. Оно очень вкусное.

Вино было вкусное. Лед в ведерке еще не растаял, вино было холодное и прозрачное.

— Можно мне остаться в «Гритти»?

— Нет.

— Почему?

— Нехорошо. Из-за них. И из-за тебя. На меня-то наплевать.

— Значит, мне идти домой?

— Да,— сказал полковник.— По логике вещей получается, что да.

— Разве можно так говорить, когда нам грустно? Ну неужели нельзя ничего придумать?

— Нет. Я провожу тебя домой, ты хорошенько выспишься, а завтра мы с тобой встретимся, где и когда ты захочешь.

— Можно позвонить тебе в «Гритти»?

— Конечно. Я не буду спать, когда бы ты ни позвонила. Ты позвонишь, как только проснешься?

— Да. Но почему ты всегда встаешь так рано?

— Профессиональная привычка.

— Ах, как бы я хотела, чтобы у тебя была другая профессия и чтобы ты не умирал!

— Я тоже. Но я бросаю свою профессию.

— Ну да,— сказала она сонно, с довольной улыбкой.— И тогда мы поедем в Рим и закажем тебе костюм.

— И будем жить счастливо до самой смерти.

— Пожалуйста, не надо,— сказала она.— Ну, пожалуйста, пожалуйста, не надо! Ты же знаешь, что я приняла решение не плакать.

— А все равно плачешь! Какого же черта было при-

нимать это решение?

— Проводи меня, пожалуйста, домой.

— Я и сам собирался это сделать,— сказал он.

— Нет, сначала докажи, что ты добрый.

— Сейчас,— сказал полковник.

После того как они, или, вернее, полковник, расплатились с гондольером,— этот коренастый, крепкий, надежный и знающий свое место гондольер делал вид, будто ничего не замечает, а на самом деле все замечал,— они вышли на Пьяцетту и пересекли огромную, холодную площадь, где гулял ветер, а древние камни под ногами казались такими твердыми. Грустные, но счастливые, они шли, тесно прижавшись друг к другу.

— Вот место, где немец стрелял в голубей,— сказала девушка.

— Мы его, наверно, убили,— сказал полковник.— Или его брата. А может, повесили. Почем я знаю? Я ведь не сыщик.

— А ты меня еще любишь на этих старых, изъеденных морем, холодных камнях?

— Да. Если б я мог, я расстелил бы здесь мое солдатское одеяло и это доказал.

— Тогда ты был бы еще большим варваром, чем тот стрелок по голубям.

— А я и так варвар,— сказал полковник.

— Не всегда.

— Спасибо и за это.

— Тут нам надо свернуть.

— Кажется, я уже запомнил. Когда они наконец снесут проклятый кинотеатр и построят здесь настоящий собор? На этом настаивает даже рядовой первого взвода Джексон.

— Когда кто-нибудь опять привезет из Александрии святого Марка, спрятав его под свиными тушами.

— Ну, для этого нужен парень из Торчелло.

— Ты ведь сам парень из Торчелло.

— Да. Я парень из Бассо-Пьяве, и с Граппы, и даже из Пертики. Я парень из Пасубио, а это не шутка: там было страшнее, чем в любом другом месте, даже когда не было боев. В нашем взводе делили гонококки — их привозили из Скио в спичечной коробке. Делили, чтобы хоть как-нибудь сбежать, до того там было нестерпимо.

— Но ты же не сбежал?

— Конечно, нет,— сказал полковник.— Я всегда

ухожу последний — из гостей, конечно, а не с собраний. Таких, как я, зовут каменный гость!

— Пойдем?

— Но ты же, по-моему, приняла решение?

— Да. Но когда ты сказал, что ты — нежеланный гость, я перерешила.

— Нет. Раз уж решила, значит, решила.

— Я умею выдерживать характер.

— Знаю. Чего только ты не умеешь выдерживать! Но есть такие вещи, дочка, за которые держаться не стоит. Это занятие для дураков. Иногда надо быстро перестроиться.

— Если хочешь, я перестроюсь.

— Нет. Решение, по-моему, было здравое.

— Но ведь до завтрашнего утра так долго ждать!

— Это как повезет.

— Я-то, наверно, буду спать крепко.

— Еще бы,— сказал полковник.— Если ты, в твои годы, не будешь спать, тебя просто надо повесить!

— Как тебе не стыдно!

— Извини,— сказал он,— я хотел сказать: расстрелять.

— Мы почти дошли до дому, и ты мог бы разговаривать со мной поласковее.

— Я такой ласковый, что просто тошнит. Пусть уж кто-нибудь другой будет ласковее.

Они подошли к дворцу; вот он, дворец, перед ними. Оставалось только дернуть ручку звонка или отпереть дверь ключом. «Я как-то раз даже у них здесь заблудился,— подумал полковник,— а со мной этого никогда не случалось».

— Пожалуйста, поцелуй меня на прощанье. Но только ласково.

Полковник послушался; он любил ее так, что казалось, уже больше не мог этого вынести. Она отперла дверь ключом, который лежал у нее в сумочке.

А потом она ушла, и полковник остался один, с ним были только истертые камни мостовой, ветер, все еще дувший с севера, да тень, упавшая оттуда, где зажгли свет. Он отправился домой пешком.

«Только туристы и влюбленные нанимают гондолы,— думал полковник.— И те, кому надо переехать через канал там, где нет моста. Пожалуй, стоило бы зайти к «Гарри» или в какой-нибудь другой кабак. Но пойду-ка я лучше домой».

«Гритти» и в самом деле был для него домом, если только можно так называть номер в гостинице. Пижама была разложена на кровати. Возле настольной лампы стояла бутылка вальполичеллы, а на ночном столике — минеральная вода во льду и бокал на серебряном подносе. Портрет вынули из рамы и поставили на два стула, так чтобы полковник мог видеть его лежа.

На постели, рядом с тремя подушками горкой, лежало парижское издание «Нью-Йорк геральд трибюн». Арнальдо знал, что он кладет себе под голову три подушки, а запасная бутылочка с лекарством — не та, что он всегда носил в кармане,— стояла под рукой, рядом с лампой. Дверцы шкафа с зеркалами внутри были распахнуты, и он мог видеть в них портрет сбоку. Старые шлепанцы стояли возле кровати.

— Порядок!— сказал полковник, обращаясь к самому себе, потому что, кроме портрета, тут никого не было.

Он открыл бутылку, которая уже была откупорена, а потом старательно, любовно и аккуратно заткнута снова, и налил себе в бокал вина — таких дорогих бокалов обычно не подают в отеле, где стекло часто бьют.

— За твое здоровье, дочка,— сказал он.— За твою красоту, чудо ты мое! А ты знаешь, что, кроме всего, ты еще и хорошо пахнешь? Ты замечательно пахнешь и тогда, когда дует сильный ветер, и когда лежишь под одеялом, и когда целуешь меня на прощанье. Ведь это так редко бывает, а ты к тому же совсем не любишь духов.— Она поглядела на него с портрета, но ничего не сказала.

— К черту!— сказал он.— Не желаю я разговаривать с портретом!

«Почему сегодня все вышло так нескладно?— думал он.— Это я виноват. Ну что ж, завтра постараюсь вести себя хорошо; начну с самого рассвета».

— Дочка,— сказал он, обращаясь уже к ней самой, а не к ее портрету,— пойми, я ведь тебя очень люблю, и мне правда хочется быть чутким и ласковым. И больше никогда от меня не уходи, пожалуйста.

Но портрет на это не откликнулся.

Полковник вынул из кармана изумруды и поглядел, как они льются из его раненой руки в здоровую, прохладные и в то же время теплые, потому что они вбирают тепло и, как всякие хорошие камни, хранят его.

«Надо положить их в конверт и запереть,— думал

он.— Но какая сволочь сохранит их лучше, чем я? Нет, надо поскорее вернуть их тебе, дочка! Держать их в руке приятно. Да и стоят они не больше четверти миллиона. Столько, сколько я могу заработать за четыреста лет. Надо будет высчитать это поточнее».

Он положил камни в карман пижамы и прикрыл их сверху носовым платком. Потом застегнул карман. «Первая предосторожность, к которой себя приучаешь,— думал он,— это чтобы на всех твоих карманах были клапаны и пуговицы. Я, кажется, приучился к этому даже слишком рано. Приятно, когда эти твердые и теплые камни прикасаются к твоей сухой, жилистой, старой и теплой груди». Он поглядел, как сильно дует ветер, еще раз взглянул на портрет, налил себе второй бокал вальполичеллы и стал читать парижское издание «Нью-Йорк геральд трибюн». «Надо бы принять таблетки,— подумал он.— А ну их к дьяволу, эти таблетки».

Но он все-таки принял лекарство и стал читать газету дальше. Он читал Реда Смита как всегда с большим удовольствием.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Полковник проснулся перед рассветом и сразу же почувствовал, что в постели он один.

Ветер дул с прежней силой; полковник подошел к открытому окну, чтобы проверить, какая сегодня погода. На востоке по ту сторону Большого канала еще не начинало светать, но он все же мог разглядеть, как ветер вздымает волну. «Ну и прилив будет сегодня,— думал он.— Наверно, зальет площадь. Вот здорово. Только не для голубей».

Он пошел в ванную, захватив с собой «Геральд трибюн» со статьей Реда Смита и стакан вальполичеллы. «Эх, хорошо, если Gran Maestro достанет большие fiasco,— подумал он.— Это вино всегда дает такой осадок». Он сидел с газетой в руках и раздумывал, что его сегодня ждет.

Сперва телефонный звонок. Правда, это может случиться поздно, ведь она будет спать долго. Молодые рано не просыпаются, а красивые и подавно. Рано она, во всяком случае, не позвонит, да и магазины открываются только в девять или еще позже.

«Ах ты черт,— подумал он,— ведь эти проклятые камни все еще у меня в кармане! Как можно делать такие глупости!

Ты-то знаешь как,— сказал он себе, просматривая объявления на последней странице газеты.— Достаточно их наделал на своем веку. У нее это не сумасбродство и не прихоть. Просто ей этого хотелось. Хорошо еще, что она напала на меня.

Вот и все, в чем ей со мной повезло,— раздумывал он.— А впрочем, я — это я, ничего тут не попишешь. И кто его знает, к лучшему оно или к худшему. А как бы вам понравилось сидеть с такими драгоценностями в солдатском сортире, как я сидел чуть не каждое утро своей распроклятой жизни?». Вопрос его не был обращен ни к кому персонально, разве что к потомкам вкупе.

«Сколько же раз ты сидел орлом по утрам бок о бок со всеми остальными? Это было самое неприятное. Это да еще бриться на людях. А если отойдешь в сторонку, чтобы побыть в одиночестве, или о чем-нибудь подумать, или ни о чем не думать, найдешь надежное укрытие — глядь, там уже развалились двое пехотинцев или дрыхнет какой-нибудь малый.

В армии ты можешь рассчитывать на уединение не больше, чем в публичном доме. Никогда не бывал в публичных домах, но, вероятно, там так же, как в воинской части. Я бы мог научиться командовать публичным домом»,— думал он.

«Главных завсегдатаев я бы возвел в ранг послов, а те, кто со своим делом не справляется, могли бы в мирное время командовать армейским корпусом или военным округом. Только не злись, дружище,— одернул он себя.— Да еще в такую рань и когда ты не кончил всех своих дел. А что бы ты сделал с женщинами?— спросил он себя.— Купил бы им по шляпке или поставил к стенке. Какая разница?»

Он посмотрел на себя в зеркало, вправленное в полуоткрытую дверь ванной комнаты. Отражение было чуть-чуть смещено, словно снаряд, который отклонился от цели. И промазал. «Эх ты, потасканная, старая кляча,— сказал он себе.— Теперь изволь побриться — ничего, полюбуешься на эту физиономию, не помрешь. Да и постричься пора. Здесь, в городе, это несложно. Ты же полковник. Полковник пехоты США. Тебе нельзя разгуливать с длинными патлами, как Жанна д'Арк или как тот красавчик кавалерист, генерал Джордж Армстронг Кэстер. А ведь неплохо быть таким красавчиком, иметь любящую жену и труху вместо мозгов. Но он не-

бось усомнился, правильно ли выбрал профессию, когда дело дошло до развязки, на той высоте у Литл-Биг-Хорн, когда вокруг в тучах пыли, уминая копытами степной шалфей, кружили вражеские кони, а от жизни только и осталось что знакомый, любимый запах черного пороха да солдаты, стреляющие в себя или друг в друга, чтобы не попасть в руки индианок.

Труп его был изуродован до неузнаваемости, как любили писать тогда в газете, которая сейчас тут лежит. Да, на той высоте он, должно быть, понял, что совершил большую ошибку — окончательную и непоправимую. Бедный кавалерист. Все его надежды рухнули сразу. Что и говорить, пехота имеет свои преимущества. В пехоте никогда ни на что не надеешься. Ладно,— сказал он себе,— вот мы и кончили все наши дела, а скоро будет светло, и я как следует увижу портрет. Будь я проклят, если я его отдам. Нет, его я оставлю себе».

— Господи,— сказал он,— хоть бы посмотреть, как она выглядит сейчас, во сне. Но я знаю как,— сказал он себе.— Ах ты, чудо мое. Даже и не заметно, что спит. Будто прилегла отдохнуть. Дай-то бог, чтобы она отдохнула. Отдохнула получше. Господи, как я ее люблю и как боюсь причинить ей хоть малейшую боль.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Едва только начало светать, полковник увидел портрет. Он увидел его сразу — всякий цивилизованный человек, привыкший просматривать и подписывать бумажки, в которые он не верит, схватывает все с первого взгляда. «Да,— сказал он себе,— глаза у меня еще есть и зоркость прежняя, а когда-то было и честолюбие. Недаром я тогда повел моих чертей в бой, где им так здорово всыпали. Из двухсот пятидесяти в живых осталось только трое, да и тем суждено просить милостыню где-нибудь на окраине до конца своих дней».

— Это Шекспир,— объяснил он портрету.— Победитель и по сей день неоспоримый чемпион.

Кто-нибудь, может, и одолеет его в случайной схватке. Но лично я могу преклоняться только перед ним. Ты когда-нибудь читала «Короля Лира», дочка? Мистер Джин Тэнней прочел и стал чемпионом мира по боксу. Я эту пьесу тоже читал. Военные, как ни странно, любят мистера Шекспира.

— Что ты можешь сказать в свое оправдание? Ну,

закинь хотя бы голову назад!— сказал он портрету.— Хочешь, я тебе еще расскажу про Шекспира?

Глупости, оправдываться тебе не в чем. Отдыхай, а там будь что будет. Все равно дело наше дрянь. Сколько бы мы с тобой ни оправдывались, ни черта у нас не выйдет. Но кто же заставлял тебя совать голову в петлю, как мы с тобой это делаем?

— Никто,— ответил он себе и портрету.— И, уже во всяком случае, не я.

Он протянул здоровую руку и обнаружил, что коридорный поставил рядом с бутылкой вальполичеллы еще одну, запасную.

«Если ты любишь какую-нибудь страну,— думал полковник,— не бойся в этом признаться! Признавайся. Я любил три страны и трижды их терял. Ну зачем же так? Это несправедливо. Две из них мы взяли назад.

И возьмем третью, слышишь ты, толстозадый генерал Франко? Ты сидишь на охотничьем стульчике и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии».

— Да,— тихонько повторил он девушке; ее ясные глаза глядели на него в раннем свете дня.

— Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций. Имейте в виду, мы честно предупредили,— добавил он.

— Портрет,— сказал он,— ну почему бы тебе не лечь рядом со мной, вместо того чтобы прятаться за восемнадцать кварталов отсюда? А может, и еще дальше. Я ведь теперь не так быстро считаю.

— Портрет,— сказал он и самой девушке, и портрету; но девушки не было, а портрет оставался таким, каким его нарисовали.

— Эй, портрет, а ну-ка подними повыше подбородок, чтобы совсем меня погубить!

«И все-таки это прекрасный подарок»,— думал он.

— А маневрировать ты умеешь?— спросил он у портрета.— Быстро, не мешкая?

Портрет молчал, и полковник ответил: сам знаешь, что умеет. Какого же черта спрашиваешь? Она обойдет тебя запросто в твой самый удачливый день, займет рубеж и будет драться, а ты только слюни распустишь.

— Портрет,— сказал он,— дочка, сынок, или моя единственная и настоящая любовь, или кто бы ты ни был. Ты ведь сам знаешь, кто ты.

Но портрет опять ничего не ответил. А полковник теперь снова был генералом и ранним утром, да еще с помощью вальполичеллы, знал все насквозь, он знал, словно трижды проверил по Вассерману, что в портрете нет никакой подлости, и стыдился, что нагрубил ему.

— Слышишь, портрет, я сегодня постараюсь быть таким хорошим, каких ты, черт побери, еще не видел. Можешь сообщить об этом своей хозяйке.

Но портрет, по своему обыкновению, молчал.

«Небось с кавалеристом она держалась бы иначе»,— думал генерал. Теперь у него уже было две звезды, они давили ему на плечи и белели на мутно-красной потертой дощечке, прибитой к капоту его «виллиса». Он никогда не пользовался ни штабными машинами, ни бронированными автомобилями, обложенными изнутри мешками с песком.

— Ну тебя к черту, портрет! И пусть тебе отпустит грехи вселенский поп, мастер по всем религиям сразу.

— Поди к черту сам,— сказал ему портрет, не разжимая губ.— Солдатское отребье!

— Что правда, то правда,— сказал полковник, который снова стал полковником, отказавшись от былых чинов и званий.— Я очень тебя люблю за твою красоту. Но девушку я люблю больше, в миллион раз больше.

Девушка на полотне не откликнулась, и эта игра ему надоела.

— Ты скован по рукам и по ногам. Даже если бы тебя вынули из рамы. А я еще буду маневрировать.

Портрет молчал так же, как и тогда, когда его принес портье и, с помощью второго официанта, показывал полковнику и девушке. Полковник посмотрел на него и теперь, когда в комнате стало совсем или почти совсем светло, увидел, как он беззащитен. Он увидел, что это портрет его единственной настоящей любви, и сказал:

— Прости меня за все глупости, которые я тебе наговорил. Мне ведь и самому не хочется быть хамом. Давай попробуем немножко поспать, вдруг нам это удастся, а там, глядишь, и твоя хозяйка позвонит нам по телефону. «Может, она наконец позвонит»,— думал он.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Посыльный просунул под дверь «Gazzetino», и полковник бесшумно поднял ее, как только она проскользнула в щель.

Он взял газету чуть ли не из рук посыльного. Он не выносил этого посыльного с тех пор, как, случайно вернувшись в номер, застал его за обыском своего чемодана. Полковник забыл бутылочку с лекарством и возвратлися с полпути, а посыльный шарил у него в чемодане.

— В такой гостинице как-то неловко командовать: «Руки вверх!»— сказал полковник.— Но вы, ей-богу, позорите свой город!

Человек в полосатом жилете, с мордой фашиста только отмалчивался, и полковник его подзадорил:

— Валяй, уж досматривай до конца. Но военных тайн я в мыльнице не вожу.

С тех пор они друг друга недолюбливали, и полковнику нравилось выхватывать утреннюю газету чуть ли не из рук человека в полосатом жилете, бесшумно, как только он замечал, что газета появляется под дверью.

— Ладно, сегодня твоя взяла, хлюст ты этакий,— произнес он на отличном венецианском диалекте, что было ему совсем нелегко в столь ранний час.— Чтоб тебе удавиться!

«Но такие не давятся. Они знай себе суют под дверь газеты людям, которые уже не чувствуют к ним ненависти. Да, бывший фашист — это нелегкое ремесло. А может, он и не бывший, а настоящий? Почем ты знаешь? Мне нельзя ненавидеть фашистов,— думал он.— И фрицев тоже, потому что, к несчастью, я военный».

— Послушай, портрет,— сказал он.— Разве я должен ненавидеть фрицев за то, что мы их убиваем? Разве я должен их ненавидеть и как полковник и как человек? По-моему, это больно простое решение вопроса.

— Ладно, портрет. Не думай об этом. Брось! Ты еще слишком молод, чтобы в этом разбираться. Ты на два года моложе той девушки, с которой тебя писали, а она и моложе и древнее самой преисподней — хотя у этого местечка большое прошлое.

— Послушай, портрет,— сказал он и, говоря это, знал, что теперь у него до самой смерти будет с кем поговорить по утрам, когда проснешься.

— Слушай, что я тебе говорю, портрет. К черту, ты ведь до этого еще не дорос. Такие мысли нельзя произносить вслух, как бы верны они ни были. Многого я так и не смогу тебе сказать, и, может, для меня это к лучшему. Пора, чтобы и мне хоть немножко было лучше. А как ты думаешь, для меня ведь так будет лучше?

— Чего ж ты приумолк, портрет?— спросил он.— Проголодался? Я-то, кажется, проголодался.— И он позвонил коридорному, который приносил ему завтрак.

Он знал, что, хотя уже светло и на Большом канале видна каждая свинцовая и выпуклая от ветра волна, а прилив нагнал много воды к причалу Дворца прямо против окон его комнаты,— телефонного звонка он еще долго не услышит. «Молодые спят крепко,— думал он.— Им так и полагается».

— Почему мы стареем?— спросил он коридорного со стеклянным глазом, который подал ему меню.

— Откуда я знаю, полковник? Наверно, это закон природы.

— Да. И я так подозреваю. Глазунью, чай и поджаренный хлеб.

— А из американских блюд ничего не хотите?

— К чертовой матери все американское, кроме меня самого. А Gran Maestro уже пришел?

— Он достал для вас вальполичеллу в больших оплетенных флягах по два литра; вот я принес вам графин.

— Ну и человек,— сказал полковник.— Господи Иисусе, как бы я хотел дать ему полк.

— Вряд ли он возьмет.

— Да,— сказал полковник.— Мне и самому он совсем ни к чему.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Полковник позавтракал неторопливо, как боксер, который после зверского удара слышит счет «четыре» и умеет за оставшиеся пять секунд дать отдых мышцам.

— Портрет,— сказал он,— тебе бы тоже не мешало дать отдых мышцам. Боюсь только, что вот как раз это тебе и не удастся. Мы тут ограничены тем, что зовут статическим началом в живописи. Понимаешь, портрет, почти ни в одной картине — я говорю о живописи — нет движения; только некоторые художники это умеют. Очень немногие. Я бы очень хотел, чтобы твоя хозяйка была здесь и принесла с собой движение. Откуда девушки, вроде тебя или нее, так много знают с самых ранних лет и почему вы такие красивые?

У нас в Америке, если девушка хороша, она наверняка из Техаса и, если тебе повезет, знает, какой нынче месяц. Но вот считают они все хорошо.

Их учат считать, держать коленки вместе и накручивать локоны на бигуди. За свои грехи, если у тебя

есть грехи,— попробуй как-нибудь, портрет, поспать в одной постели с девушкой, которая закрутила волосы на бигуди, чтобы завтра быть покрасивее! Не сегодня, а именно завтра. Сегодня они никогда не стараются быть красивыми. А вот завтра — другое дело. Завтра надо выдержать конкуренцию.

А Рената — то есть ты сама — спит, не думая о своих волосах. Они разметались по подушке, эти темные шелковистые волосы — для нее всего-навсего надоедливая обуза — их вечно забываешь расчесать, несмотря на причитания гувернантки.

Я так и вижу, как она идет по улице легким, размашистым шагом, ветер треплет ее волосы, как хочет, а грудь приподнимает свитер, и потом я вижу ночи в Техасе, тягостные, словно натянутые на металлические бигуди.

— Не коли меня этими железками, любимая,— сказал он портрету,— а я уж тебе отплачу круглыми, полновесными серебряными долларами или чем-нибудь еще. «Опять грубишь»,— подумал он.

И вдруг сказал уже совсем по-свойски:

— Ты так чертовски красива, что даже тошно. И к тому же с тобой непременно угодишь в тюрьму за растление малолетних. Рената все же старше тебя на два года. А тебе нет и семнадцати.

Почему она не может быть моей, почему я не могу любить ее и тешить, быть всегда добрым и ласковым, родить с ней пятерых сыновей, а потом разослать их во все пять концов света, где бы эти концы ни были? Не понимаю. Такая уж, видно, мне выпала карта. А ты не пересдашь ли мне, банкомет? Нет. Карты сдают только раз, а ты их берешь и начинаешь играть.

И я бы мог выиграть, если бы вытянул хоть что-нибудь подходящее,— сказал он портрету, но тот не выказал никакого сочувствия.

— Портрет,— сказал он,— отвернись-ка лучше, будь поскромнее. Я сейчас приму душ и побреюсь,— тебе-то никогда не приходится бриться,— а потом надену военную форму и пойду пройдусь по городу, хотя сейчас еще очень рано.— И он вылез из кровати, осторожно ступив на раненую ногу, которая всегда у него болела. Он выключил раненой рукой настольную лампу. В комнате было достаточно светло, и он уже целый час зря жег электричество.

Он пожалел об этом,— полковник всегда жалел о

своих промахах. Он обошел портрет, мельком взглянул на него и стал рассматривать себя в зеркало. Скинув пижаму, он стал разглядывать себя критически и непредвзято.

— Ах ты, искореженный старый хрыч,— сказал он зеркалу.— Портрет — прошлое. Настоящее — сегодняшний день.

«Брюхо не торчит,— сказал он мысленно.— Грудь тоже в порядке, если не считать больной мышцы внутри. Ну что ж, кого на казнь ведут, того и повесят, а уж на радость это или на гóре — там видно будет.

Тебе уже полста лет, старый хрыч! Ступай-ка прими душ, хорошенько потрись мочалкой, а потом надень свою военную форму. Тебе ведь отпущен еще денек».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Полковник подошел к конторке в вестибюле, но портье еще не было на месте. Дежурил ночной швейцар.

— Вы можете запереть одну мою вещь в сейф?

— Не могу, полковник. Никто не имеет права открывать сейф, пока не придет помощник управляющего или портье. Но у себя спрячу все, что хотите.

— Спасибо. Не стоит,— сказал полковник и положил адресованный на свое имя конверт со штампом «Гритти», где лежали камни, во внутренний левый карман мундира.

— У нас тут настоящего воровства теперь не бывает,— сказал ночной швейцар. Ночь была долгая, и он был рад случаю перекинуться словом.— Да никогда и не было. Вот только убеждения бывают разные, и политика тоже.

— А как у вас насчет политики?— спросил полковник; он тоже устал от одиночества.

— Да сами знаете — ни шатко ни валко.

— Понятно. А ваши дела как идут?

— По-моему, хорошо. Может, не так хорошо, как в прошлом году. Но все же вполне прилично. Нас побили на выборах, и теперь надо немножко выждать.

— Но вы-то сами что-нибудь делаете?

— Как вам сказать. Политика ведь у меня скорее для души. То есть умом я тоже в нее верю, да вот больно плохо развит.

— А ведь слишком большое развитие тоже вредно — души не останется.

— Может, и так. А у вас в армии политикой занимаются?

— Еще как,— сказал полковник.— Но не в том смысле, в каком вы думаете.

— Ну, тогда нам лучше этого не касаться. Я вас выспрашивать не хотел.

— Да ведь это я у вас первый спросил, я сам начал разговор. Мы просто болтаем. Никто друг у друга ничего не выспрашивает.

— Конечно. Вы, полковник, на инквизитора не похожи. Я знаю про ваш Орден, хоть в нем и не состою.

— Вы можете стать членом-соревнователем. Я поговорю с Gran Maestro.

— Мы с ним и одного города, но из разных районов.

— Город у вас хороший.

— Понимаете, полковник, я политически так плохо развит, что считаю всех порядочных людей порядочными.

— Ну, это у вас пройдет,— заверил его полковник.— Не беспокойтесть. Партия ваша молодая. Неудивительно, что вы впадаете в ошибки.

— Прошу вас, не надо так говорить.

— Рано утром можно и пошутить.

— Скажите откровенно, полковник, что вы думаете о Тито?

— Разное. Но он мой ближайший сосед. А я не привык сплетничать о соседях.

— А мне хотелось бы знать...

— Узнаете на собственной шкуре. Разве вы не понимаете, что на такие вопросы не отвечают?

— А я надеялся, что отвечают.

— Зря,— сказал полковник.— Во всяком случае, в моем положении. Могу вам только сказать: забот у мистера Тито немало.

— Ну, это я уже понял,— сказал ночной швейцар. Он и в самом деле был еще мальчишкой.

— Еще бы,— сказал полковник.— Мудрости тут особой не нужно. Ну, пока, мне надо пройтись — для пищеварения и вообще.

— До свидания, полковник. Fa brutto tempo [1].

— Bruttissimo [2],— сказал полковник; затянув потуже пояс плаща, расправив плечи и обдернув полы, он переступил порог и вышел на улицу, где гулял ветер.

---

[1] Погода сегодня мерзкая *(итал.)*.
[2] Премерзкая *(итал.)*.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Полковник спустился в гондолу, которая за десять чентезимо перевозила пассажиров через канал, заплатил грязной ассигнацией сколько положено и встал в толпу людей, осужденных всю жизнь подниматься чуть свет.

Он оглянулся на гостиницу «Гритти» и увидел окна своей комнаты; они все еще были открыты настежь. Дождем не пахло, но дул тот же резкий, порывистый, холодный ветер с гор. Люди в гондоле посинели, и полковник подумал: «Вот бы выдать всем по такому ветронепроницаемому дождевику, как у меня. Господи, любой офицер, носивший такой дождевик, знает, что от дождя он не спасает; любопытно, кто на этом наживается?

Настоящий дождевик вода не проймет. А наши протекают вовсю, зато какой-нибудь ловкач, наверно, пристроил сынишку в Гротон, а может, в Кентербери, где учатся отпрыски крупных военных поставщиков.

Кому из моих собратьев-офицеров он сунул в лапу? Кто у нас в армии берет взятки? Наверно,— подумал полковник,— не один. Наверно, их очень много. Ты, кажется, еще не проснулся как следует, уж больно ты разоткровенничался. Но от ветра они все-таки защищают. Дождевики! Дождевики, держи карман шире!»

Гондола подошла к причалу на другой стороне канала, и полковник стал наблюдать, как одетые в черное люди выбираются из черной плавучей колымаги. «Разве же это колымага?— подумал он.— У колымаги должны быть колеса или, на худой конец, гусеницы. «Какая ерунда лезет в голову,— думал он.— Особенно сегодня утром. Но помню, и у меня бывали здравые мысли, когда игра шла вабанк». Он попал в дальнюю часть города, которая прилегала к Адриатике,— эти кварталы он любил больше всего. Шагая по узенькой улочке, он решил не считать, сколько пересек переулков и мостов, а потом сориентироваться и выйти прямо к рынку, не попав ни разу в тупик.

Это была такая же игра, как для других людей пасьянс. Но она имела то преимущество, что, играя в нее, вы двигаетесь и любуетесь домами, городским пейзажем, лавками, тратториями и старыми дворцами Венеции. Если любишь Венецию, это отличная игра.

— Да, это своего рода solitaire ambulante [1], а вы-

[1] Бродячий пасьянс *(франц.)*.

игрываешь радость для глаз и для сердца. Если доберешься в этой части города до рынка, ни разу не сбившись с пути, игра твоя. Но нельзя облегчать себе задачу и вести счет переулкам и мостам.

По другую сторону канала игра заключалась в том, чтобы, выйдя из дверей «Гритти», попасть, не заблудившись, прямо на Риальто через Fondamente Nuove.

Оттуда можно было подняться на мост, перейти через него и спуститься к другому рынку. Рынки полковник любил больше всего. В каждом городе он первым делом осматривал рынки.

Тут он услышал, как двое юнцов прохаживаются на его счет у него за спиной. Он определил их возраст по голосу и не оглянулся, но старался на слух сохранить дистанцию, ожидая поворота, чтобы обернуться и посмотреть, что это за птицы.

«Они идут на работу,— решил он.— Может, это бывшие фашисты, а может, кто-нибудь еще, а может, просто любители почесать язык. Но они говорят обо мне обидно. И дело вовсе не в том, что я американец,— им не нравлюсь я сам, моя седина, то, что я прихрамываю, мои походные сапоги. (Молодчикам такого сорта удобные походные сапоги не нравились. Они любили сапоги с подковками, которые гулко стучали по плитам мостовой и блестели как зеркало. Вот и мой плащ, на их взгляд, мешковат. А теперь они толкуют о том, почему это я вышел в такую рань, и готовы голову прозакладывать, что я уже не мужчина».

Дойдя до угла, он круто свернул налево, посмотрел, с кем ему предстоит иметь дело, смерил разделявшее их расстояние, и когда юнцы обогнули угол, образуемый апсидой церкви Фрари, полковника не было и в помине. Он стоял в мертвом пространстве за апсидою старинной церкви, а услышав, что они подошли вплотную, выступил вперед, засунув кулаки в карманы дождевика, и повернулся к ним — он сам, и дождевик, и два кулака в карманах.

Они остановились, и он поглядел им обоим в глаза, и его улыбка была похожа на оскал мертвеца — старый, испытанный прием. Потом он посмотрел им на ноги — таким типам всегда смотришь на ноги, ведь они носят слишком узкие ботинки, и если их снять, увидишь одни мозоли. Не говоря ни слова, полковник сплюнул.

Оба молодчика — да они и в самом деле были фашисты — смотрели на него с ненавистью и еще с каким-

то чувством. Затем они снялись с места, как болотные птицы, вскидывая ноги, будто цапли, и в то же время напоминая чем-то ибисов в полете; они то и дело злобно оглядывались, надеясь оставить за собой последнее слово, когда отойдут достаточно далеко.

«Жаль, что их не было десять на одного,— подумал полковник.— Тогда они, пожалуй, и решились бы на драку. Впрочем, что их винить, ведь они побежденные.

Но вели они себя совсем неподобающе с человеком моего звания и возраста. И потом, глупо думать, что ни один полковник пятидесяти лет от роду не поймет их языка. И еще глупее думать, что старый пехотинец не захочет драться рано по утру при таком небольшом перевесе у противника, как два к одному.

Мне было бы неприятно драться в этом городе, ведь я так люблю здешний народ. Я бы этого не хотел. Но разве не могли эти дурно воспитанные юнцы сообразить, на кого они нарвались? Разве они не знают, откуда у человека берется такая хромота? Разве они не могли разглядеть признаки, по которым узнаешь старых фронтовиков так же безошибочно, как рыбака по шрамам на ладонях, которые прорезала бечева с большой рыбой?

Правда, они видели только мою спину, мою задницу, ноги и сапоги. Но они могли узнать меня по походке. Или, может, походка у меня изменилась? Впрочем, когда я посмотрел на них и подумал — конец вам обоим!— они меня как будто поняли. Поняли как нельзя лучше.

Чего стоит человеческая жизнь? У нас в армии — десять тысяч долларов, если ты застрахован. К чему это я? Ах да, я как раз думал об этом, когда появились эти хлюсты; я думал о том, сколько денег сберег на своем веку моему правительству, пока всякое жулье опустошало казенную кормушку».

«Да,— сказал он себе,— а сколько ты пустил по ветру в тот раз у Шато, считая по десять косых за голову? Ну, никто этого, кажется, так и не понял, кроме меня самого. А сейчас незачем им и объяснять. Начальство любит все сваливать на военную удачу. В армии знают, что на войне бывает всякое. Поступай, как приказано, не считаясь с потерями,— вот ты и герой».

«Господи,— подумал он,— посылать людей на убой мне совсем не по нутру. Но когда получаешь приказ, приходится его выполнять. Ошибки — вот что не дает

тебе потом покоя. Но какого черта о них вспоминать! От этого никому еще не было легче. Да только иной раз мысли к тебе как привяжутся... Привяжутся так, что не отвяжешься».

«Гляди веселей!— подумал он.— Не забудь, какой при тебе капитал, а ты чуть было не впутался в драку. Если бы тебе попало, они бы непременно обшарили твои карманы. Ты уже не можешь бить наповал этими руками, а оружия при тебе нету. Вот и нечего напускать на себя меланхолию, малый. Малый, или старый, или полковник, или неудавшийся генерал. Мы уж почти дошли до рынка, а ты и не заметил. Плохо не замечать, что вокруг тебя делается»,— добавил он про себя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Он любил этот рынок. Здесь негде было яблоку упасть, люди теснились в соседних улочках, а давка стояла такая, что трудно было не толкнуть кого-нибудь ненароком, и всякий раз, как ты останавливался поглазеть, купить или просто прицениться, ты создавал flot de résistance[1] перед фронтом утренней атаки покупателей. Полковник любил разглядывать огромные, высоченные груды сыра и больших колбас. «У нас в Америке воображают, будто mortadella — это сосиски»,— подумал он. Он сказал женщине в палатке:

— Дайте мне, пожалуйста, попробовать кусочек этой колбасы. Совсем маленький.

Она сердито и вместе с тем любовно отрезала ему тонкий, как бумага, ломтик, и когда полковник его попробовал, он почувствовал отдающий дымком вкус проперченной свинины; этих кабанов откармливали в горных лесах желудями.

— Я возьму двести пятьдесят граммов.

Завтраки, которыми барон кормил охотников, были спартанскими, и полковник уважал этот обычай, зная, что на охоте наедаться не следует. Но он решил, что все же может добавить к завтраку эту колбасу и поделиться ею с лодочником и егерем. Гончая Бобби тоже получит свой ломтик,— зря, что ли, ей мокнуть до костей, даже дрожа от холода, она работает на совесть.

— А лучше колбасы у вас нет?— спросил он у женщины.— Какой-нибудь еще, из тех, что держите под прилавком для постоянных покупателей?

---

[1] Очаг сопротивления (*франц.*).

— Лучше этой не бывает. Другая есть, сами видите. Но эта лучше всех.

— Дайте мне еще полтораста граммов пожирнее и без перца.

— Это можно,— сказала она.— Еще не вылежалась как следует, но как раз то, что вам нужно.

Эта колбаса предназначалась для Бобби.

В Италии, где худшее преступление — прослыть дураком и где столько людей недоедает, лучше и не заикаться, что вы покупаете колбасу для собаки. Можно скормить ей кусок дорогой колбасы на глазах у рабочего человека, который знает, почем фунт лиха и каково собаке в воде зимой. Но никто не объявляет во всеуслышание, для чего покупается эта колбаса. Кроме дураков или миллионеров, нажившихся на войне и послевоенных трудностях.

Полковник расплатился и продолжал свой путь через рынок, вдыхая аромат жареного кофе и разглядывая залитые жиром туши в мясном ряду, словно наслаждался полотнами фламандских мастеров — их имен никто не помнит, но они с непревзойденной точностью изобразили в красках все, что можно застрелить или съесть. «Рынок сродни хорошему музею, вроде Прадо или Академии»,— подумал полковник.

Переулком он вышел в рыбные ряды.

Здесь прямо на осклизлых каменных плитах или в корзинах и ящиках с веревочными ручками лежали тяжелые зеленовато-серые омары с темно-кирпичным отливом, предвещавшим близкую смерть в кипятке. «Всех их изловили предательским образом,— подумал он,— вот и клешни им даже связали». Были здесь небольшие камбалы, несколько тунцов и пеламиды. Эти большеглазые рыбы морских глубин сохраняют достоинство даже в смерти; они похожи на торпеды, подумал полковник.

Их бы никогда не поймали, не будь они такими прожорливыми. Несчастные камбалы для того и живут на мелководье, чтобы кормить человека. Но эти блуждающие торпеды держатся в глубине синих вод и большими стаями странствуют по морям и океанам.

«Чего только не приходит тебе в голову,— подумал он.— Но посмотрим, что тут есть еще».

Было здесь великое множество угрей, еще живых, хоть они и потеряли всякую веру в свое первородство. Были здесь и сочные рачки, из которых готовят scampi

brochetto (они с шипением жарятся на остром вертеле вроде рапиры, который в Бруклине пригодился бы для колки льда). Были тут небольшие креветки, серые, с молочным отливом,— они тоже ждали своей очереди, чтобы попасть в кипяток и обрести бессмертие; их легкую скорлупу понесет отлив по Большому каналу.

«Проворная креветка, чьи щупальца длиннее усов того старого японского адмирала, приходит сюда, чтобы отдать нам свою жизнь,— подумал полковник.— О христианнейшая креветка, мастер отступления, у тебя ведь такая прекрасная разведка — эти две тоненькие антенны впереди, почему же они не донесли, как опасны огни и сети? Наверно, по недосмотру»,— ответил он себе.

Он глядел на горы маленьких моллюсков с острыми, как бритва, створками раковин,— их непременно надо есть сырыми, если у вас еще действует прививка против брюшного тифа.

Он обошел весь ряд, остановился возле одного из продавцов и спросил, где поймали его моллюсков. Их поймали в хорошем месте, куда не спускают сточные воды, и полковник попросил вскрыть ему полдюжины. Выпив сок, он вырезал мякоть, соскоблив ее кривым ножом, который вручил ему продавец. Тот передал ему нож, зная по опыту, что полковник вырежет мякоть лучше, чем он сам. Полковник заплатил продавцу какие-то гроши — но куда больше, чем те гроши, которые достались рыбакам, выловившим моллюсков,— а затем подумал: «Взгляну-ка я еще на речных рыб, и пора возвращаться в гостиницу».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Полковник вернулся в «Гритти-палас». Он расплатился с гондольерами и вошел в вестибюль; тут ветра не было. Провести гондолу от рынка вверх по Большому каналу можно было только вдвоем. Оба гондольера потрудились вовсю, и полковник заплатил им как положено и даже несколько больше.

— Мне никто не звонил?— спросил он дежурного.

Портье — умный, подвижной блондин с острым лицом — был неизменно вежлив, но без всякой угодливости. Он скромно носил на лацкане синей ливреи эмблему своей должности — скрещенные ключи. Хотя и был портье. «По званию — вроде капитана,— думал полковник.— Офицер, но не из благородных. В прежние вре-

мена был бы старшим сержантом; правда, дело ему приходится иметь только с высоким начальством».

— Сударыня уже звонила два раза,— сказал портье по-английски.

«Так принято называть язык, на котором мы все говорим,— подумал полковник.— Ну что ж, давайте звать его английским. Это, пожалуй, все, что у нас от них осталось. Можно сделать им любезность и сохранить старое название. Хотя Стаффорд Криппс, наверно, и язык скоро будет выдавать по карточкам».

— Будьте добры, соедините меня с ней поскорее,— сказал он портье.

Портье принялся набирать номер.

— Вы можете поговорить отсюда, полковник,— сказал он.— Я вас уже соединил.

— Быстро!

— Пройдите в кабину,— сказал портье.

Войдя в кабину, он снял трубку и по привычке сказал:

— Полковник Кантуэлл слушает.

— Ричард, я звонила два раза. Но мне сказали, что ты ушел. Где ты был?

— На рынке. Ну, как ты, прелесть моя?

— Все еще спят, и нас никто не слышит. Поэтому — да, я твоя прелесть. Что бы это ни значило.

— Хорошо спала?

— Мне снилось, что я скольжу в темноте, как на лыжах. Может, и не на лыжах, но в темноте.

— Правильно, это и должно было тебе присниться. Почему ты так рано проснулась? Ты даже перепугала нашего портье.

— Наверно, это нескромно, но скоро я тебя увижу? И где?

— Когда и где хочешь.

— Камни еще у тебя? Приятно ты провел время с мисс Портрет?

— Да. И снова да. Камни у меня в верхнем левом кармане, а карман застегнут. С мисс Портрет мы болтали поздно ночью и рано утром, она мне очень скрасила жизнь.

— Ты ее теперь любишь больше, чем меня?

— По-моему, я пока еще человек нормальный. А может, это одно хвастовство. Она очень красивая.

— Где мы встретимся?

— Давай позавтракаем в кафе «Флориан», на пра-

вой стороне площади. Площадь, наверно, залило водой, интересно будет поглядеть.

— Хочешь, я приду туда через двадцать минут?

— Хочу,— сказал полковник и повесил трубку.

Он вышел из будки, и вдруг ему стало плохо, а потом показалось, будто дьявол загнал его в железную клетку — в Железную Деву, а может, в Железное Легкое; лицо у него посерело, он еле доплелся до конторки портье и сказал ему по-итальянски:

— Доменико, будьте добры, дайте воды.

Портье ушел, а он привалился к конторке, с трудом переводя дух. Он стоял неподвижно, не теша себя никакими иллюзиями. Портье принес стакан воды, и полковник принял четыре таблетки вместо положенных двух, по-прежнему не шевелясь, как усталый ястреб.

— Доменико,— позвал он.

— Да?

— У меня тут в конверте одна вещь, прошу вас, положите ее в сейф. Ее могут потребовать у вас либо я сам, лично или письменно, либо та особа, с которой вы меня только что соединяли по телефону. Дать вам письменное распоряжение?

— Нет. Это ни к чему.

— Ну, а если с вами что-нибудь приключится? Вы ведь тоже не бессмертны, а?

— Да, наверно,— сказал портье.— Но я все это запишу, а кроме меня, есть еще управляющий и его помощник.

— И оба люди хорошие,— признал полковник.

— Вы бы присели, полковник.

— Не хочу. Кто же позволяет себе рассиживаться, кроме никчемных стариков и старух в дешевых меблирашках? Вы разве сидите?

— Нет.

— Я могу передохнуть стоя или приткнувшись к любому вонючему дереву. Мои соотечественники вечно присаживаются или просто валяются. И чтобы заглушить свое нытье, жуют укрепляющие галеты.— Он говорил без умолку, стараясь поскорее прийти в себя.

— Неужели у вас продают такие галеты?

— Факт. В них кладут снадобье, чтобы вы не волновались. Вроде атомной бомбы обратного действия.

— Что-то не верится!

— Ну, у нас есть такие военные тайны, что о них только генеральские жены друг другу рассказывают!

Укрепляющие галеты — это еще самая безвредная! Следующий раз мы засыплем всю Венецию бактериями с высоты в пятьдесят шесть тысяч футов. И ничего против этого не поделаешь,— сказал полковник.— Они тебе сибирскую язву, а ты им другую заразу!

— Но это ужасно!

— Просто кошмар,— заверил его полковник.— Невиданный и неслыханный. Об этом сообщали в печати. Но зато вы в это время сможете поймать по радио принцессу Маргарет, она вам споет американский гимн. Думаю, что это мы устроим. Голос у нее, я бы не сказал, что большой. В свое время и не такие слыхали. Но теперь ведь кругом жульничество. Радио само делает голоса. А гимн «Звездное знамя»— он вас поддержит почти до самого конца.

— Вы думаете, они в самом деле на нас что-нибудь бросят?

— Что вы! Когда они это делали?

От гнева, от боли, от чувства беспомощности полковник вел себя так, будто он генерал армии, но, приняв таблетки, почувствовал облегчение и сказал:

— Ciao, Доменико!

Выйдя из отеля, он подсчитал, что ему нужно двенадцать с половиной минут, чтобы добраться до кафе, где он встретится с Ренатой; впрочем, она, наверно, чуть опоздает. Он шел осторожно, не ускоряя шага. Но мосты ему все равно давались с трудом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Точно в назначенное время Рената сидела за столиком. В резком утреннем свете, который падал на залитую водой площадь, она была все такой же красивой. Она сказала:

— Ричард, сядь. Тебе нехорошо? А?

— Ну что ты!— сказал полковник.— Чудо ты мое!

— Ты обошел все наши любимые места на рынке?

— Не все. Я не ходил туда, где продают диких уток.

— Спасибо.

— Не за что,— сказал полковник.— Я никогда не хожу туда без тебя.

— Ты думаешь, мне не надо ехать на охоту?

— Нет. Безусловно, нет. Если бы Альварито хотел, он бы тебя пригласил.

— Он мог меня не пригласить именно потому, что этого хотел.

— Верно,— сказал полковник, обдумывая эту догадку.— Что будешь есть?

— Тут очень невкусно кормят утром, и потом, я не люблю площадь, когда она затоплена. У нее такой унылый вид, и голубям некуда сесть. Весело бывает попозже, когда дети прибегают играть. Пойдем завтракать в «Гритти»?

— Тебе туда хочется?

— Да.

— Ладно. Позавтракаем там. Я, правда, уже поел.

— Да ну?

— Я выпью кофе с горячими слойками, а если есть не захочется, хотя бы в руках подержу. Ты очень голодна?

— Ужасно,— призналась она простодушно.

— Тогда мы проделаем всю процедуру как следует. Тебе от одного слова «завтрак» станет противно.

Когда они шли, ветер дул им в спину и развевал ее волосы веселее, чем знамя; держа его крепко за руку, она спросила:

— А ты меня еще любишь при резком холодном свете венецианского утра? Он ведь правда такой резкий и холодный, да?

— Я люблю тебя, хотя он и резкий и холодный.

— Я любила тебя всю ночь, когда бежала в темноте на лыжах.

— Как же тебе это удавалось?

— Лыжня была такая, как всегда, но только кругом темно и снег не светлый, а темный. А идешь на лыжах обыкновенно: не торопясь, легко.

— И ты бежала на лыжах всю ночь? Сколько же ты прошла?

— Нет, не всю. Потом я крепко спала, а когда проснулась, мне было хорошо. Ты лежал рядом и спал, как ребенок.

— Я не был рядом с тобой, и я не спал.

— Но сейчас ты со мной,— сказала она и прижалась к нему еще крепче.

— И мы почти дошли.

— Да.

— А я тебе уже говорил, что я тебя люблю?

— Говорил, но скажи еще раз.

— Я люблю тебя,— сказал он.— Говорю тебе это прямо и официально.

— Говори как хочешь, если только это правда.

— Молодец,— сказал он.— Ты добрая, славная и красивая девушка. Повернись-ка на мосту в профиль, и пусть ветер треплет твои волосы.

— Ну, это легко,— сказала девушка.— Вот так?

Он посмотрел, увидел ее профиль, утреннюю свежесть кожи, грудь, приподнимающую черный свитер, глаза, прищуренные от ветра, и сказал:

— Да, так.

— Ну и слава богу,— сказала она.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Gran Maestro посадил их за столик у окна, выходившего на Большой канал. В ресторане, кроме них, никого не было. Вид у Gran Maestro с утра был здоровый и праздничный. По утрам он забывал о своей язве, да и о сердце также. Когда у него ничего не болело, он старался не думать о боли.

— Мой товарищ рассказывает, что ваш рябой соотечественник завтракает в постели,— поведал он полковнику.— Сюда, правда, могут прийти несколько бельгийцев. «Храбрейшие из них были белги»,— процитировал он.— Есть у нас тут и парочка pescecani; сами знаете, откуда их принесло. Но они переутомились и, по-видимому, будут есть, как свиньи, у себя в номере.

— Отлично доложили обстановку,— сказал полковник.— Проблема, которую нам надо решить, Gran Maestro, состоит в том, что я уже поел у себя в номере, как тот щербатый и ваши pescecani. А вот эта дама...

— Молодая девушка,— поправил его Gran Maestro, улыбаясь во весь рот. Настроение у него было хорошее, ибо день еще только начинался.

— Эта молодая девушка хочет так позавтракать, чтобы никогда уже больше к этому не возвращаться.

— Понятно,— сказал Gran Maestro; он поглядел на Ренату, и сердце у него в груди перекувырнулось, как морская черепаха в океане. Редкостное ощущение, мало кому на этом свете удается его пережить.

— Что ты будешь есть, дочка?— спросил полковник, любуясь ее утренней, ничем не прикрашенной красотой.

— Все подряд.

— Может, ты все-таки уточнишь?

— Чай вместо кофе и все, что Gran Maestro удалось для меня припасти.

— Старыми запасами, дочка, я вас кормить не буду.

— Дочкой зову ее только я.

— Я это сказал от души. Мы можем fabricar[1] rognons[2], зажаренные с шампиньонами. Грибы собрали люди, которых я хорошо знаю. Или вырастили у себя в сыром погребе. Могу подать омлет с трюфелями — их вырыли очень благородные свиньи. И канадскую грудинку, полученную по случаю из самой Канады.

— Все равно откуда,— сказала девушка, улыбаясь и не теша себя пустыми иллюзиями.

— Все равно откуда,— серьезно повторил полковник.— Я-то уж знаю, откуда. Ну ладно, пошутили и хватит. Давайте теперь поедим.

— Если это не очень нескромно, я бы и сама была за это.

— А мне принесите флягу вальполичеллы.

— И больше ничего?

— Порцию грудинки, если она и правда из Канады.

Он поглядел на девушку, потому что теперь они остались одни, и сказал:

— Ну, как ты, прелесть моя?

— Наверно, я очень хочу есть. Но спасибо тебе за то, что ты сегодня добрый так долго.

— Мне было нетрудно,— объяснил он по-итальянски.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Они сидели за столиком и любовались, как утренний беспокойный свет золотит воду канала. Теперь, на солнце, вода была уже не серая, а желто-серая, и волны шли навстречу отливу.

— Мама уверяет, будто не может подолгу жить в Венеции, потому что тут нет деревьев,— сказала девушка.— Она то и дело уезжает за город.

— Все ездят за город,— сказал полковник.— Мы могли бы посадить деревья и здесь, если бы нашли дом с мало-мальски приличным участком.

— Я больше всего люблю ломбардские тополя и платаны, но я в этом плохо разбираюсь.

— Я тоже их люблю, однако мне нравятся и кипарисы и каштаны. Обыкновенные каштаны и конские. Но настоящих деревьев, дочка, ты не увидишь, пока мы не поедем в Америку. Вот тогда ты посмотришь, что такое белая сосна или желтая сосна!

— А мы их увидим, когда поедем путешествовать и

---

[1] Приготовить *(испанск.)*.
[2] Почки *(франц.)*.

будем останавливаться на всех заправочных и общественных станциях, или как там они у вас называются?

— Туристские лагеря,— сказал полковник.— Мы будем там останавливаться, только не на ночь.

— Мне ужасно хочется подкатить к общественной станции, шваркнуть об стол деньги и крикнуть: «А ну-ка, Мак, заправь машину и проверь масло!»— как это делают во всех американских романах и фильмах.

— Их называют заправочные станции.

— А что же тогда общественная станция?

— Общественные бывают не станции, а уборные. Куда ты заходишь, когда...

— А-а...— сказала девушка и покраснела.— Извини, пожалуйста. Я ужасно хочу научиться правильно говорить по-американски. Но, наверно, еще долго буду путать, как ты по-итальянски.

— Язык у нас очень простой. И чем дальше на Запад, тем он проще и яснее.

Gran Maestro подал завтрак, и хотя блюда были покрыты серебряными крышками, они почувствовали аромат жареной грудинки и почек, отдающий темным, приглушенным душком тушеных грибов.

— Выглядит все это просто чудно,— сказала девушка.— Большое спасибо, Gran Maestro. Хочешь, я буду разговаривать по-американски?— спросила она полковника.— А ну-ка, приятель, вали сюда!— произнесла она коротко, ткнув рукой, как рапирой.— Жратва мировая!

Gran Maestro ответил:

— Благодарю вас, сударыня.

— Как правильнее сказать: шамовка или жратва?— спросила девушка.

— Одинаково.

— А на Западе так разговаривали, когда ты был маленький? Что там говорят за завтраком?

— Завтрак подавал сам повар. Он бы сказал: «А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку».

— Мне это надо выучить и сказать у нас в имении. Как-нибудь, когда к нам приедет в гости английский посол со своей очень скучной женой, я подучу лакея сказать: «А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку».

— Гость мигом вылетит как пуля,— сказал полковник.— Но опыт будет интересный.

— Научи, что мне сказать по-настоящему, по-аме-

рикански этому рябому, если он, конечно, появится. Я тихонько шепну ему на ухо, будто назначаю свиданье, как когда-то делали дамы.

— Это зависит от того, какой у него будет вид. Если очень кислый, ты ему шепни: «Что ж ты, Мак, ты же грозился набить мне рыло!»

— Какая прелесть!— воскликнула она и повторила эту фразу, подражая Иде Люпино.— А можно мне это сказать Gran Maestro?

— Почему же нет? Gran Maestro!

Gran Maestro подошел и заботливо наклонился.

— Эй, Мак! Ты ж грозился набить мне рыло!— резко выкрикнула девушка.

— Не отрицаю,— ответил Gran Maestro.— Благодарю, что вы мне так недвусмысленно об этом напомнили.

— Если тот тип придет и ты захочешь поговорить с ним, когда он позавтракает, шепни ему на ухо: «Утри бороду, Джек, она вся в яичнице, оправься и катись отсюда».

— Я запомню и поупражняюсь дома.

— А что мы будем делать после завтрака?

— Давай поднимемся наверх и поглядим на портрет при дневном свете, а вдруг он ничего не стоит, я хочу сказать — никуда не годится?

— Идем,— сказал полковник.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Полковник боялся застать наверху обычный для гостиницы утренний ералаш, но номер уже прибрали.

— Стань с ним рядом,— сказал он. А потом спохватился и прибавил:— Пожалуйста!

Она встала рядом с портретом, и он поглядел на них оттуда, откуда смотрел ночью.

— Никакого сравнения,— сказал он.— Я говорю не о сходстве. Сходство схвачено отлично.

— А разве ты хотел нас сравнивать?— спросила девушка, закинув голову: на ней был тот же черный свитер, что на портрете.

— Конечно, нет. Но прошлой ночью и на рассвете я разговаривал с портретом, словно это была ты.

— Вот это мило. Значит, от портрета была какая-то польза.— Они лежали на кровати, и девушка его спросила:— Ты никогда не закрываешь окон?

— Нет. А ты?

— Только когда идет дождь. По-твоему, мы похожи

друг на друга?
— Не знаю. Нам так и не удалось это проверить.
— Нам с тобой вообще не очень-то везет. Но мне все же повезло, раз я тебя знаю.
— Ну, а что это тебе дало?— спросил полковник.
— Понятия не имею. Наверно, что-то дало, и мне лучше, чем другим.
— Верно! Этого и будем добиваться. Я, правда, не люблю ограничиваться малым, но иногда приходится с этим мириться.
— Что тебя огорчает больше всего на свете?
— Когда мне приказывают,— сказал он.— А тебя?
— Ты.
— Я не хочу тебя огорчать. Я не раз бывал последним сукиным сыном. Но никогда никому не причинял горя.
— Кроме меня, горе ты мое.
— Ладно,— сказал он.— Допустим.
— Спасибо, что ты это допускаешь. Ты сегодня добрый. Мне стыдно, что у нас так получается... Обними меня, пожалуйста, покрепче, и давай не будем говорить или думать о том, что все могло быть совсем иначе.
— А знаешь, дочка, это как раз одна из тех немногих вещей, которые я умею.
— Ты умеешь очень, очень много разных вещей. Не смей так о себе говорить.
— Ну да,— сказал полковник,— я умею наступать, я умею отступать, а еще?
— Ты все понимаешь в картинах, в книгах и в жизни.
— Ну, это наука нехитрая! Смотри на картины непредвзято, читай книги честно и живи, как живется.
— Не снимай, пожалуйста, мундира.
— Ладно.
— Ты всегда меня слушаешься, если я говорю «пожалуйста».
— Бывало, я слушался и без этого.
— Не очень часто.
— Не очень,— признался полковник.— Пожалуйста — очень приятное слово.
— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
— Per piacere — это значит: сделай милость. Жаль, что мы не можем всегда говорить по-итальянски.
— Можем, но только в темноте. Хотя есть такие вещи, которые лучше звучат по-английски. «Я люблю тебя, моя последняя, настоящая и единственная любовь»,— процитировала она.— «Когда сирень в последний раз цвела у

нас в саду». «Из колыбели, вечно баюкавшей». «А ну-ка, навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку». Тебе это больше нравится на другом языке, Ричард?

— Нет.

— Поцелуй меня еще раз, пожалуйста.

— В этом случае «пожалуйста» лишнее.

— Я, того и гляди, сама стану лишняя. Если ты умрешь, ты, по крайней мере, не сможешь меня бросить.

— Ну, знаешь, это уже грубо,— сказал полковник.— Последи-ка за своим язычком.

— Я становлюсь грубой, когда ты грубишь,— сказала она.— Ты ведь сам хочешь, чтобы я была хоть немножко на тебя похожа.

— Я не хочу, чтобы ты хоть в чем-нибудь была не такая, какая ты есть. Я люблю тебя всей душой, окончательно и бесповоротно.

— Иногда ты умеешь говорить приятные вещи очень понятно. А что, если не секрет, вышло у тебя с женой?

— Она была женщина честолюбивая, а я слишком часто бывал в отъезде.

— Ты хочешь сказать, что она ушла от тебя из честолюбия, а тебя никогда не бывало дома из-за твоего ремесла?

— Вот именно,— сказал он, вспоминая прошлое почти без горечи.— Честолюбия у нее было больше, чем у Наполеона, а таланта — как у первого зубрилы в школе.

— Что бы это ни значило,— сказала девушка.— Но не будем о ней говорить. Жаль, что я тебя о ней спросила. Ей, должно быть, обидно, что она с тобой не живет.

— Ничуть. С таким самомнением, как у нее, не обижаются, а замуж она вышла, чтобы примазаться к военной верхушке и приобрести связи, полезные для ее профессии или, может, для ее искусства. Она была журналисткой.

— Но это ужасные люди!— воскликнула девушка.

— Верно.

— Как ты мог жениться на журналистке и позволить ей этим заниматься?

— Я же говорил, что у меня в жизни бывали ошибки,— сказал полковник.

— Давай поговорим о чем-нибудь приятном.

— Давай.

— Нет, это ужасно! Как ты на это решился?

— Не знаю. Я бы мог тебе рассказать подробно, но давай лучше обойдем этот вопрос.

— Давай обойдем. Все-таки я не думала, что это так ужасно. А ты больше такой глупости не сделаешь?

— Клянусь тебе, нет!

— И ты с ней не переписываешься?

— Конечно, нет.

— Ты не расскажешь ей о нас с тобой, она не сможет об этом написать в газетах?

— Нет. Я этой стерве кое-что рассказал, и она об этом написала. Но дело было совсем в другой стране. И к тому же она умерла.

— Правда, умерла?

— Начисто и бесповоротно. Как Феб Финикийский. Но она сама еще об этом не знает.

— А что, если бы мы с тобой гуляли по Пьяцце и ты бы ее встретил?

— Я бы посмотрел на нее в упор и не заметил. Пусть знает, что умерла.

— Большое спасибо,— сказала девушка.— Ты ведь понимаешь, как трудно неопытной девушке справиться с другой женщиной или с памятью о другой женщине.

— У меня нет другой женщины,— сказал полковник, и глаза у него от невеселых воспоминаний стали злые.— И нет памяти о другой женщине.

— Большое спасибо,— повторила девушка.— Сейчас я тебе верю. Но, пожалуйста, никогда не смотри на меня так и никогда обо мне так не думай!

— Давай поймаем ее и вздернем на высоком дереве!— запальчиво сказал полковник.

— Нет. Давай о ней лучше забудем.

— Я ее и так забыл,— сказал полковник.

И как ни странно, это было правда. Странно потому, что на миг она появилась в комнате и чуть было не нагнала на него панику; это уже совсем странно, подумал полковник. Он-то знал, от чего люди впадают в панику.

Но теперь она ушла, ушла безвозвратно; она выжжена, изгнана, разжалована по рапорту в одиннадцати экземплярах, к которому приложено официальное, заверенное у нотариуса, свидетельство о разводе.

— Я ее забыл,— сказал полковник.

Это была чистая правда.

— Я очень рада,— сказала девушка.— Не понимаю, как ее вообще пустили сюда, в гостиницу.

— Да, мы с тобой здорово похожи,— сказал полковник.— Нельзя этим так чертовски злоупотреблять!

— Ладно, можешь ее повесить, ведь это из-за нее

нам нельзя пожениться.

— Я ее забыл,— сказал полковник.— Пусть получше разглядит себя в зеркале и повесится сама.

— Теперь, когда ее здесь больше нет, не будем желать ей всяких бед. Но, как настоящая венецианка, я бы хотела, чтобы она умерла.

— И я тоже,— сказал полковник.— Но раз она не умерла, давай забудем ее навсегда.

— Навсегда и на веки вечные,— сказала девушка.— Правильно я выговариваю? По-испански это будет para sempre.

— Para sempre и все такое прочее,— добавил он.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Они молча лежали рядом, и полковник чувствовал, как бьется ее сердце. Приятно чувствовать, как бьется сердце под черным свитером, который связала ей тетка, и ощущать тяжесть длинных темных волос на здоровой руке. «Но разве это тяжесть,— думал полковник,— они же легче легкого». Она лежала тихая и ласковая, и все, что им обоим было дано пережить, неразрывно связывало их друг с другом. Он нежно и требовательно поцеловал ее рот, и все вдруг замерло, осталось только ощущение нерасторжимой связи.

— Ричард,— сказала она.— Как обидно, что у нас все так получается...

— А ты никогда ни о чем не жалей,—сказал полковник.— Никогда не считай потерь, дочка.

— Повтори.

— Дочка...

— Расскажи мне что-нибудь хорошее, чтобы я могла думать об этом всю будущую неделю, и еще про войну.

— Давай не будем говорить о войне.

— Нет. Я должна о ней больше знать.

— Я тоже должен,— сказал полковник.— Но не о военных хитростях. Один наш офицер в должности генерала как-то словчил и раздобыл план передвижения войск противника. Он заранее знал о каждом их шаге и провел такую блестящую операцию, что его повысили в чине и отдали ему под начало людей, куда более достойных. Вот почему нас одно время били. Да еще потому, что отдых в субботу и воскресенье у нас такая святыня.

— Сегодня у нас суббота.

— Я знаю,—сказал полковник.— Считать до семи я еще не разучился.

— Но почему ты на них сердишься?

— Неправда. Мне просто пошел шестой десяток, и я знаю, что к чему.

— Расскажи мне еще что-нибудь о Париже, я люблю всю неделю думать о тебе и о Париже.

— Дочка, почему ты все время пристаешь ко мне с Парижем?

— Но я же была в Париже и непременно поеду туда опять. Это самый чудесный город на свете, не считая нашего, и мне хочется побольше о нем узнать.

— Мы поедем вместе, и я там тебе все расскажу.

— Спасибо. Но ты расскажи мне хоть немножко сейчас, чтобы хватило на будущую неделю.

— Я тебе, кажется, объяснил, что Леклерк был хлюст из благородных. Человек очень умный, очень заносчивый и на редкость честолюбивый. И я тебе сказал — он умер.

— Да, это ты мне сказал.

— О мертвых неприятно дурно говорить. Но, по-моему, именно о мертвых нужно говорить правду. Я никогда не говорю о мертвых того, что не сказал бы им при жизни. Напрямик, в лицо,— добавил он.

— Давай не будем о нем говорить. В душе я его уже разжаловала.

— Но что же рассказать? Что-нибудь романтическое?

— Да, пожалуйста. У меня очень дурной вкус, я ведь читаю иллюстрированные журналы. Но когда ты уедешь, я всю неделю буду читать Данте. И каждое утро ходить к мессе. Это, наверно, поможет.

— А перед обедом заходи к «Гарри».

— Хорошо,— сказала она.— Расскажи мне что-нибудь романтическое.

— А не лучше ли нам просто заснуть?

— Разве можно сейчас спать, ведь у нас осталось так мало времени! Хочешь, полежим вот так,— сказала она и уткнулась головой ему в шею, под подбородок, заставив его откинуться назад.

— Ладно, сейчас расскажу.

— Сначала дай мне твою руку. Я буду чувствовать ее в своей, когда стану читать Данте и делать все остальное.

— Данте был отвратительный тип. Еще заносчивее Леклерка.

— Говорят. Но писал он совсем не отвратно.

— Да. А Леклерк умел здорово воевать.

— Ну, расскажи!

Теперь ее голова лежала на его груди. Он сказал:

— Почему ты не хотела, чтобы я снял мундир?

— Мне приятно чувствовать твои пуговицы. Это нехорошо?

— Почему? Я был бы самым последним сукиным сыном, если б так подумал. В вашем роду многие воевали?

— Все,— сказала она.— Всегда. Были у нас и купцы и дожи, ты ведь знаешь

— И все воевали?

— Все,— сказала она.— По-моему, все.

— Ладно,— сказал он. — Тогда я тебе расскажу.

— Что-нибудь романтическое. Такое, о чем пишут в иллюстрированных журналах, или даже хуже.

— В «Доменика дель коррьере» или «Трибуна иллюстрата»?

— Еще хуже.

— Сначала ты меня поцелуй.

Она поцеловала его нежно, крепко, с отчаянием, и полковнику стало трудно думать о боях. Он думал только о ней, о том, что она сейчас чувствует, и о том, как близко граничит жизнь со смертью в минуту высокого блаженства. Но что же такое, черт побери, это блаженство, каково его звание и к какой оно приписано части? И не раздражает ли ей кожу черный свитер? И откуда взялись вся эта мягкость, и прелесть, и удивительное достоинство, и жертвенность, и ребячья мудрость? Да, ты мог узнать блаженство, а вместо этого вытянул пиковую даму.

«Но смерть — дерьмо,— думал он.— Смерть приходит к тебе мелкими осколками снаряда, снаружи даже не видно, где она вошла. Иногда она ужасна. Она может прийти с некипяченой водой, с плохо натянутым противомоскитным сапогом или с грохотом добела раскаленного железа, который никогда не смолкал. Она приходит с негромким потрескиванием, предвещающим очередь из автомата. Она приходит с дымящейся параболой летящей гранаты и с резким ударом мины. Я видел, как она падает, оторвавшись от бомбодержателя, и описывает в воздухе причудливую дугу. Она приходит с оглушительным скрежетом металла, когда ломается машина или когда просто отказывает управление на скользкой дороге.

Но я знаю, что ко многим она приходит в постели как оборотная сторона любви. Я прожил с ней по соседству почти всю жизнь и отмеривал ее другим — в этом было мое ремесло. Но что же мне рассказать моей девушке в это холодное ветреное утро, здесь, в «Гретти-палас»?

— О чем бы тебе рассказать, дочка?— спросил он ее.
— Обо всем.
— Ладно,— сказал полковник.— Тогда слушай.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, на приятной, жестковатой, только что постеленной кровати; она положила ему голову на грудь, и волосы ее рассыпались по его старой, жилистой шее. Он начал рассказывать.

— Мы высадились, но не встретили серьезного сопротивления. Настоящую встречу нам готовили в другом месте. Затем мы соединились с воздушным десантом, заняли и закрепили за собой несколько городов и наконец захватили Шербур. Это было нелегко, операцию пришлось провести очень быстро; командовал ею генерал по прозвищу Молниеносный Джо, о котором ты, верно, никогда и не слыхала. Хороший генерал.

— Пожалуйста, дальше. Про Молниеносного Джо ты мне уже говорил.

— После Шербура у нас всего было вдоволь. Себе я не взял ничего, кроме адмиральского компаса,— у меня тогда была моторка на Чизапикском заливе. Нам достался весь коньяк германского интендантства, а кое-кто из офицеров прикарманил миллионов по шести французских франков, которые печатали фрицы. Их принимали до прошлого года; за доллар давали пятьдесят франков, и те, кто ухитрился переслать франки домой — через любовниц или адъютантов,— неплохо на этом нажились.

Я-то ничего не украл, кроме компаса,— мне казалось, что зря красть на войне не стоит: это приносит несчастье. Но коньяк я пил и в свободные минуты учился читать этот сложный компас. Компас был моим единственным другом, а телефон поглощал всю жизнь. Проводов у нас было больше, чем б... в Техасе.

— Пожалуйста, рассказывай, но, если можешь, говори поменьше грубых слов. Этого слова я не понимаю и не желаю его понимать.

— Техас — большщой штат,—сказал полковник.— Вот почему я привел в пример его женское население. Я же не мог привести в пример Вайоминг — народу там не больше тридцати, ну от силы пятидесяти тысяч, а проводов была уйма, их то и дело приходилось тянуть, свертывать, а потом тянуть снова.

— Дальше.

— Перейдем сразу к прорыву,— сказал полковник.—

Но скажи, тебе не скучно?

— Нет.

— Так вот, об этом сволочном прорыве,— сказал полковник, повернув к ней голову. Теперь он уже не рассказывал, а, скорее, исповедовался.— В первый же день появилась их авиация и сбросила такие игрушки, которые сбивают с толку радар, и наше отступление отменили. Мы были готовы, но его отменили. Начальству, конечно, виднее. Ох, до чего же я люблю начальство, прямо как горькую редьку.

— Рассказывай и не злись.

— Условия, видите ли, не благоприятствовали,— сказал полковник.— Ну, на другой день мы все-таки бросили вызов врагу, как говорят наши двоюродные братья англичане, которые не в состоянии прорвать даже мокрое полотенце; вот тут над нами и стали парить наши короли воздуха. Когда мы увидели первые самолеты, остальные еще только поднимались с насиженных мест на поросшем зеленой травкой авианосце, который зовется Англией. Они так и сияли, светлые, красивые,— к тому времени защитную окраску первых дней вторжения уже соскоблили, а может, ее и раньше не было. Точно не помню.

Так или иначе, дочка, вереница самолетов тянулась на восток, насколько хватал глаз. Похоже было на бесконечно длинный поезд. Они летели высоко в небе, красота, да и только! Я еще сказал своему начальнику разведки, что этот поезд можно окрестить «Валгалла». Тебе не надоело слушать?

— Нет. Я так и вижу этот экспресс «Валгалла». У нас тут никогда не бывало столько самолетов. Но вообще самолеты мы видели. Даже часто.

— Мы находились в двух тысячах ярдов от исходного рубежа. А ты знаешь, дочка, что такое две тысячи ярдов перед атакой?

— Нет. Откуда мне знать?

— Тут головная часть экспресса «Валгалла» сбросила дымовые бомбы, развернулась и пошла домой. Бомбы были сброшены точно, они ясно указали цель — позиции фрицев. Хорошие у них были позиции, ничего не скажешь: пожалуй, мы бы их оттуда не выбили, если бы не весь тот пышный аттракцион, который мы тогда наблюдали.

Ну, а потом чего только не сбросил экспресс «Валгалла» на фрицев — туда, где они засели и где пытались нас задержать! Позднее там все выглядело как после землетрясения, а пленные, которых мы брали, дрожали, слов-

но в лихорадке. Это были храбрые парни из Шестой парашютной дивизии, но их трясло, и они никак не могли взять себя в руки. Сама видишь, бомбежка была что надо. Как раз то, о чем можно мечтать, если хочешь повергнуть противника в страх и трепет.

Короче говоря, дочка, ветер подул с востока, и дым стало относить назад, прямо на нас. Тяжелые бомбардировщики бомбили линию дымовой завесы, а она висела теперь над нами. Вот авиация и принялась нас бомбить так же усердно, как раньше фрицев. Сперва это были тяжелые бомбардировщики, и тому, кто там побывал, уже нечего бояться ада. Потом, чтобы подготовить прорыв получше и оставить как можно меньше людей с обеих сторон, налетели средние бомбардировщики и принялись за тех, кто был еще жив. Ну, а потом, как только экспресс «Валгалла» повернул домой, растянувшись во всей своей красе и величии от французского побережья через всю Англию, мы пошли на прорыв. «Если у человека есть совесть,— сказал себе полковник,— ему иногда не мешает подумать, что такое военная авиация».

— Дай-ка мне бокал вальполичеллы,— сказал полковник и чуть не забыл добавить «пожалуйста».— Извини,— сказал он.— Пожалуйста, ляг поудобней, киса. Ты ведь сама просила, чтобы я тебе рассказал.

— Я не киса. Ты меня, наверно, с кем-нибудь спутал.

— Правильно. Ты моя последняя, настоящая и единственная любовь. Так? Но ты просила меня рассказать.

— Пожалуйста, рассказывай,— сказала девушка.— Я бы хотела быть твоей кисой, но не знаю, что для этого нужно. Я ведь всего-навсего девушка из Венеции и люблю тебя.

— Так и запишем,— сказал он.— И я тебя люблю; а это словечко, я, кажется, подцепил на Филиппинах.

— Может быть. Но мне бы хотелось быть просто твоей девушкой.

— Ты и есть моя девушка,—сказал полковник.— Вся, целиком, со всеми потрохами.

— Пожалуйста, не говори грубостей,— сказала она.— Пожалуйста, люби меня и расскажи все, как было, но только не расстраивайся.

— Я расскажу тебе все, как было,— сказал он.— Во всяком случае, постараюсь, и будь что будет. Если уж ты этим интересуешься, лучше тебе все узнать от меня, чем прочесть в какой-нибудь дерьмовой книжке.

— Пожалуйста, не надо быть грубым. Ты просто рас-

скажи мне все, как было, и обними меня покрепче, но рассказывай по порядку, чтобы у тебя на душе стало легче. Если тебе это удастся.

— Мне не от чего облегчать душу,— сказал он.— Разве что от воспоминаний о том, как тяжелые бомбардировщики действуют в тактических целях. Я ничего против них не имею, если они действуют правильно,— пусть даже тебе грозит смерть. Но для поддержки наземных сил мне подавай кого-нибудь вроде Кесады. Вот кто влепит им пинка в задницу.

— Пожалуйста, не надо...

— Если ты захочешь бросить такую старую клячу, как я, этот парень всегда окажет тебе поддержку.

— Ты вовсе не старая кляча, чтобы это ни значило, и я тебя люблю.

— Пожалуйста, дай мне две таблетки вон из той бутылочки и налей бокал вальполичеллы, который ты так и не налила, а я расскажу тебе еще кое-что.

— Не надо. Не надо рассказывать, я теперь знаю, что тебе это вредно. Особенно — про тот день, когда появился экспресс «Валгалла». Я не инквизиторша, или как там называют инквизиторов женского рода. Давай полежим тихо и поглядим в окно, что творится у нас на Большом канале.

— Пожалуй, это и в самом деле лучше. Да и кому какое дело до этой проклятой войны?

— Разве что нам с тобой,—сказала она и погладила его по голове.— Вот тебе две таблетки из квадратной бутылочки. Вот бокал вина. Надо мне в самом деле прислать тебе вина из нашего имения. Давай немножко поспим. Только будь хорошим, и давай просто полежим. Положи, пожалуйста, сюда свою руку.

— Здоровую или раненую?

— Раненую,— сказала девушка.— Ту, которую я люблю и не могу забыть всю неделю. Я же не могу взять ее на память, как ты взял камни.

— Они лежат в сейфе,— сказал полковник.— Положены на твое имя,— добавил он.

— Давай просто поспим и не будем больше говорить ни о камнях, ни о грустном.

— К черту грусть,— сказал полковник, лежа с закрытыми глазами и положив голову на черный свитер, который был ему дороже родины.

«Надо же иметь настоящую родину,— подумал он.— Моя — вот она».

— Жаль, что ты не президент,— сказала девушка.— Ты был бы замечательным президентом.

— Президентом? Когда мне было шестнадцать, я записался в национальную гвардию штата Монтана. Но я никогда в жизни не носил галстука бабочкой и никогда не был прогоревшим галантерейщиком. Нет у меня данных, чтобы стать президентом. Я даже оппозиции не мог бы возглавить, ведь мне не приходится подкладывать под зад телефонные справочники, когда меня фотографируют. И я не из тех генералов, которые пороха не нюхали. Какого черта, меня даже к Верховному союзному командованию не прикомандировали! И убеленным сединами сенатором мне тоже не быть. Для этого я недостаточно стар. Теперь ведь нами правят подонки. Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков. А помещение еще не проветрено, и на разбитом рояле бренчит тапер-любитель.

— Я не все поняла, ведь я так плохо понимаю по-американски. Но это звучит ужасно. А ты все равно не сердись. Лучше я буду сердиться.

— Ты знаешь, что такое прогоревший галантерейщик?

— Нет.

— Само по себе это еще не позор. У нас в Америке их видимо-невидимо. По крайней мере, по одному на каждый город. Но я-то, дочка, всего лишь старый солдат, самый последний человек на свете. Кандидат в Арлингтон, если тело будет возвращено семье. Выбор кладбища остается за семьей.

— Арлингтон красивое место?

— Не знаю,— сказал полковник.— Меня там пока не хоронили.

— А где бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?

— Высоко в горах,— сказал он, мгновенно приняв решение.— На любой высоте, где мы били противника.

— Тогда тебя надо похоронить на Граппе.

— В каком-нибудь уголке, на любом изрытом снарядами склоне, лишь бы летом надо мной пасли скот.

— А там пасут скот?

— Конечно. Скот пасут летом повсюду, где трава густая. А девушки из горных поселков, крепко сбитые девушки из крепко сбитых домов, которым не страшны снежные вьюги, загнав осенью скот, ставят капканы на лис.

— И тебе не нравится Арлингтон, или Пер-Лашез,

или то, что здесь у нас?

— Эта ваша гнусная свалка?

— Да, хуже, чем это кладбище, у нас в городе нет ничего. Но я постараюсь, чтобы ты лежал там, где тебе нравится, а если хочешь, сама лягу рядом.

— Нет. Это делают всегда в одиночку. Ведь не ходят же вдвоем в сортир!

— Не говори грубых слов, пожалуйста.

— Я хотел сказать, что мне было бы хорошо рядом с тобой. Но смерть — дело сугубо личное и довольно противное.— Он остановился, подумал и неожиданно сказал:— Нет. Выходи замуж, роди пятерых сыновей и всех назови Ричардами.

— Львиное Сердце,— без запинки сказала девушка, вступив в игру и положив карты на стол.

— Паршивое сердце,— сказал он.— Сердце несправедливого, желчного придиры, который хулит все на свете.

— Пожалуйста, не смей так себя называть,— сказала девушка.— Ты ведь хуже всего говоришь о себе самом. Обними меня покрепче, и давай ни о чем не думать.

Он обнял ее крепко, как только мог, и попытался ни о чем не думать.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Полковник и девушка лежали молча, и полковник старался ни о чем не думать, как это часто с ним бывало в разное время и в разных местах. Но сейчас у него ничего не выходило. Не выходило потому, что времени осталось так мало. Слава богу, они не Отелло и Дездемона, хотя дело происходит в том же городе и девушка куда красивее, чем та, у Шекспира, а полковник повоевал ничуть не меньше, а то и больше, чем болтливый мавр.

«Они отличные солдаты,— подумал он,— эти проклятые мавры. Но сколько же мы их истребили на моем веку! Кажется, больше целого поколения, если считать последнюю марокканскую кампанию против Абд-эль Керима. А ведь каждого из них приходилось убивать отдельно. Никто никогда не истреблял их скопом, как мы истребляли фрицев, пока они не получили свое Einheit»[1].

— Дочка,— спросил он,— ты в самом деле хочешь, чтобы я все тебе рассказал, лишь бы не рассказывал слишком грубо?

[1] Единство (*нем.*).

— Хочу больше всего на свете. Тогда мы сможем делиться хоть воспоминаниями.

— Стоит ли ими делиться,— сказал полковник.— Бери себе все, дочка. Но это будут только самые яркие эпизоды. Тебе не понять всех военных тонкостей кампании, да и мало кто их понимал. Может быть, Роммель. Правда, во Франции он не вылезал из котлов, да к тому же мы уничтожили его коммуникации. Это сделали военно-воздушные силы — наши и английские. Но с ним я бы не прочь кое-что обсудить. С ним и с Эрнстом Удетом.

— Рассказывай все, что хочешь, и выпей бокал вальполичеллы; но если тебе будет тяжело, замолчи. Или вообще ничего не рассказывай.

— Вначале я был полковником резерва. Их держат, чтобы затыкать дыры: командиры дивизий заменяют ими тех, кого убили или разжаловали,— добросовестно принялся объяснять полковник.— Убивают редко, а разжалуют многих. Хорошие получают повышение. И довольно быстро, когда все кругом горит.

— Говори. А тебе не пора принять лекарство?

— А будь оно проклято, это лекарство! И Верховное командование союзными экспедиционными силами.

— Это ты мне уже объяснил,— сказала девушка.

— Жаль, черт возьми, что ты не солдат: ты так здорово соображаешь, и память у тебя прекрасная.

— Я бы хотела быть солдатом, если бы ты был моим командиром.

— Только не вздумай воевать под моим началом,— сказал он.— Я свое дело знаю. Но мне не везет. Наполеон подбирал командиров, которым везло, и он был прав.

— Но нам ведь с тобой везло.

— Да,— сказал полковник.— Как когда.

— Все равно это было везенье.

— Ну да,— сказал полковник.— Но на войне теперь одного везенья мало. Хотя и без него не обойтись. Те, кто выезжал на одном везенье, пали на поле брани, как наполеоновская кавалерия.

— Отчего ты так ненавидишь кавалерию? Почти все мои знакомые молодые люди из хороших семей служили в трех хороших кавалерийских полках или на флоте.

— Никого я не ненавижу, дочка,— сказал полковник и отпил глоток легкого сухого красного вина, душевного, как дом брата, если вы с братом живете душа в душу.— Просто у меня своя точка зрения, я долго размышлял и понял, на что она годится, эта кавалерия.

— И она действительно так уж плоха?

— Никуда не годится,— сказал полковник. Потом, вспомнив о своем намерении быть добрым, добавил:— В наше время.

— Каждый день теряешь какую-нибудь иллюзию.

— Нет. Каждый день — это новая, прекрасная иллюзия. Но все, что в ней есть фальшивого, надо отрезать, как бритвой.

— Пожалуйста, только не отрезай меня.

— Тебя не возьмет никакая бритва.

— Поцелуй меня и обними покрепче, и давай смотреть на Большой канал,— он сейчас так красиво освещен, и рассказывай дальше.

Они посмотрели на Большой канал, который и в самом деле был красиво освещен, и полковник продолжал:

— Я получил полк потому, что командующий сместил одного паренька, которого я знал еще тогда, когда ему было восемнадцать. Понятно, пареньком он уже не был. Полк оказался ему не по плечу, но для меня полк был пределом мечтаний, пока я его не потерял.— Он добавил:— Разумеется, по приказу начальства.

— А как люди теряют полк?

— Ты бьешься, чтобы занять выгодные позиции, и вот тебе остается только послать парламентера, чтобы противник обдумал свое положение, и, если ты прав, сдался. Профессиональные военные — люди разумные, а эти фрицы были профессионалы, а не фанатики. Но тут трещит телефон, говорит кто-нибудь из штаба корпуса и передает приказ из штаба армии или, может, армейской группы, а то и приказ самого Верховного командования: дело в том, что там вычитали в какой-то газетной заметке, присланной, скажем, из Спа, название этого города и отдали приказ взять город штурмом. Город, видите ли, очень важный — не зря ведь попал в газету. И ты должен штурмовать. Вот и кладешь целый батальон на мосту. Один батальон теряешь целиком, да и от трех других мало что остается. Танки выходят из строя, едва они успели двинуться с места, а двигаются они быстро и вперед и назад. Подбит первый танк, за ним второй, третий, четвертый, пятый.

Из пяти человек, сидящих в танке, обычно вылезают трое; они пускаются наутек, как участники кросса, отстаивающие честь Миннесоты в соревновании с городом Белуа, штат Висконсин. Я тебе еще не надоел?

— Нет. Я не поняла, что ты сказал про эти американ-

ские города. Но ты сможешь мне потом объяснить, когда захочешь. Пожалуйста, продолжай.

— Ты врываешься в город, и тут какой-то штабной ферт бросает на тебя авиацию. Может быть, налет был назначен заранее, и его просто забыли отменить. Не будем никого судить слишком строго. Я рассказываю в общих чертах. Уточнять ни к чему, да штатский все равно и не поймет. Даже ты. От этого воздушного налета не бог весть какая польза, дочка. В городе, пожалуй, тебе все равно не удержаться — слишком мало у тебя осталось людей, а теперь надо кого-то выкапывать из-под развалин. Или, наоборот, там и бросить — на этот счет существуют две разные теории. А тебе приказывают штурмовать. Приказывают снова.

Приказ категорически подтвердил некий политик в мундире, который за всю свою жизнь ни разу не был ранен и никого никогда не убил, разве что по телефону или на бумаге. Если хочешь, вообрази его нашим будущим президентом. Или кем угодно. Но все-таки вообрази и его, и весь его штат, вообрази себе эту огромную контору, расположенную так далеко в тылу, что с нею было бы проще всего сноситься голубиной почтой. Только вот при тех мерах предосторожности, которые они соблюдали для защиты своей персоны, зенитки наверняка сбили бы голубей. Если бы смогли в них попасть.

Вот ты и пошел опять на штурм. Теперь я расскажу тебе, на что это похоже. Полковник вглядывался в игру света на потолке. Там отражалась поверхность канала. Что-то причудливо дрожало и переливалось, как ручей, где ловят форель, двигалось вместе с солнцем, и все лилось куда-то, но никуда не уходило.

Потом он посмотрел на девушку, на ее прекрасное смуглое лицо взрослого ребенка; всякий раз, когда он глядел на это лицо, у него сжималось сердце; ему надо с ней расстаться в тринадцать тридцать пять, и тут уж ничего не поделаешь. Он сказал:

— Давай не будем больше говорить о войне, дочка.

— Нет,— сказала она.— Поговорим еще. Тогда мне хватит этого на всю неделю.

— Неделя — короткий срок. Если речь идет о тюремном заключении.

— Ты не знаешь, какая неделя длинная, когда тебе девятнадцать.

— Мне не раз приходилось чувствовать, каким бывает час,— сказал полковник.— Я бы мог тебе расска-

зать, как бесконечно тянутся две с половиной минуты.

— Пожалуйста, расскажи.

— Я проводил двухдневный отпуск в Париже после боев у Шнее-Эйфель и по знакомству удостоился чести попасть на совещание, куда были допущены только избранные и где генерал Уолтер Беделл Смит объяснял нам, какой легкой будет операция, получившая позднее название «операции Хертгенского леса». Название, собственно, неточное. Хертгенский лес был только небольшим участком фронта. Вся местность называлась Штадтсвальд; там немецкое верховное командование и решило дать нам сражение, после того как мы взяли Аахен и проложили дорогу в Германию. Я тебе еще не надоел?

— Ты не можешь мне надоесть. И о войне ничего не может мне надоесть, кроме лжи.

— Странная ты девушка.

— Да,— сказала она.— Это я и сама давно знаю.

— Ты действительно хотела бы пойти на войну?

— Не знаю, смогла бы я или нет. Но я бы попробовала, если бы ты меня научил.

— Ни за что не буду тебя учить. Я только рассказываю тебе забавные истории.

— Предания о смерти королей.

— Нет. У нас их называли Джи-Ай. Господи, как я ненавижу эту кличку и как ее затрепали! Особенно любители комиксов. Те, кого так звали, пришли из самых разных мест. Большинство поневоле. Не все. Но все читали газету «Старс энд страйпс», и непременно нужно было, чтобы там упомянули часть, которой ты командуешь, иначе тебя считали неудачником. Обычно я и был неудачником. Я пытался дружить с корреспондентами, а на том совещании, о котором я говорю, было несколько очень хороших. Не стану называть их фамилий, не то еще пропущу кого-нибудь, а это было бы несправедливо. Всех хороших корреспондентов я не запомнил. Но были среди них и такие, которые увиливали от военной службы; были жулики, которые вопили, что ранены, когда их задевал рикошетом осколок железа, и носили нашивки за ранение, если попадали в автомобильную аварию; были пролазы, трусы, вруны, мародеры и карьеристы. На совещании не присутствовали только убитые. Среди корреспондентов тоже были убитые. Немалый процент. Но убитые, как я уже сказал, не пришли. Зато там были женщины в потрясающих мундирах.

— Как же ты все-таки женился на одной из них?

— Я ведь объяснил — по ошибке.

— Рассказывай дальше.

— В комнате висело больше карт, чем сам господь бог мог бы изучить за рабочий день, даже если бы он был в ударе,— продолжал полковник.— Большие карты, средние карты и гигантские карты. Все эти люди прикидывались, будто запросто в них разбираются, как, впрочем, и штабисты с указками в руках,— указка — это нечто вроде бильярдного кия с куцым задом.

— Не говори грубых слов. Я не знаю, что такое куцый зад.

— Обрубленный или укороченный на скорую руку,— объяснил полковник.— Никчемный инструмент или никчемная личность. Это старинное выражение. Его, наверно, можно найти даже в санскрите.

— Ладно, рассказывай.

— А зачем? Разве позор заклеймишь словами?

— Если хочешь, я все запишу. Я умею точно записывать все, что слышу и о чем думаю. Конечно, иногда я делаю ошибки.

— Ну, ты просто счастливица, если умеешь точно записывать все, что слышишь или о чем думаешь. Но не смей ничего записывать из того, что я рассказываю.

Он продолжал:

— Комната была набита корреспондентами, одетыми как бог на душу положит. Одни скалят зубы, другие полны рвения. Чтобы пасти это стадо, тут же толпится, размахивая указками, кучка пистолетных фертиков. Так мы зовем тыловых крыс, выряженных в мундиры, как на маскараде; пистолетный фертик возбуждается всякий раз, когда кобура бьет его по ляжкам. Между прочим, дочка, наш пистолет, в отличие от доброго старого револьвера, дает промах в бою чаще всякого другого оружия. Не бери в подарок пистолета, разве что захочешь стукнуть им кого-нибудь по голове у «Гарри».

— Мне никогда никого не хотелось стукнуть, кроме, пожалуй, Андреа.

— Если вздумаешь когда-нибудь стукнуть Андреа, бей его дулом, а не рукояткой. Рукояткой бить неудобно и легко промазать, а если попадешь, у тебя все руки в крови, когда прячешь пистолет. А вообще бить Андреа не надо — он мой друг. И не думаю, что ударить его будет так просто.

— Да я тоже не думаю. Пожалуйста, рассказывай дальше об этом совещании. Мне кажется, я бы теперь

могла узнать пистолетного фертика сразу. Но, конечно, лучше сначала потренироваться.

— Так вот, пистолетные фертики, гордые собой и своими пистолетами, ожидали появления великого полководца, который должен был объяснить предстоящую операцию. Корресподенты ворчали, хихикали, а те, кто был поумнее, либо сидели насупившись, либо на все плевали. У каждого был складной стульчик, как летом в университете в Чаутокве. Прости, что я употребляю американские словечки, но без этого у нас, американцев, не обойдешься.

И вот вошел генерал. Это тебе не пистолетный фертик, он крупный делец, знает толк в политике, привык ворочать большими делами. А сейчас армия — самое большое предприятие в мире. Он берет в руки указку с куцым задом и уверенно, не чуя беды, объясняет, как пойдет наступление, зачем мы его затеяли и как все это легко. Проще простого.

— Дальше,— сказала девушка.— Дай я долью тебе вина, и, пожалуйста, посмотри, как играет свет на потолке.

— Долей, а я посмотрю на свет и буду рассказывать дальше.

— Затем этот ловкий деляга — я говорю без всякой насмешки, отдавая должное его талантам,— сообщил, что у нас будет все необходимое. Всего будет вдоволь. Организация, которую именовали Верховным командованием союзными экспедиционными силами, размещалась тогда в городе Версале, возле Парижа. Нам предстояло наступать к востоку от Аахена, примерно в трехстах восьмидесяти километрах от этой резиденции. Как бы армия ни была велика, штабу все же нужно подтянуться поближе к фронту. В конце концов они перебрались в Реймс, который находился всего в двухстах сорока километрах от передовой. Но только много месяцев спустя. Я понимаю, что директору крупной фирмы лучше не общаться со своими рабочими. Я понимаю, что армия большая и это создает свои трудности. Я даже кое-что понимаю в организации передвижения войск, что вовсе не так сложно. Но во всей мировой истории ни один командующий не сидел так далеко в тылу.

— Расскажи, как вы взяли город.

— Хорошо. Но я бы не хотел тебя огорчать.

— Ты меня никогда не огорчаешь. У нас старинный город, и наши люди всегда воевали. Мы уважаем воен-

ных больше других людей и, по-моему, немножко их понимаем. Мы знаем, что характер у них нелегкий. Женщинам они надоедают быстро.

— А я тебе надоел?

— А как ты думаешь?— спросила девушка.

— Я даже себе надоел, дочка.

— Вряд ли, Ричард; вряд ли ты занимался бы чем-нибудь всю жизнь, если бы тебе это надоело. Пожалуйста, милый, не лги, у нас осталось так мало времени.

— Хорошо, не буду.

— Видишь, ты должен мне все рассказать, чтобы избавиться от горечи.

— Я тебе все расскажу.

— Понимаешь, я хочу, чтобы ты умер с легким сердцем. Ах, я совсем не то говорю! Не давай мне говорить чепуху!

— Не дам, дочка.

— Пожалуйста, рассказывай дальше и говори все, что у тебя на душе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Слушай, дочка,— сказал полковник.— Хватит говорить о великих мира сего, о больших шишках, которых у нас в одном Канзасе больше, чем на всех ваших кипарисах. В пищу они не годятся — это чисто канзасский продукт. Но мы на фронтах их получали большими порциями. Каждый божий день. Они входили в паек. А пайки у нас были разные, одни получше, другие похуже. Так мы и воевали. Скучная это материя, хоть и поучительная. Вот как бывает на войне — не знаю только, кому это интересно.

Вот как это бывает. В тринадцать ноль-ноль Красные передают, что двинутся вслед за Белыми. В тринадцать ноль пять (запомни, если можешь, дочка, это пять минут второго) Синие запрашивают (надеюсь, ты знаешь, кто такие Синие!): «Сообщите, когда выступаете». Красные сообщают, что двинутся вслед за Белыми.

Видишь, как просто. Каждый может поупражняться в этом перед завтраком.

— Но не могут же все служить в пехоте,— вполголоса сказала девушка.— Пехотинцев я уважаю больше всего на свете, кроме разве что хороших, честных летчиков. Пожалуйста, рассказывай; а я тебя обниму.

— Хорошие летчики — молодцы, их и надо уважать,— сказал полковник.

Он поднял глаза, посмотрел, как мерцает свет на потолке, и с отчаянием вспомнил о потерянных батальонах и загубленных людях. Никогда больше не будет у него такого полка, никогда! Правда, не он его сколачивал. Он получил его в наследство. Но какое-то время полк доставлял ему огромную радость. Теперь половина его убита, а остальные покалечены. Кто был ранен в живот, кто в голову, в руки или в ноги, в шею, в спину, кому повезло — в ягодицы, кому нет — в грудь. В лесу людей ранило в такие места, куда ни за что не попало бы в открытом поле. И раненые становились инвалидами на всю жизнь.

— Это был хороший полк,— сказал он.— Можно даже сказать, прекрасный полк, пока я не уничтожил его по приказу начальства.

— Но зачем слушаться чужих приказов, если ты знаешь, что они неправильные?

— В нашей армии ты должен слушаться, как собака, — пояснил полковник.— Одна надежда, что тебе попадется хороший хозяин.

— А какие тебе попадались на самом деле?

— Хорошие мне попадались только два раза. После того как я сам стал командовать, мне часто попадались славные люди, но хорошие хозяева — только два раза.

— И поэтому ты сейчас не генерал? Мне бы так хотелось, чтобы ты был генералом.

— Мне тоже,— сказал полковник.— Хотя, может быть, и не так, как тебе.

— А ты не попробуешь заснуть? Засни, я тебя прошу.

— Хорошо,— сказал полковник.

— Я подумала, что, если ты знаешь, ты хотя бы во сне избавишься от дурных воспоминаний.

— Хорошо,— сказал он.— Большое тебе спасибо.

Что поделаешь, господа! Повиноваться — удел мужчины.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Ты хорошо поспал,— нежно и ласково сказала ему девушка.— Тебе ничего не нужно?

— Ничего,— сказал полковник.— Спасибо.

Тут он вдруг ощетинился и добавил:

— Дочка, я бы мог заснуть, сидя на электрическом стуле с разрезанными штанинами и остриженной головой. Я сплю, когда нужно и сколько нужно.

— Я так не могу,— ответила сонным голосом де-

вушка.— Я сплю, только когда меня клонит ко сну.

— Ты мое чудо,— сказал полковник.— Ты и спишь лучше всех.

— Вот уж нечем хвастать,— сквозь сон сказала девушка.— Мне просто хорошо спится.

— Вот и поспи, пожалуйста.

— Нет. Рассказывай мне тихо-тихо и положи свою больную руку в мою.

— А ну ее к черту, мою руку!— сказал полковник.— И с каких это пор она такая больная?

— Она больная,— сказала девушка.— Больнее, чем ты даже можешь себе представить. Ну, рассказывай, пожалуйста, о войне, но не будь таким кровожадным.

— Что ж, это не трудно,— сказал полковник.— Не будем уточнять время. Погода облачная, а место действия — отметка 986 342. Обстановка? Выкуриваем противника огнем артиллерии и минометов. Начальник оперотдела передает приказ начальника штаба — привести Красных в боевую готовность к семнадцати ноль-ноль. Начальник штаба приказывает тебе привести себя в боевую готовность и пустить в ход побольше артиллерии. Белые сообщают, что дела идут недурно. Начальник штаба передает, что рота «А» перебрасывается на усиление роты «Б». Рота «Б» остановлена огнем противника и, не выполнив задания, застряла. Начальник штаба недоволен оборотом дела. Но это совершенно секретно. Он приказывает усилить артподготовку, а в резерве артиллерии не осталось...

И на что тебе сдалась эта война, дочка? Не понимаю. А может, и понимаю. Кому нужна правда о войне? Ну да ладно, вот тебе настоящая война, война по телефону, а потом, если хочешь, я опишу звуки, запахи и распишу, кто, когда и где был убит.

— Я хочу, чтобы ты рассказывал только то, что сам хочешь.

— Я расскажу тебе все, как было,— сказал он.— А генерал Уолтер Беделл Смит и по сей день этого не знает. Но, может, я ошибаюсь, как ошибался не раз.

— Хорошо, что нам не нужно встречаться ни с ним, ни с тем салонным шаркуном,— сказала девушка.

— На этом свете нам они не встретятся,— сказал полковник.— А к воротам ада я приставлю караул, чтобы туда таких типов не впускали.

— Ты говоришь, как Данте,— сказала она спросонок.

— Я и есть мистер Данте,— сказал он.— В данный момент.— Так оно теперь и было, и он описал все круги ада. Он был так же пристрастен, как когда-то Данте, но он их все-таки описал.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— Я опущу подробности, тебе ведь хочется спать, и в этом нет ничего удивительного,— сказал полковник.

Он снова стал наблюдать за причудливой игрой света на потолке. Потом посмотрел на девушку,— она была красивее всех девушек на свете.

Он видел, как красота приходит и уходит, а уж когда уходит, то летит быстрее, чем на крыльях. Красавицы так быстро превращаются в старую рухлядь! Но эта, пожалуй, долго не сойдет с круга. «Темноволосые женщины сохраняются лучше,— подумал он и потом посмотрел, какое у нее тонкое лицо.— У нее хорошая порода, она может держаться вечно. В Америке большинство знаменитых красавиц вышли из-за прилавка, торговали газированной водой и не помнят фамилии деда, разве что он был из немцев и звался Шульц. Или Шлиц».

«Ну, это уже нехорошо,— сказал он себе,— не смей говорить такие вещи этой девушке, они ей не понравятся, а она крепко спит, свернувшись калачиком, как кошка».

— Спи спокойно, дорогая любовь моя, а я, так и быть, расскажу тебе, как было дальше.

Девушка спала, она все еще держала его искалеченную руку, которая ему так опротивела, а он чувствовал ее дыхание,— так дышат только в молодости, когда заснуть легко.

Полковник рассказывал ей, не произнося ни слова.

«Итак, после того, как я имел честь услышать от генерала Уолтера Беделла Смита, как легко будет наступать, мы перешли в наступление. Тут была и знаменитая Красная дивизия, она свято верила во всю ту шумиху, которую сама вокруг себя подняла. И Девятая — та была лучше, чем наша. Наконец, были мы — когда нам говорили «вперед», мы поднимались и шли.

На чтение комиксов времени у нас не хватало, да, впрочем, и ни на что другое: еще не рассвело, а мы уже на марше. Это не так-то легко, тут уж не до Великого Плана, думаешь о своей дивизии, и только.

Мы носили четырехлистник клевера — это ничего не означало, но нам нравилось. И стоит мне теперь увидеть

такую нашивку, как внутри у меня все переворачивается. Люди принимали это за плющ. Но ничего подобного, это был клевер с четырьмя листиками, делавший вид, будто он плющ.

Согласно приказу, мы должны были наступать вместе со знаменитой Красной дивизией — Первой пехотной дивизией американской армии, а эта дивизия и ее офицер по связи с печатью, вечно напевавший модную песенку, не давали нам забыть, с кем мы имеем дело. Сам он был славный малый, да такая уж у него была должность.

Втирать очки — дерьмовое дело, и оно легко может осточертеть, если только вы не любите запаха или вкуса дерьма. Я никогда не любил ни того, ни другого. Правда, когда я был мальчишкой, я любил ходить босиком по коровьему навозу. Но теперь я не люблю дерьма и слышу его вонь за добрую тысячу ярдов.

Итак, мы двинулись в наступление, растянувшись всеми тремя дивизиями в одну линию, как раз там, где этого хотели немцы. Не будем поминать лихом генерала Уолтера Беделла Смита. Он не злодей. Он только наобещал с три короба и расписал, как пойдет дело. В нашем демократическом обществе злодеев как будто быть не должно. Генерал Уолтер Беделл Смит всего-навсего дьявольски просчитался. Точка,— добавил он.

Вплоть до второго эшелона у всех поснимали нашивки — фрицы не должны были знать, что наступаем именно мы, хорошо знакомые им три дивизии. А мы наступали, растянувшись в линию, без всяких резервов. Не берусь тебе объяснять, дочка, что это значит. Во всяком случае, ничего хорошего. Месту, где мы должны были дать бой,— а я к нему как следует присмотрелся,— суждено было стать новым Пашендейлем. Только это был лес, и снаряды обладали двойной убойной силой. Может, я перехватил. Но так уж я думаю.

Злосчастная двадцать восьмая дивизия, наш сосед справа, торчала здесь уже довольно давно, так что мы знали точно, каково воевать в этих лесах. Думаю, что обстановку, мягко говоря, можно было назвать неблагоприятной.

Нам приказали ввести в бой один полк еще до начала наступления. Значит, противник мог захватить, по крайней мере, одного пленного, и снимать дивизионные нашивки теперь уже было глупо. Все равно они нас будут ждать. Будут ждать наших ребят с листиками кле-

вера, и те, как ослы, отправятся прямо в ад, где пробудут ровно сто пять дней. Не будем приводить цифры — штатским они все равно ничего не скажут. Да и типам из штаба Верховного командования тоже — никого из них мы, правда, в тех лесах и не видели. По чистой случайности,— а наверху такие происшествия всегда зовут случайностью,— весь полк был уничтожен. Никто ни сном ни духом не был в этом виноват, и меньше всего тот, кто этим полком командовал. Это был человек, с которым я бы охотно делил свои досуги в аду, и, кто его знает, может, мне это еще удастся.

Вот будет смешно, если вместо того, чтобы отправиться в ад, как мы рассчитываем, мы попадаем в одно из этих заведений для фрицев, вроде «Валгаллы», и не сумеем там ужиться с местными жителями. Но, даст бог, меня посадят за один столик с Роммелем и Удетом — тогда это будет точь-в-точь как в горном пансионе для лыжников. Нет, скорее всего мы все-таки попадем в ад, но я вот даже в ад не верю.

Так или иначе, полк получил свежее пополнение, как и всякий американский полк. Не буду объяснять, как это происходит,—ты всегда сможешь прочесть книгу, написанную кем-нибудь из пополнения. В конечном счете дело сводится к тому, что ты остаешься на передовой, пока тебя не убьют, не ранят или пока ты не спятишь и не получишь увольнение вчистую. В общем, система не хуже всякой другой, и ей нельзя отказать в логике, учитывая трудности войсковых перевозок. Но при этом остается несколько недобитых субъектов, которые ведут счет потерям и не больно-то хотят оставаться в этом лесу. Их настроение можно точно передать словами: «А подите вы все к разэтакой матери».

И поскольку я сам вот уже двадцать восемь лет недобитый субъект, я их отлично понимал. Но они были солдатами, деваться им было некуда, и большинство из них полегли в этих лесах, когда мы брали три городка, которые выглядели так безобидно, а на деле оказались настоящими крепостями. Они были просто ловушкой, а мы об этом и не подозревали. Выражаясь на языке моего ремесла, не исключено, что тут не сработала разведка».

— Мне ужасно жалко тот полк,— произнесла девушка.— Она сказала это со сна.

— Да,— ответил полковник.— Мне тоже. Давай-ка выпьем за него. А потом поспи, пожалуйста, еще, дочка. Война кончилась и уже позабыта.

«Только, пожалуйста, не думай, что я такого высокого о себе мнения, дочка,— сказал он, но не произнес этого вслух. Его последняя любовь заснула опять. Спала она совсем не так, как журналистка. Он не любил вспоминать, как та спит, но помнил. И хотел позабыть.— Та спала не очень-то красиво,— думал он.— Не то что эта девушка, которая будто и не спит, а только веки опустила, хотя и спит. Спи спокойно,— подумал он.— А кто ты, черт возьми, такой, чтобы ругать ремесло журналисток? Ведь и сам ты выбрал неважное ремесло, да и в нем не очень-то преуспел.

Я хотел дослужиться до генеральской должности в американской армии и своего достиг. Но карьеры так и не сделал и теперь ругаю всех, кто добился успеха».

Его покаянное настроение длилось недолго, и он про себя добавил: «Помолчим о подхалимах, взяточниках и пролазах, которые хоть и командовали, но никогда не дрались. Правда, под Геттисбергом было убито несколько воспитанников военной академии. Но то было знаменитое побоище, и обе стороны дрались не за страх, а за совесть.

Не злись. В тот день, когда налетел экспресс «Валгалла», по ошибке убили генерала Макнейра. Так что же ты злишься? Значит, убивают и выпускников военной академии, ведь статистика это подтверждает.

А как же я могу вспоминать, если не буду злиться?

Ладно, злись, если иначе не можешь. И расскажи обо всем этом девушке, но только молча, чтобы ее не огорчать,— посмотри, как хорошо она спит».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«Спи спокойно, любовь моя, а когда проснешься, все уже будет досказано, я шуткой отвлеку тебя от расспросов о моем triste métier [1], и мы отправимся покупать маленького негра или мавра из черного дерева с точеным лицом и тюрбаном, усыпанным алмазами. Ты его приколешь к платью, мы пойдем выпить к «Гарри» и повидаемся с друзьями, которые окажутся там в этот час.

Мы пообедаем у «Гарри» или вернемся обедать сюда; в это время мои вещи будут уже уложены. Мы с тобой попрощаемся, и я спущусь с Джексоном в motoscafo [2], перебросусь веселой шуткой с Gran Maestro, помашу рукой всем прочим кавалерам Ордена, и, судя

[1] Скверное ремесло *(франц.)*.
[2] Моторная лодка *(итал.)*.

по тому, как я себя чувствую, ставлю один против десяти или два против тридцати, что больше мы с тобой никогда не увидимся».

«К дьяволу!— сказал он, ни к кому не обращаясь, и, уж во всяком случае, не произнося этого вслух,— сколько раз я чувствовал себя так перед боем, и почти каждую осень, и всегда, когда покидал Париж. Самочувствие, верно, ничего еще не доказывает. Да и кому до этого дело, кроме меня самого, Gran Maestro и этой девушки? Уже во всяком случае, не начальству!

Мне и самому на это в высшей степени наплевать. Хотя пора бы мне научиться или привыкнуть не плевать на то, что и плевка не стоит. Это так же ясно, как то, что шлюха — всего только шлюха, то есть женщина, которая... и т. д.».

— Но давай не будем об этом думать, мой лейтенант, капитан, майор, полковник или господин генерал. Брось, и будь ты проклята, уродливая старуха, которую когда-то так здорово написал Иероним Босх. Вложи свою косу в ножны, старушка, если у тебя есть для нее ножны. Или,— подумал он, вспомнив о Хертгенском лесе,— возьми косу и подавись!»

«Да, это был Пашендейл, настоящий Пашендейл с взлетавшими в воздух стволами деревьев»,— рассказывал он одним только отсветам на потолке. Он посмотрел, крепко ли спит девушка, боясь огорчить ее даже своими мыслями. Потом он взглянул на портрет и подумал: «Вот она передо мной сразу в двух положениях: одна лежит, чуть-чуть повернувшись на бок, а другая глядит мне прямо в лицо. Ну и повезло же тебе, старый хрыч, чего же ты ноешь!»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

«В первый же день мы потеряли там трех батальонных командиров. Одного убили через двадцать минут, двух других — чуть позже. Для какого-нибудь журналиста это холодные цифры потерь. Но хорошие командиры батальонов не растут на елке, даже на рождественских елках, которых не счесть в тех лесах. Не знаю, сколько раз мы теряли командиров рот. Но я мог бы установить и это.

Их тоже не пекут и не выращивают, как картошку. Мы получали кое-какое пополнение, но, помнится, я думал: проще и целесообразнее пристреливать их сразу, на месте, где они высаживаются, приезжая из тыла,

чем потом тащить оттуда, где их все равно убьют, и хоронить по всем правилам. Чтобы везти их трупы, нужны люди и горючее; чтобы рыть могилы, опять же нужны люди. А эти люди тоже должны воевать и подставлять грудь под пули.

Все время сыпал снег или какая-то крупа, похожая на снег, был дождь, туман; дороги были заминированы, кое-где лежало чуть не по четырнадцать мин в ряд, машины вязли в грязи, буксовали, мы постоянно теряли машины и, конечно, людей, которые в них ехали.

Противник вел адский минометный огонь и простреливал все просеки из пулеметов и автоматов; он продумал все до тонкостей, и, как ни хитри, ты все равно попадал в ловушку. К тому же он пустил в ход тяжелую артиллерию. Человеку очень трудно было там выжить, даже если он сидел смирно. А мы еще ходили в атаку — все время, изо дня в день. Не будем больше об этом думать. Ну его к черту. Вот вспомню еще только два случая, чтобы от них отвязаться. Один произошел на голом пригорке, по дороге в Гроссгау.

Как раз перед тем, как выбраться на открытое место,— а оно просматривалось противником и простреливалось полевыми пушками,— вы попадали в мертвое пространство, где вас могли достать только гаубичным заградительным огнем или из минометов справа. Когда мы выбили противника, оказалось, что его минометчики хорошо просматривали и этот участок.

И все-таки это было довольно безопасное место; ей-богу, не вру, да тут и не соврешь. Попробуй-ка, обмани тех, кто побывал в Хертгенском лесу; соври — и тебя уличат, не успеешь и рта открыть, будь ты хоть трижды полковник. Вот тут мы и встретили грузовик. Лицо у водителя было такое же серое, как у всех, и он сказал:

— Господин полковник, там впереди, посреди дороги, лежит убитый солдатик; всякий раз, когда идет машина, приходится по нему ехать, и это, наверно, производит на людей скверное впечатление.

— Мы его уберем.

И мы его убрали с дороги. Не могу забыть, какой он был на ощупь, когда мы его поднимали, как его сплющило и как странно видеть сплющенного человека.

И еще. Мы сбросили целую кучу белого фосфора на город, прежде чем его, так сказать, захватили. Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него приня-

лась еще и кошка. Голодная кошка, хотя в общем и симпатичная с виду. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом? Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре?

Сколько можно рассказать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу — войне все равно не помешаешь. Люди возразят: мы же теперь не воюем с фрицами, да и кошка ела не меня и не моего брата Гордона, тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы. А может, он просто растворился в океане.

В Хертгене убитые превращались в сосульки, а холод стоял такой, что даже мертвые были румяными от мороза. Очень это было странно. Летом все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные.

Настоящий солдат не станет рассказывать, как выглядят свои мертвецы,— сказал он, обращаясь к портрету.— Впрочем, с этой темой я покончил. А вот как насчет роты, которая полегла на мосту? Что ты скажешь о ней, старый вояка?

Они мертвы,— сказал он.— Лопни мои глаза.

Так с кем же мне чокнуться бокалом вальполичеллы? Скажи, портрет, когда мне разбудить твой оригинал? Нам еще надо зайти к ювелиру. И я буду шутить и занимать тебя веселым разговором. А что на свете веселого, а, портрет? Тебе ведь и карты в руки. Ты умнее меня, хотя я и больше твоего пошатался по свету.

Ладно, нарисованная девушка,— сказал полковник, не произнося вслух ни слова,— на этом мы кончим рассказ, а ровно через одиннадцать минут я разбужу живую девушку, мы выйдем с ней в город, будем веселиться, а тебя оставим здесь, и тебя здесь запакуют.

Я не хотел тебя обидеть. Это просто неуклюжая шутка. Я вообще не хочу тебя обижать, ведь отныне мы будем жить с тобой вместе. Надеюсь, что будем жить»,— добавил он и выпил бокал вина.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

День был ветреный, холодный и ясный; они стояли у витрины ювелира и рассматривали фигурки негритят из черного дерева, украшенные драгоценными камнями. «Какой из них лучше?»— думал полковник.

— Какой тебе больше нравится, дочка?

— Пожалуй, тот, что справа. У него лицо симпатичнее, верно?

— Они оба симпатичные. Но живи мы с тобой в прежние времена, я бы все же предпочел, чтобы тебе прислуживал тот.

— Хорошо. Тогда купим его. Давай войдем в магазин и посмотрим на них поближе. А я спрошу, сколько они стоят.

— Я один схожу.

— Нет, цену лучше спрошу я. С меня возьмут меньше. Ты же все-таки богатый американец.

— Et toi [1], Рембо?

— Верлен из тебя вышел бы смешной,— сказала девушка.— Давай будем какими-нибудь другими знаменитостями, ладно?

— Входите, ваше величество, и поскорее купим эту проклятую побрякушку.

— Настоящий Людовик Шестнадцатый из тебя тоже не получится.

— Но зато я поеду вместе с тобой на казнь и плюну с эшафота.

— Давай забудем о казнях и обо всех горестях, купим игрушку, о потом пойдем к Чиприани и будем играть в каких-нибудь знаменитостей.

Они вошли в магазин и попросили показать им негритят. Девушка узнала, сколько они стоят, завязался оживленный разговор, после чего цену порядком снизили. Все же денег потребовалось больше, чем было у полковника.

— Я схожу к Чиприани и возьму у него взаймы.

— Не надо,— сказала девушка. Она попросила продавца:— Положите это в футляр и отправьте к Чиприани. Скажите, что полковник просит заплатить и спрятать до его прихода.

— Пожалуйста,— сказал продавец.— Все будет сделано.

Они снова вышли на улицу, на солнце, под беспощадные удары ветра.

— Имей в виду, твои камни я оставил в сейфе «Гритти» на твое имя,— сказал полковник.

— Не мои, а твои.

— Нет,— сказал он ей мягко, но так, чтобы она хо-

---

[1] А ты *(франц.)*.

рошенько поняла.— Есть вещи, которых делать нельзя. Ты это знаешь. Ты вот не выходишь за меня замуж, и я это понимаю, хотя и не могу с этим согласиться.

— Ну что ж,— сказала девушка.— Понятно. Но возьми хоть один камень на счастье.

— Нет. Не могу. Он слишком дорого стоит.

— И портрет стоит денег!

— Это другое дело.

— Да,— признала она.— Верно. Кажется, я начинаю понимать.

— Я бы взял у тебя в подарок лошадь, если бы я был беден, молод и хорошо ездил верхом. Но не мог бы принять автомобиль.

— Да, теперь я наконец поняла. Куда бы нам пойти, сейчас, сию минуту, чтобы ты мог меня поцеловать?

— В этот переулок, если ты тут никого не знаешь.

— А мне все равно, кто здесь живет. Я хочу, чтобы ты меня покрепче обнял и поцеловал.

Они свернули в переулок и дошли до тупика, которым он кончался.

— Ох, Ричард,— сказала она.— Дорогой...

— Я тебя люблю.

— Пожалуйста, люби меня.

— Я тебя люблю.

Ветер поднимал ее волосы и закидывал ему за шею, и он поцеловал ее снова, чувствуя, как ветер треплет по его щекам шелковистые пряди.

Потом она вдруг резко вырвалась, посмотрела на него и сказала:

— Пойдем-ка лучше в «Гарри».

— Пошли. Давай играть в великих людей?

— Да,— сказала она.— Давай играть, будто ты — это ты, а я — это я.

— Давай,— сказал полковник.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

У «Гарри» никого не было, кроме редких утренних посетителей, которых полковник не знал, и двоих людей, занимавшихся своим делом за стойкой.

В баре бывали часы, когда он наполнялся знакомыми с такой же неумолимой быстротой, с какой растет прилив у Мон-Сен-Мишеля. «Вся разница в том,— думал полковник,— что часы прилива меняются каждый день, а часы наплыва у «Гарри» неизменны, как Грин-

вичский меридиан, метр-эталон в Париже или самомнение французского командования».

— Ты знаешь кого-нибудь из этих любителей выпить с утра?— спросил он девушку.

— Нет. Сама с утра не пью и никогда их не встречала.

— Их отсюда смоет, когда начнется наплыв.

— Нет. Как только народу прибавится, они уйдут сами.

— Тебе не обидно, что мы пришли сюда не вовремя?

— Ты думаешь, что я сноб, если наш род такой старый? Как раз мы-то снобами и не бываем. Снобы — это те, кого ты зовешь хлюстами, и богатые выскочки. Ты когда-нибудь видел столько новых богачей?

— Да,— сказал он.— В Канзас-Сити, в загородном клубе. Я туда ездил из Форт-Райли играть в поло.

— И это было так же противно?

— Наоборот, очень мило. Мне там нравилось, а эта часть Канзас-Сити очень красивая.

— Правда? Мне хочется туда с тобой поехать. А у них там тоже есть туристские лагеря? Такие, где мы сможем с тобой остановиться?

— Конечно. Но мы остановимся в гостинице «Мюльбах»,— там самые огромные в мире кровати,— и сделаем вид, будто мы нефтяные магнаты.

— А где мы поставим наш «кадиллак»?

— Ага, теперь это «кадиллак»!

— Да. Если не хочешь брать большой «бьюик» с гидравлическим управлением. Я объехала на нем всю Европу. Он снят в том номере «Вог», который ты мне послал.

— Придется, пожалуй, выбрать что-нибудь одно,— сказал он.— В общем, ту машину, на которой мы решим поехать, поставим в гараж возле «Мюльбаха».

— А «Мюльбах» очень роскошный отель?

— Необычайно. Тебе понравится. Когда выедем из города, мы двинем на север до Сент-Джо, чего-нибудь выпьем в баре Рубиду, может, закажем и по второй, переедем через реку и свернем на запад. Сначала будешь вести ты, а потом мы сможем меняться.

— То есть как меняться?

— Будем вести по очереди.

— Сейчас веду я.

— Давай поскорее проедем через эти скучные места и доберемся до Чимни-Рока и дальше до Скотсблаффа

и Торрингтона. Вот когда ты увидишь настоящую природу!

— У меня есть все дорожные карты и книжка с советами, где надо обедать, и путеводитель по туристским лагерям и гостиницам.

— И ты все это изучаешь?

— Да, я это изучаю по вечерам, вместе с книжками, которые ты мне послал. А где мы получим права?

— В Миссури. Машину мы купим в Канзас-Сити. А туда мы летим, разве ты забыла? Можно, конечно, сесть и на хороший поезд.

— Я думала, мы полетим до Альбукерке.

— Это в другой раз.

— Мы будем останавливаться, как только стемнеет, в самых лучших гостиницах, по путеводителю. Я приготовлю тебе твой любимый напиток, ты в это время будешь читать газеты и «Лайф», «Тайм» или «Ньюсуик», а я — свеженький «Вог» и «Харперс базар».

— Да. Но мы непременно вернемся в Венецию.

— Конечно. И машину привезем. Мы поедем на итальянском пароходе, выберем самый лучший. А из Генуи на машине прямо сюда.

— Ты не хочешь где-нибудь переночевать по дороге?

— Зачем? Нам надо поскорей попасть домой.

— А где будет наш дом?

— Ну, это мы еще решим. В Венеции всегда сколько угодно домов. А тебе не хочется жить иногда за городом?

— Хочется,— сказал полковник.— Конечно, хочется.

— Тогда, проснувшись, мы будем видеть деревья. А какие деревья мы увидим во время путешествия?

— Главным образом сосну и тополь вдоль ручьев и еще осину. Подожди, ты увидишь, как осенью желтеет осина.

— Ладно, подожду. А где мы остановимся в Вайоминге?

— Сначала заедем в Шеридан, а там будет видно.

— Шеридан — красивое место?

— Замечательное. Мы поедем на машине туда, где шел бой с индейцами,— я тебе о нем расскажу. Потом мы отправимся дальше, в сторону Биллинса, где погиб этот дурень Джордж Армстронг Кэстер, ты увидишь мемориальные доски на том месте, где их всех перебили, а я объясню тебе, как шло сражение.

— Ах, как здорово! А на что Шеридан больше похож: на Мантую, на Верону или на Веченцу?

— Ни на один из этих городов. Он стоит высоко в горах, почти как Скио.

— Значит, он похож на Кортину?

— Ничуть. Кортина — это высокое плато, окруженное горами. Шеридан прилепился прямо к склону. Возле Биг-Хорна нет холмов. Горы поднимаются прямо из долины. Оттуда виден Облачный пик.

— А наши машины туда взберутся?

— Еще как взберутся. Но только я бы предпочел машину без гидравлического управления.

— Да и я могу без нее обойтись,— сказала девушка. Потом она выпрямилась, чтобы не заплакать.— Как и без всего остального.

— Что ты будешь пить?— спросил полковник.— Мы еще ничего не заказали.

— Я, пожалуй, ничего не буду пить.

— Два очень сухих мартини и стакан холодной воды,— сказал полковник бармену.

Он сунул руку в карман, отвинтил крышку у бутылочки с лекарством и вытряхнул две большие таблетки на ладонь левой руки. Держа их, он снова завинтил крышку. Это было не так уж трудно для человека, который нередко обходился без помощи правой руки.

— Я ведь сказала, что ничего не буду пить.

— Ладно, дочка. По-моему, тебе не мешает выпить. Пусть пока постоит. А не то я сам выпью. Пожалуйста, не сердись. Я нечаянно заговорил так резко.

— Мы еще не взяли нашего маленького негритенка, который будет за мной ухаживать.

— Да. Я не хотел его брать, пока не придет Чиприани и я не расплачусь.

— Какие у тебя на все строгие правила!

— Да, строгие,— сказал полковник.— Ты уж меня, дочка, прости.

— Скажи три раза «дочка».

— Hija, figlia [1], дочка.

— Не знаю, что и делать,— сказала она.— Давай лучше отсюда уйдем. Я люблю, когда на нас с тобой смотрят, но сегодня мне никого не хочется видеть.

— Футляр с негритенком лежит на кассе, сверху.

— Знаю. Я давно его заметила.

К ним подошел бармен и принес напитки, холодные

[1] Дочка (*испанск., итал.*).

как лед, судя по запотевшему стеклу бокалов; он подал и стакан воды.

— Принесите тот пакетик, который прислали на мое имя, он лежит сверху на кассе,— сказал полковник.— Скажите Чиприани, что я пришлю ему чек.

Он изменил свое решение.

— Хочешь выпить, дочка?

— Да. Если ты не рассердишься, что я тоже передумала.

Они чокнулись и выпили. Чокнулись они так легко, что бокалы едва коснулись друг друга.

— Ты был прав,— сказала она, чувствуя, как внутри разливается тепло и мгновенно пропадает грусть.

— Ты тоже была права,— сказал он, сжимая в ладони две таблетки.

Он решил, что принять их сейчас с водой неприлично. Поэтому, когда девушка отвернулась, провожая взглядом одного из утренних посетителей, он запил их мартини.

— Ну как, пойдем, дочка?

— Да. Конечно.

— Бармен,— позвал полковник.— Сколько с меня? Не забудьте сказать Чиприани, что за эту ерунду я пришлю ему чек.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Они пообедали в «Гритти», и, развернув негритенка из черного дерева, девушка приколола его у левого плеча. Фигурка была длиной около трех дюймов и довольно красивая, если любишь такие вещи. «А не любят их только дураки»,— думал полковник. «Не смей говорить грубости даже про себя,— сказал он мысленно.— Постарайся получше себя вести, пока вы с ней не распрощались. Что это за слово «прощай»,— думал он.— Так и просится в альбомные стишки».

«Прощай и bonne chance[1], и hasta la vista[2], а мы говорили просто merde[3]. И все тут! Счастливый путь — вот это хорошие слова! Прямо из песни,— думал он.— Счастливый путь, счастливый путь, вот и ступай в дорогу, унося с собой эти слова. И точка»,— думал он.

— Дочка,— сказал он,— давно я не говорил, что тебя люблю?

---

[1] Всего хорошего (*франц.*).
[2] До свидания (*испанск.*).
[3] Дерьмо (*франц.*).

— С тех пор, как мы сели за столик.

— Ну вот, а теперь говорю.

Когда они пришли в гостиницу, она сходила в дамскую комнату и терпеливо расчесала волосы. Вообще она не любила дамских комнат.

Она подкрасила губы, чтобы сделать рот таким, какой любит он, и сказала себе, старательно размазывая помаду: «Только ни о чем не думай. Только не думай. И не смей быть грустной, ведь он уезжает».

— Какая ты красивая.

— Спасибо. Мне хочется для тебя быть красивой, если у меня это выйдет и если я вообще могу быть красивой.

— Какой звучный язык итальянский.

— Да. Мистер Данте тоже так думал.

— Gran Maestro,— позвал полковник.— Чем нас покормят в вашем Wirtschaft?[1]

Gran Maestro искоса наблюдал за ними — ласково и без всякой зависти.

— Вы хотите мясо или рыбу?

— Сегодня не пятница,— сказал полковник.— Рыбу есть не обязательно. Поэтому я буду есть рыбу.

— Значит, камбала,— сказал Gran Maestro.— А вы, сударыня?

— Все, что вы мне дадите. Вы больше меня понимаете в еде, а я люблю все.

— Решай сама, дочка.

— Нет. Пусть решает тот, кто больше меня понимает. Я после пансиона все никак досыта не наемся.

— Я вам приготовлю сюрприз,— сказал Gran Maestro.

У него было длинное доброе лицо, седые брови над чуть дряблыми веками и всегда веселая улыбка старого солдата, который радуется тому, что еще жив.

— Что новенького у нас в Ордене?— спросил полковник.

— Я слышал, что у нашего патрона неприятности. Конфисковали все имущество. Или, по крайней мере, наложили арест.

— Надеюсь, ему не грозит ничего серьезного?

— За патрона можно не беспокоиться. Он пережил бури пострашнее.

— За здоровье нашего патрона!— сказал полковник.

---

[1] Заведение *(нем)*.

Он поднял бокал, наполненный только что откупоренной настоящей вальполичеллой.

— Выпей за него, дочка.

— Не буду я пить за такую свинью,— сказала она.— И к тому же я не принадлежу к вашему Ордену.

— Нет, вы уже в него приняты,— сказал Gran Maestro.— Por merito di guerra [1].

— Тогда, видно, придется за него выпить,— сказала она.— Но я в самом деле принята в Орден?

— Да,— ответил Gran Maestro.— Правда, диплома вы еще не получили, но я назначаю вас Верховным Секретарем. Полковник откроет вам тайны Ордена. Откройте ей все, прошу вас, полковник.

— Сию минуту,— сказал полковник.— А рябых поблизости нет?

— Нет. Он ушел со своей возлюбленной. С мисс Бедекер.

— Тогда другое дело,— сказал полковник.— Сейчас открою. Есть только одна великая тайна, которую тебе надо постичь. Поправьте меня, Gran Maestro, если я допущу ошибку

— Приступайте,— сказал Gran Maestro.

— Приступаю,— сказал полковник.— Слушай внимательно, дочка. Это Высочайшая тайна. Слушай! «Любовь есть любовь, а радость есть радость. Но все замирает, когда золотая рыбка умирает».

— Ты приобщилась к тайне,— возгласил Gran Maestro.

— Я счастлива и очень горжусь, что вступила в Орден,— сказала девушка.— Но, честно говоря, какой-то он грубый, ваш Орден.

— Что верно, то верно,— сказал полковник.— А теперь, Gran Maestro, долой таинственность и скажите, что мы будем есть?

— На первое: жюльен из крабов по-венециански, но холодный. В кокотнице. Потом камбала для вас, а для вас, сударыня, поджарка. Какие прикажете овощи?

— Все, какие есть,— сказал полковник.

Gran Maestro ушел, и полковник сперва посмотрел на девушку, а потом на Большой канал за окном, на волшебные переливы света, которые были видны даже отсюда, из самого дальнего конца бара, ловко переоборудованного в ресторан, и сказал:

— Дочка, я тебе говорил, что я тебя люблю?

[1] За военные заслуги (*итал.*).

— Ты мне давно этого не говорил. Но я тебя люблю.

— А что бывает с людьми, которые любят друг друга?

— У них, наверное, что-то есть — что бы оно ни было,— и они счастливее других людей. А потом одному из них навек суждена пустота.

— Не хочу быть грубым,— сказал полковник.— А то я мог бы тебе ответить. Но, пожалуйста, чтобы не было у тебя никакой пустоты!

— Постараюсь,— сказала девушка.— Я сегодня стараюсь с самого утра, с тех пор как проснулась. Я стараюсь с тех пор, как мы узнали друг друга.

— Вот и старайся, дочка.

Потом полковник сказал Gran Maestro, который отдал свои распоряжения и вернулся:

— Бутылку этого vino seccó[1] со склонов Везувия к камбале. Ко всему остальному у нас есть вальполичелла.

— А мне нельзя запивать поджарку вином Везувия?— спросила девушка.

— Рената, дочка, конечно, можно. Тебе все можно.

— Если уж пить вино, я хочу пить такое, как ты.

— Хорошее белое вино в твоем возрасте идет и к поджарке,— сказал полковник.

— Жалко, что у нас такая разница в возрасте.

— А мне это как раз нравится,— возразил полковник.— Не считая того...— прибавил он и вдруг осекся, а потом сказал:— Давай, будем fraîche et rose comme au jour de bataille[2].

— Кто это сказал?

— Понятия не имею. Я это слышал, когда учился в Collégo des Maréchaux[3]. Довольно претенциозное название, правда? Коллеж я все-таки кончил. Но лучше всего я знаю то, чему выучился у фрицев, воюя с ними. Самые лучшие солдаты — это они. Вот только силы свои рассчитать никак не умеют.

— Давай будем такими, как ты сказал, и, пожалуйста, повтори, что ты меня любишь.

— Я тебя люблю,— сказал он.— Можешь не сомневаться. Уж ты мне поверь.

— Сегодня суббота,— сказал она.— А когда будет следующая суббота?

---

[1] Сухое вино *(итал.)*.
[2] Свежа и румяна, как в день битвы *(франц.)*.
[3] Маршальский коллеж *(франц.)*.

— Следующая суббота — праздник ненадежный, дочка. Покажи мне человека, который что-нибудь может сказать про следующую субботу.

— Ты бы сам сказал, если б захотел.

— Спрошу Gran Maestro, может, он знает. Gran Maestro, когда будет следующая суббота?

— A Pâques ou á la Trinit [1],— сказал Gran Maestro.

— Но почему из кухни не доносится никаких ароматов для поднятия нашего духа?

— Потому, что ветер дует не в ту сторону.

«Да,— думал полковник.— Ветер дует не в ту сторону, а как бы я мог быть счастлив, если бы у меня была эта девушка, а не та женщина, которой я плачу алименты, хотя она не смогла даже родить мне ребенка! А ведь грозилась, что родит. Но разве поймешь, кто тут виноват?» «Ладно, держись,— сказал он себе.— И люби свою девушку.

Она тут, рядом, и хочет, чтобы ее любили, если у тебя осталась хоть капля любви, которую ты можешь ей дать». На него нахлынула горячая волна, как бывало всегда, когда он видел Ренату, и он спросил:

— Ну, как ты, как твои волосы, словно вороново крыло, и лицо, от которого сжимается сердце?

— Хорошо.

— Gran Maestro,— сказал полковник,— сделайте так, чтобы до нас дошли запахи из вашей закулисной кухни, хотя ветер и дует не в нашу сторону.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Портье распорядился; швейцар позвонил по телефону, и им подали ту же лодку, в которой они ехали сюда.

Джексон сел в лодку рядом с чемоданами и портретом, который заботливо упаковали. Ветер дул все так же яростно. Полковник расплатился по счету и роздал положенные чаевые. Служащие гостиницы уложили чемоданы и портрет в лодку и устроили в ней Джексона поудобнее. Потом они ушли.

— Ну вот, дочка,— сказал полковник.

— А мне нельзя доехать с тобой до гаража?

— В гараже будет ничуть не лучше.

— Пожалуйста, разреши мне доехать до гаража.

— Ладно,— сказал полковник.— Дело твое. Садись.

[1] На пасху или на троицу *(франц.)*.— поговорка, соответствующая русской: «После дождичка в четверг».

Они не разговаривали: ветер дул в корму, поэтому при той скорости, которую можно было выжать из жалких останков мотора, казалось, будто ветра нет вовсе.

На пристани Джексон отдал чемоданы носильщику, а портрет понес сам. Полковник спросил:

— Хочешь, простимся здесь?

— А разве иначе нельзя?

— Можно.

— Давай я провожу тебя до бара и подожду, пока подадут машину.

— Так будет еще хуже.

— Пусть.

— Отправьте вещи в гараж и попросите присмотреть за ними, пока не выведете машину,— сказал полковник Джексону.— Проверьте, в порядке ли ружья, и уложите вещи так, чтобы на заднем сиденье было как можно свободнее.

— Слушаюсь, господин полковник,— сказал Джексон.

— Значит, я еду?— спросила девушка.

— Нет,— сказал ей полковник.

— Почему мне нельзя с вами поехать?

— Сама знаешь. Тебя никто не приглашал.

— Почему ты такой злой?

— Господи, дочка, если бы ты знала, как я стараюсь быть добрым! Но человеку легче на душе, когда он злой. Давай-ка расплатимся с нашим приятелем лодочником и посидим вон там на скамейке под деревьями.

Он заплатил хозяину лодки и сказал, что не забудет насчет мотора с «виллиса». Он, правда, посоветовал особенно на это не рассчитывать, хоть дело вполне могло и выгореть.

— Мотор будет подержанный. Но все равно лучше того кофейника, который стоит у вас сейчас.

Они поднялись по истертым каменным ступеням, прошли по дорожке, усыпанной гравием, и сели на скамейку под деревьями.

Черные деревья раскачивались от ветра, и ветви на них были голые. Листья в этом году опали рано, их давно вымели. К ним подошел человек и предложил купить почтовые открытки. Но полковник ему сказал:

— Ступай отсюда, сынок. Тебе тут делать нечего.

Девушка наконец расплакалась, несмотря на решение никогда не плакать.

— Слушай, дочка,— сказал полковник.— Ну что я

могу тебе сказать? На машине, на которой мы с тобой едем, к сожалению, нет амортизаторов.

— Я больше не плачу,— сказала она.— Я не истеричка.

— Нет, этого я про тебя сказать не могу. Я могу сказать, что ты самая красивая и самая милая девушка на свете. Во все времена. На всей земле. Во всем мире.

— Но какой в этом толк, даже если бы это была правда?

— Вот это верно,— сказал он.— Но это правда.

— Ну и что же теперь будет?

— Теперь мы с тобой поцелуемся и скажем друг другу «прощай».

— А что такое «прощай»?

— Не знаю,— сказал он.— Но думаю, что это одно из тех слов, которые каждый толкует по-своему.

— Попробую и я.

— Ты не очень расстраивайся, дочка, слышишь?

— Хорошо,— сказала девушка.— Хотя в нашей машине и нет амортизаторов.

— Тележка, в которой возили на эшафот,— самая подходящая для тебя машина. С того дня, как ты меня узнала.

— Неужели ты не можешь быть добрее хоть сейчас?

— Видно, нет. Но я все время старался.

— Постарайся еще. Это все, что нам остается.

— Конечно, постараюсь.

И они тесно прижались друг к другу и поцеловались, а потом полковник повел девушку по дорожке, усыпанной гравием, и вниз по каменным ступеням.

— Возьми лодку получше. Зачем тебе эта рухлядь с испорченным мотором?

— Я поеду на этой рухляди, если ты не рассердишься.

— Рассержусь?— спросил он.— Нет, я не рассержусь. Я только отдаю приказы и выполняю приказы. Но не сержусь. Прощай, дорогая, прощай, чудо мое.

— Прощай,— сказала она.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Он сидел в дубовой бочке, врытой в дно лагуны,— в Венето из таких бочек стреляют охотники. Это укрытие, где стрелок прячется от тех, кого хочет застрелить, в данном случае — от уток.

Ехали они сюда весело: сначала встретились в гара-

же, а потом приятно провели вечер и вкусно поели,— ужин готовили на открытом очаге в старинной кухне. На заднем сиденье уместилось еще три охотника. Даже те, кто не любил врать, не могли удержаться от преувеличений, а уж вруны превзошли самих себя. «Самозабвенный враль,— думал полковник,— прекрасен, как цветущая яблоня или вишня. Зачем их обескураживать,— думал он,— разве что они переврут координаты».

Полковник всю жизнь коллекционировал врунов, как другие коллекционируют почтовые марки. Правда, он их не раскладывал по сериям и особенно не берег. Он просто радовался, слушая, как они врут, если только, конечно, это не мешало делу. Вчера вечером, после того как все угостились граппой, вранья было хоть отбавляй, но оно было безвредное, и он слушал с удовольствием.

«В комнате было дымно от древесного угля, нет, в очаге, кажется, жгли поленья,— подумал он.— Во всяком случае, враль врет лучше всего, когда в комнате пахнет дымком или после захода солнца».

Он сам два раза чуть было не соврал, но сдержался и только слегка преувеличил. «Будем верить, что только преувеличил»,— подумал он. А вот теперь кругом расстилается замерзшая лагуна, и охота, кажется, пойдет прахом. Но он зря отчаивается.

Вдруг неизвестно откуда появились две шилохвостки, одна ринулась наискось вниз так быстро, как не сумел бы спикировать ни один самолет, и полковник, услышав шум крыльев, вскинул ружье и убил селезня. Тот ударился о лед с такой силой, с какой может удариться только птица, но прежде чем он упал, полковник убил его самку, которая быстро уходила вверх, вытянув длинную шею.

Утка упала рядом с селезнем. «Это же убийство,— думал полковник.— А что в наши дни не убийство? Да, малый, ты еще мастер стрелять! Хорош малый! Ах ты старый калека! Но гляди, вон они летят».

Это были свистухи; сначала они казались прозрачным облачком, которое затвердело, вытянулось и словно растворилось. Потом облачко затвердело снова, и сидевшая на льду утка-предательница стала его подманивать. «Дай им повернуть еще разок,— сказал себе полковник.— Пригни пониже голову и даже бровью не смей шевельнуть. Они сейчас прилетят».

— И они прилетели — на голос предательства.

Они разом сложили крылья для посадки, как опускают закрылки у самолета. Но увидели под ногами лед и

взмыли ввысь. Охотник — уже не полковник, а кто-то другой — поднялся в одной из бочек и подстрелил двух свистух. Они шлепнулись на лед почти так же грузно, как большие утки.

«Хватит нам и двух из одного выводка,—сказал он.— А может, у них не выводок, а племя? Как по-твоему?»

Полковник услышал выстрел за спиной, где, как он знал, не было ни одной бочки; повернув голову, он поглядел через замерзшую лагуну на дальний, поросший осокой берег. «Вот и конец охоте»,— подумал он.

Низко летевшая стайка взвилась в небо; казалось, утки стоят на хвостах, так круто они поднимались.

Полковник увидел, как одна утка упала, и тут же услышал еще выстрел. Это сердитый лодочник стрелял по уткам, которые должны были достаться полковнику.

«Да как же он смеет?»— подумал полковник.

Ему дано охотничье ружье, чтобы добивать подранков, если собака не может их достать и они пытаются уйти. Стрелять по уткам, летящим на бочку, по законам охоты — преступление. Лодочник был слишком далеко, чтобы его можно было окликнуть. Поэтому полковник дал по нему два выстрела.

«Дробь до него не долетит,— думал полковник,— а он, по крайней мере, поймет, что я все знаю. Но какого дьявола ему нужно? Да еще на такой первоклассной охоте? Никогда не видел, чтобы охота на уток шла так гладко и была так превосходно устроена; никогда не стрелял с таким удовольствием, как сегодня. Какая муха укусила этого сукина сына?» Он знал, как ему вредно злиться. Поэтому он принял две таблетки и запил их глотком джина из фляжки — воды у него не было.

Он знал, что и джин ему вреден, и подумал: «Мне вредно все, кроме покоя и самой легкой гимнастики. Вот именно, брат, покоя и самой легкой гимнастики. По-твоему, это легкая гимнастика?»

«Ах ты, чудо мое,— сказал он.— Как бы я хотел, чтобы ты была здесь, мы сидели бы с тобой рядом в бочке на двоих и могли бы касаться друг друга спиной или плечом. Я бы поглядел на тебя и, пуская пыль в глаза, метко подстрелил высоко летящую утку, так, чтобы она упала прямо в бочку, конечно, не задев тебя. А ну-ка, попытаюсь попасть хотя бы в одну»,— сказал он себе, услышав шелест крыльев. Полковник встал, повернулся, заметил одиноко летевшего селезня — красивого, с длинной шеей; быстрые взмахи крыльев уносили его прямо в море. Он

вырисовывался в небе четко и ясно на фоне дальних гор. Полковник высоко вскинул мушку, прицелился и выстрелил.

Селезень упал как раз за бочкой и, ударившись, пробил корку льда. Это был тот лед, который они ломали, расставляя чучела, но воду чуть-чуть затянуло снова. Подсадная утка поглядела на лежащего селезня, переминаясь с ноги на ногу.

— Ты никогда его раньше не видела,— сказал ей полковник.— По-моему, ты даже не видела, как он прилетел. А если и видела, ничего ему не сказала.

Селезень ударился головой, и теперь голова была в воде. Полковник видел красивое зимнее оперение на его грудке и крыльях.

«Я хотел бы подарить ей наряд из птичьих перьев вроде тех, какими в древней Мексике украшали своих богов,— думал он.— Но всех этих уток, наверно, отошлют на рынок, да и кто здесь сумеет содрать с птицы шкурку и выдубить ее? А как бы это было красиво: перья дикого селезня пошли бы на спину, серой утки — на грудь, с двумя полосами из перьев чирка сверху вниз. Вот был бы наряд! Ей бы, верно, понравилось».

«Эх, хоть бы они полетели,— думал полковник.— Несколько глупых уток могло бы залететь сюда. На всякий случай я должен быть наготове». Но утки не появлялись, и он был наедине со своими мыслями.

Из других бочек тоже не было слышно выстрелов, время от времени доносились выстрелы с моря.

При таком ярком свете птицы видят лед и больше сюда не летят; они уходят в открытое море, собираются там стаями и садятся на воду. «Стало быть, охоты больше не будет»,— думал он. Такова уж судьба, хотя ему и хотелось понять, что же все-таки произошло. Он знал, что не заслуживает такого отношения, но вынужден был смириться, как мирился всю жизнь, хотя всегда пытался найти причину. У девушки все началось после драки с матросами. Как-то ночью, когда они гуляли, два матроса ей свистнули, и сначала он не придал этому значения.

Но что-то явно было неладно. Полковник сразу это почувствовал. А потом он в этом уверился, нарочно остановившись под фонарем, чтобы те увидели знаки различия у него на погонах и перешли на другую сторону улицы.

На каждом погоне у него было по маленькому орлу с распростертыми крыльями. Они были вышиты на его

мундире серебром. «Орлы не очень заметные, и ношу я их давно, но все же они видны»,— думал полковник.

Матросы засвистали снова.

— Встань к стенке, если тебе хочется поглядеть,— сказал полковник девушке.— А если нет, отвернись.

— Смотри, какие они высокие и молодые.

— Сейчас станут пониже,— пообещал ей полковник.

Он подошел к свистунам.

— Где ваш береговой патруль?— спросил он.

— Почем я знаю?— сказал высокий матрос.— Мне ведь что надо? Полюбуюсь на дамочку, и все.

— Как ваши фамилии? У вас есть личные номера?

— Почем я знаю?— ответил тот. Другой сказал:

— Если бы и были, стану я тебе говорить, тыловая крыса!

«Старый служака,— подумал полковник, прежде чем его ударить.— Дошлый морячок! Все свои права знает».

Но он все-таки ударил его левой рукой,— то ли снизу, то ли сбоку,— ударил еще раз, и матрос стал падать.

Другой, тот, что свистнул первый, яростно с ним сцепился, хотя и был пьян; полковник двинул ему локтем в зубы, а потом при свете фонаря изо всех сил ударил правой рукой. Затем оглянулся на второго свистуна и понял, что о нем беспокоиться нечего.

Тогда он ударил левой сбоку. А когда матрос попытался выпрямиться, ударил правой. Потом еще раз ударил сбоку левой, повернулся и пошел к девушке; ему не хотелось слышать, как голова стукнется о тротуар.

На ходу он взглянул, как себя чувствует тот, что свалился первый, и увидел, что он мирно спит, уткнувшись в землю подбородком, а изо рта у него течет кровь. Кровь такого цвета, как надо, отметил полковник.

— Плакала моя карьера,— сказал он девушке.— Какова бы она ни была. Но эти типы носят ужасно нелепые штаны!

— Как ты себя чувствуешь?— спросила девушка.

— Прекрасно. Ты все видела?

— Да.

— Утром у меня будут болеть руки,— сказал он рассеянно.— Теперь, по-моему, мы можем спокойно уйти. Давай только пойдем помедленнее.

— Да, пожалуйста, иди медленно.

— Нет, я не то хотел сказать. У нас должен быть такой вид, будто мы не торопимся.

— Мы пойдем как можно медленнее.

И они пошли.
— Хочешь сделать опыт?
— Какой?
— Пойдем так, чтобы на нас жутко было смотреть даже со спины.
— Постараюсь. Но думаю, что у меня ничего не выйдет.
— Ну тогда пойдем просто так.
— Неужели они тебя ни разу не ударили?
— Один раз, и как следует. Второй матрос, когда он на меня кинулся.
— Это и есть настоящая драка?
— Да, если тебе везет.
— А если не везет?
— Тогда и у тебя ноги подкашиваются. И ты падаешь либо вперед, либо назад.
— А ты меня еще любишь, после того, как ты подрался?
— Я люблю тебя еще больше, чем раньше, если это возможно.
— А почему невозможно? Вот хорошо! Я тебя теперь люблю больше. Я не слишком быстро иду?
— Ты идешь, как лань по лесу, а иногда ты ходишь, как волчица или как большой старый койот, когда он никуда не торопится.
— Мне не очень хочется быть большим старым койотом.
— Ты же их никогда не видела,— сказал полковник.— Погоди, еще захочешь. Ты ходишь, как все крупные хищники, когда они не спешат. Только ты совсем не хищник.
— В этом можешь не сомневаться.
— Пройди немножко вперед, а я на тебя погляжу.
Она пошла вперед, и полковник сказал:
—Ты ходишь, как чемпион, пока он еще не стал чемпионом. Будь ты лошадью, я бы тебя купил, даже если бы пришлось занимать деньги у ростовщика из двадцати процентов в месяц.
— Тебе не надо меня покупать.
— Знаю. Речь-то идет не об этом. Речь идет о твоей походке.
— Скажи,— сказала она,— что теперь будет с этими людьми? Я мало понимаю в драках. Может, мне надо было остаться и о них позаботиться?
— Ни в коем случае,— сказал полковник.— Запомни: ни в коем случае. Надеюсь, они схлопотали хоть одно

сотрясение мозга на двоих. Пусть подыхают. Сами виноваты. И никакой уголовной ответственности я не несу. Да и все мы застрахованы. Могу сказать тебе насчет драки только одно...

— Ну, говори!

— Если ты полез в драку, ты должен победить. Вот что важно. Все остальное не стоит и выеденного яйца, как говорил мой старый друг доктор Роммель.

— Неужели тебе правда нравился Роммель?

— Очень.

— Но ведь он был твой враг.

— Я люблю своих врагов иногда больше, чем друзей. А моряки всегда выигрывают во всех сражениях. Это я усвоил в доме, который зовется Пентагоном, когда мне еще разрешали входить туда через парадные двери. Хочешь, прогуляемся или даже сбегаем назад и спросим тех двоих, верно ли это.

— Сказать по правде, Ричард, с меня хватит на сегодня и одной драки!

— Говоря откровенно, и с меня тоже,— признался полковник.— Но сказал он это по-итальянски, начав фразу с «Anch'io».— Давай зайдем к «Гарри», а потом я провожу тебя домой.

— Ты не ушиб раненую руку?

— Нет! Только раз его стукнул по голове,— объяснил он.— А больше бил по туловищу.

— Можно мне ее потрогать?

— Да, только потихоньку.

— Но она ужасно распухла!

— Перелома нет, а опухоль всегда быстро спадает.

— Ты меня любишь?

— Да. Я люблю тебя двумя довольно вспухшими руками и всем сердцем.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

«Вот как это было, и в тот день, а может, в какой-нибудь другой, произошло чудо. А ты о нем и не подозревал,— думал полковник.— Случилось величайшее чудо, но ты ничего для этого не сделал. Правда, ты, сукин сын, никак этому и не препятствовал». Стало еще холоднее, чистая вода снова покрылась коркой льда, а подсадная утка даже перестала смотреть на небо. Она теперь забыла о предательстве, тревожась только о своей судьбе.

«Ну и сука,— думал полковник.— Хотя я знаю, что это несправедливо. Ведь измена — ее ремесло. Но поче-

му самка приманивает лучше, чем селезень? Кому же это знать, как не тебе,— думал он.— Хотя и это неправда. А что же правда? Самцы все-таки приманивают лучше».

«Только не думай о ней! Не думай о Ренате, пользы от этого не будет. Тебе это даже вредно. И ты ведь с ней уже распрощался. Господи, что это было за прощание! Не обошлось даже без эшафота. А она ведь полезла бы за тобой и на этот чертов эшафот. Если бы эшафот был настоящий. Распроклятое ремесло,— думал он.— Любить и расставаться. Людям от этого бывает больно.

Кто тебе дал право связываться с такой девушкой?

Никто. Меня познакомил с ней Андреа.

Но как она могла полюбить такого несчастного сукина сына?» «Не знаю,— ответил он искренне.— Искренне говорю, что не знаю».

Он и не подозревал, что девушка его любит за то, что он никогда не чувствует себя несчастным, есть у него сердечный приступ или нет. Горе он испытывал, и страдание тоже. Но несчастным он себя не чувствовал ни разу в жизни. Особенно по утрам.

Таких людей на свете почти не бывает, и девушка, хоть и очень молодая, сразу это поняла.

«Сейчас она дома и спит,— думал полковник.— Там ей и место, а не в какой-то чертовой бочке для охоты на уток, да еще когда все чучела, как назло, вмерзли в лед.

И все же, если бы эта бочка была на двоих, как бы я хотел, чтобы она была здесь; она могла бы смотреть на запад, не появится ли оттуда вереница уток. Но она бы тут замерзла. Может, мне удастся выменять у кого-нибудь настоящую куртку на пуху — продать ее никто не продаст. Такие куртки как-то по ошибке выдали летному составу. Я бы мог узнать, как их стегают и заказать ей такую куртку на утином пуху,— думал он.— Я бы нашел хорошего портного, он бы ее скроил двубортной, без кармана справа и нашил кусок замши, чтобы не цеплялся приклад».

«Так и сделаю,— сказал он себе.— Так и сделаю или достану такую куртку у какого-нибудь франта, а потом дам перешить ей по росту. Надо бы достать ей хорошее ружье — «Парди-12», только не слишком легкое, или пару «боссов». У нее должны быть ружья не хуже, чем она сама. Да, пожалуй, лучше всего два ружья «Парди».

В этот миг он услышал легкий шорох крыльев, быстро машущих в небе, и взглянул вверх. Но птицы летели слишком высоко. Полковник только поднял на них глаза.

Птицы летели так высоко, что им была видна бочка и он в бочке, и вмерзшие в лед чучела с невеселой подсадной уткой, которая их тоже видела и громко закрякала, как раболепный Иуда. Утки — это были шилохвостки — спокойно продолжали свой лет к морю.

«Я никогда ей ничего не дарю — это она мне правильно сказала. Не считая негритенка. Но разве это подарок? Она сама его выбрала, а я только купил. Так подарков не дарят.

Эх, как бы я хотел подарить ей уверенность в завтрашнем дне, но ее больше не существует. Я бы хотел подарить ей мою любовь, но она ничего не стоит; мои богатства, но их, в сущности, нет, если не считать двух хороших охотничьих ружей, солдатского обмундирования, орденов, медалей и книг. Да еще полковничьей пенсии».

«Всеми моими земными благами одарю я тебя»,— думал он. «А она подарила мне свою любовь, камни, которые я ей вернул, и портрет. Что ж, и портрет я всегда могу отдать обратно. Я бы мог отдать ей мое кольцо,— думал он,— но куда, черт возьми, я его дел?

Разве она возьмет мой Крест за боевые заслуги с дубовыми листьями, или две Серебряные звезды, или весь остальной мусор — даже ордена ее родины? Или Франции? Или Бельгии? Да и не надо. Больно уж это смахивает на похороны. Лучше я отдам ей свою любовь. Но как ее, проклятую, пошлешь? И как ее сохранить, чтобы она не увяла? Не положишь ведь ее на лед?

А может, теперь кладут? Надо спросить. А как мне достать этот чертов мотор для старика?»

«Найди. Находить выход из положения было твоим ремеслом. Находить выход из положения, когда в тебя стреляют,— поправился он.

Жаль, что у того стервеца, который портит мне охоту на уток, нет настоящего ружья; правда, его нет сейчас и у меня. Мы бы с ним быстро выяснили, кто умеет находить выход из положения. Даже в этой вонючей бочке, посреди болота, где нельзя маневрировать. А ему бы пришлось подойти совсем близко, чтобы меня достать».

«Брось,— сказал он себе,— и подумай лучше о девушке. Ты больше не хочешь убивать, никого и никогда».

«Кому ты морочишь голову?— сказал он себе.— Ты что, в святые записался? Что ж, попробуй, как это у тебя выйдет. Ей ты тогда больше понравишься. Ты уверен? Нет, не уверен,— признался он откровенно.— Видит бог, не уверен». «А вдруг я стану святым перед самой смер-

тью? Да,— сказал он,— может быть. Ну, кто хочет на это поставить?»

— Ты на это поставишь?— спросил он подсадную утку.

Но она смотрела в небо за его спиной и потихоньку вела свой мирный, крякающий разговор.

Утки пролетали слишком высоко, не сворачивая. Взглянув вниз, они летели дальше, к морю.

«Видно, они в самом деле сядут там на воду,— думал полковник.— А где-нибудь в лодке их поджидает охотник. Они подлетят с подветренной стороны совсем близко, и кто-нибудь непременно их подстрелит. Но что ж, когда этот охотник начнет стрелять, несколько уток могут кинуться назад, в мою сторону. Но ведь все замерзает, мне давно бы пора уехать, зачем я сижу тут, как болван?

Я настрелял достаточно дичи и охотился не хуже, а даже лучше, чем всегда. Конечно, лучше,— думал он.— Никто не стреляет здесь лучше тебя, разве что Альварито, он еще совсем мальчишка и потому стреляет быстрее. Но ты убиваешь меньше уток, чем многие плохие и даже средние стрелки. Да, знаю. И знаю почему: мы ведь за количеством больше не гонимся, мы ведь теперь живем не по уставу, разве ты не помнишь?»

Он вспомнил, как однажды, по прихоти войны, он встретился ненадолго со своим лучшим другом; это было во время битвы в Арденнах, и они гнали противника.

Стояла ранняя осень, вокруг была гористая местность с песчаными дорогами и тропками, поросшая низкорослыми дубками и соснами. На влажном песке отпечатались следы вражеских танков и полугусеничных машин.

Накануне шел дождь, но теперь прояснилось, видимость была хорошая, можно было разглядеть даже дальние холмы, и они с другом внимательно рассматривали все кругом в бинокль, словно охотились за дичью.

Полковник, который в ту пору был генералом и заместителем командира дивизии, знал, сколько прошло вражеских машин. Он знал, когда у противника кончатся мины и сколько примерно патронов у них еще осталось. Он рассчитал, где немцам придется принять бой, прежде чем они достигнут линии Зигфрида. Он был уверен, что они не станут драться ни в одном из тех двух мест, где ожидали боев, и поспешно отойдут дальше.

— Мы довольно далеко забрались для людей нашего

высокого звания, Джордж,— сказал он своему лучшему другу.

— Смотрите не зарвитесь, генерал.

— Ничего, все в порядке,— сказал полковник.— Хватит нам жить по уставу, теперь мы просто вышвырнем их вон.

— С превеликой радостью, генерал. Тем более, что устав писал я сам,— сказал его лучший друг.— Ну, а если они там оставили заслон?

Он показал на то место, где, по логике вещей, противник должен был перейти к обороне.

— Ничего они там не оставили,— заявил полковник.— У них нет снаряжения даже для пожарной команды.

— Человек всегда прав, пока не ошибется,— сказал его лучший друг и добавил:— Господин генерал.

— Да, я прав,— сказал полковник.

Он и в самом деле был прав, хотя для того, чтобы получить нужные сведения, ему пришлось слегка нарушить принципы Женевской конвенции.

— Ну что ж, в погоню так в погоню!— сказал его лучший друг.

— Мешкать нам нечего, я ручаюсь, что они не задержатся в этих двух пунктах. И открыл мне это не какой-нибудь фриц. А собственная смекалка.

Он еще раз оглядел местность, услышал, как в ветвях шумит ветер, как пахнет вереск под ногами, и еще раз посмотрел на отпечатки гусениц на мокром песке — этим дело и кончилось.

«Интересно, понравилась бы ей такая история?— подумал он.— Нет, мне рассказывать ее нельзя. Уж больно я в ней хорош. Вот если бы кто-нибудь другой ей рассказал, да еще и расписал бы меня получше... Джордж рассказать не может. Он единственный, кто бы мог это сделать, но, увы, не может. Да уж, черта лысого он теперь сможет!

Я бывал прав в девяноста пяти случаях из ста, а это чертовски высокий процент даже в таком простом деле, как война. Но и те пять процентов, когда ты не прав, не шутка.

— Нет, я не расскажу тебе эту историю, дочка. Это только неясный шум у меня в сердце. В моем проклятом, никчемном сердце. Да, это поганое сердце не может за мной угнаться».

«А вдруг оно еще может?— подумал он, проглотил две таблетки, запив их глотком джина, и поглядел на се-

рую пелену льда.— Сейчас крикну тому хмурому парню, снимусь с места и поеду на ферму, или как там ее — охотничий домик, что ли. Охоте все равно конец».

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Полковник выпрямился, дал два выстрела в пустое небо и замахал рукой лодочнику, подзывая его к себе.

Лодка шла медленно, всю дорогу приходилось раскалывать лед; лодочник собрал деревянные чучела, поймал подсадную утку, сунул ее в мешок и с помощью собаки, у которой на льду разъезжались лапы, подобрал убитых уток. Гнев у лодочника явно прошел, и вид у него был довольный.

— Немного же вы настреляли,— сказал он.

— С вашей помощью.

Больше они ничего не сказали друг другу, и лодочник аккуратно разложил уток на носу грудками кверху, а полковник подал ему ружья и складной стул с ящиком для патронов.

Полковник влез в лодку, а лодочник проверил, не забыто ли что-нибудь в бочке, и снял с крючка нечто вроде передника с кармашками для патронов, который там висел. Потом он тоже сел в лодку, и они медленно, с трудом поплыли по замерзшей лагуне туда, где виднелась бурая вода канала. Полковник с силой отталкивался кормовым веслом, как и по дороге сюда. Но теперь, при ярком свете солнца, видя снежные вершины гор на севере и полоску осоки, обозначавшую вход в канал, они работали дружно. Вот они вошли в канал, с треском соскользнув в кромки льда; лодка двинулась легко, и, отдав весло лодочнику, полковник сел. С него лился пот.

Собака, дрожавшая у его ног, перелезла через борт лодки и поплыла к берегу. Стряхивая воду со своей белой, свалявшейся шерсти, она скрылась в зарослях коричневой осоки и кустарника; по колыханию кустов полковник мог проследить ее путь домой. Колбасы она так и не получила. Полковник чувствовал, что он весь потный, и, хотя теплая куртка защищала его от ветра, все же принял две таблетки из бутылочки и отхлебнул глоток джина из фляжки.

Фляжка была плоская, серебряная, в кожаном футляре. Под футляром, уже засаленным и потертым, было выгравировано: «Ричарду от Ренаты с любовью». Никто не видел этой надписи, кроме девушки, полковника и гравера, который ее делал. Надпись выгравировали не

там, где купили фляжку. «Это было в самом начале,— думал он.— Кто бы теперь стал прятаться?» На завинченном колпачке было выгравировано: «Р. К. от Р.».

Полковник протянул фляжку лодочнику, тот посмотрел сначала на него, потом на фляжку и спросил:

— Что это?

— Английская граппа.

— Попробуем...

Он отхлебнул большой глоток, как все крестьяне, когда пьют из фляжки.

— Спасибо.

— А вы хорошо поохотились?

— Убил четырех уток. Собака подобрала еще трех подранков, подбитых другим.

— Зачем вы стреляли?

— Да я теперь и сам жалею, что стрелял. Со зла, наверно.

«А я разве так не поступал?»— подумал полковник и не спросил, из-за чего тот злился.

— Жаль, что лёт такой плохой.

— Бывает,— сказал полковник.

Полковник следил за тем, как в камышах в высокой траве движется собака. Вдруг она сделала стойку и замерла. Потом прыгнула. Прыгнула высоко и, распластавшись, нырнула вниз.

— Нашла подранка,— сказал он лодочнику.

— Бобби,— крикнул тот.— Апорт! Апорт!

Осока заколыхалась, из нее появилась собака, неся в пасти дикого селезня. Серовато-белая шея и зеленая голова покачивались, как головка змеи. В этом движении была обреченность.

Лодочник поставил лодку носом к берегу.

— Я возьму,— сказал полковник.— Бобби!

Он вынул селезня из пасти собаки, державшей его очень осторожно; птица была цела и приятна на ощупь. Сердце у нее билось, а в глазах стояло отчаяние и ужас перед неволей. Полковник внимательно ее осмотрел, поглаживая ласково, как гладят лошадь.

— Ему только задели крыло,— сказал он.— Давай его оставим живым манком либо выпустим весною на волю. Возьмите-ка его и посадите в мешок.

Лодочник бережно взял селезня и посадил его в холщовый мешок, который лежал на носу. Полковник услышал, как подсадная утка сразу же закрякала. «Может, она оправдывается,— подумал он.— Трудно понять ути-

ный разговор через холстину мешка».

— Выпейте еще глоток,— сказал он лодочнику.— Сегодня чертовски холодно.

Лодочник взял фляжку и снова отхлебнул как следует.

— Спасибо,— сказал он.— Да, хороша ваша граппа.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

На причале, перед длинным, низким каменным зданием на самом берегу канала, были разложены убитые утки. Они были разложены неравными кучками. «Тут всего несколько взводов, ни одной роты, а у меня едва ли наберется и отделение»,— подумал полковник.

Старший егерь, в высоких сапогах, короткой куртке и сдвинутой на затылок старой фетровой шляпе, ждал их на берегу и, когда они подошли, скептически посмотрел на уток, лежавших в лодке.

— Возле нашей бочки вода замерзла,— сказал он.

— Так я и думал,— сказал старший егерь.— Обидно. А ведь ваше место считается лучшим.

— Кто убил больше всех?

— Барон настрелял сорок две. Там течение, и воду затянуло не сразу. Вы, наверно, не слышали выстрелов, потому что ветер дул в другую сторону.

— А где же остальные?

— Все разъехались, кроме барона,— он вас ждет. Ваш шофер спит в доме.

— Как и следовало ожидать,— сказал полковник.

— Разложи уток как положено,— сказал старший егерь лодочнику, который был и егерем тоже. Мне надо записать их в охотничью книгу.

— В мешке у нас еще селезень, у него подбито крыло.

— Хорошо. Я за ним присмотрю.

— Я пойду повидаюсь с бароном. С вами я еще не прощаюсь.

— Вам надо хорошенько согреться, полковник,— сказал старший егерь.— Сегодня настоящий мороз.

Полковник направился в дом.

— Мы еще увидимся,— сказал он лодочнику.

— Да, полковник,— ответил тот.

Барон Альварито стоял посреди комнаты, у камина. Он улыбнулся своей застенчивой улыбкой и сказал, как всегда, негромко:

— Обидно, что вам сегодня не удалось пострелять как следует.

— Нас совсем затянуло льдом. Но я все равно получил большое удовольствие.

— Вы очень замерзли?

— Не очень.

— Давайте чего-нибудь поедим.

— Спасибо. Я не голоден. А вы ели?

— Да. Остальные поехали по домам, и я отдал им свою машину. Вы довезете меня до Латизаны или куда-нибудь поблизости? Оттуда я уже доберусь.

— Конечно.

— Вот беда, что вода замерзла. Виды на охоту были прекрасные.

— За лагуной, наверно, тьма уток.

— Да. Но они там не останутся, раз у них вся пища подо льдом. Ночью двинутся на юг.

— Неужели все улетят?

— Все кроме наших местных уток, которые тут вывелись. Те побудут здесь, пока вся вода не замерзнет.

— Обидно, что с охотой так получилось.

— Обидно, что вам пришлось столько ехать из-за нескольких уток.

— Я люблю всякую охоту,— сказал полковник.— И люблю Венецию.

Барон Альварито отвел глаза и протянул руки к огню.

— Да,— сказал он.— Все мы любим Венецию. А вы, может, больше всех.

Полковнику не хотелось вести светскую беседу на эту тему, и он сказал:

— Вы-то знаете, как я ее люблю.

— Знаю,— ответил барон. Взгляд у него был рассеянный. Помолчав, он сказал:— Пора будить вашего шофера.

— А он поел?

— Поел и поспал, а потом опять поел и поспал. И немножко почитал книжку с картинками, которую привез с собой.

— Комиксы,— сказал полковник.

— Надо бы мне научиться их читать,— сказал барон. Он улыбнулся застенчивой, затаенной улыбкой.— Вы бы не могли мне достать их в Триесте?

— Сколько хотите,— сказал полковник.— И похождения сверхчеловека, и уж совсем фантастические. Почитайте их вместо меня. Послушайте, Альварито, что с егерем, который был на моей лодке? Поначалу он просто видеть меня не мог.

— Это из-за вашего мундира. Военная форма союзников всегда на него так действует. Видите ли, его чересчур ретиво освобождали.

— То есть, как?

— Когда пришли марокканцы, они изнасиловали его жену и дочь.

— Мне, пожалуй, надо чего-нибудь выпить,— сказал полковник.

— Там, на столе, есть граппа.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Они довезли барона до огромных ворот и аллеи, посыпанной гравием,— вилла, к счастью, стояла больше чем в шести милях от ближайшего военного объекта и не пострадала от бомбежки.

Полковник распрощался с Альварито, тот пригласил его приезжать на охоту хоть каждое воскресенье.

— Может, вы все-таки к нам зайдете?

— Нет. Мне надо назад, в Триест. Передайте привет Ренате.

— Непременно. Это ее портрет лежит у вас на заднем сиденье?

— Да.

— Я скажу ей, что вы хорошо поохотились и что портрет в полной сохранности.

— И не забудьте передать ей привет.

— Не забуду.

— Ciao, Альварито, большое спасибо.

— Ciao, полковник. Если можно говорить ciao полковнику.

— А вы забудьте, что я полковник.

— Это очень трудно. До свиданья, полковник.

— В случае непредвиденных обстоятельств, попросите ее зайти в «Гритти» и взять портрет.

— Хорошо, полковник.

— Ну, кажется, все.

— Прощайте, полковник.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Они выехали на дорогу, и ранняя тьма стала сгущаться вокруг.

— Сверните налево,— сказал полковник.

— Но ведь та дорога не на Триест, господин полковник,— сказал Джексон.

— Ну и шут с ней, с дорогой на Триест. Я приказал вам свернуть налево. Вы думаете, на свете только одна дорога на Триест?

— Нет, господин полковник. Я только хотел обратить внимание господина полковника...

— А вас, черт возьми, никто не просит обращать мое внимание на что бы то ни было! И пока я сам не заговорю, извольте молчать.

— Слушаюсь, господин полковник.

— Извините, Джексон. Я хотел сказать, что знаю, куда ехать, и мне хочется спокойно подумать.

— Так точно, господин полковник.

Они ехали по старой дороге, которую он так хорошо помнил, и полковник думал: «Ну вот, я послал четыре обещанных утки в «Гритти». Охота была не очень удачная, жене того парня немного достанется перьев. Да, от перьев ей проку не будет. Но утки крупные, жирные — просто объедение. Эх, забыл дать Бобби колбасы».

Написать Ренате записку не было времени. Но что бы я мог написать в записке, кроме того, что мы сказали друг другу? Он сунул руку в карман и достал карандаш и блокнот. Включив лампочку для чтения карты, он раненой рукой написал заглавными печатными буквами короткий приказ.

— Спрячьте в карман, Джексон, и, если придется, действуйте соответственно. Если произойдет то, что здесь указано, выполняйте.

— Слушаюсь, господин полковник,— сказал Джексон и, взяв свободной рукой сложенный листок, сунул его в верхний левый карман мундира.

«Ну, а теперь отдыхай,— сказал себе полковник.— У тебя осталась одна забота — о себе, а это уже роскошь.

Армии Соединенных Штатов ты больше не нужен. Тебе это ясно дали понять. С девушкой своей ты простился, и она простилась с тобой. Тут дело обстоит совсем просто. Стрелял ты хорошо, и Альварито все понимает. Ну что ж.

Так какого черта ты волнуешься? Ты же не из тех хлюстов, которые беспокоятся, что с ними будет, когда уже все равно ничем не поможешь? Думаю, что ты не такой». И тут его схватило — он этого ждал с тех пор, как они собрали чучела. «Еще два раза — и конец,— думал он,— хотя мне обещали, что я выдержу четыре. Я всегда был везучий, как последний сукин сын».

Тут его опять схватило, и очень сильно.

— Джексон,— сказал он,— знаете, что однажды сказал генерал Томас Джексон? В тот раз, когда его настигла безвременная кончина? Я даже выучил это наизусть. За достоверность, конечно, не ручаюсь. Но так, во всяком случае, передают. «А.-П. Хиллу приготовиться к атаке»,— сказал он. Потом начал бредить. А потом сказал: «Нет, нет, давайте переправимся и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев».

— Очень интересно, господин полковник,— сказал Джексон.— Верно, это был Джексон Каменная Стена, господин полковник?

Полковник хотел ответить, но осекся, потому что его схватило в третий раз и стиснуло так, что он понял: вот и конец.

— Джексон,— сказал полковник,— поставьте машину на обочину и погасите фары. Вы знаете, как ехать отсюда в Триест?

— Да, господин полковник. У меня есть карта.

— Хорошо. Я сейчас перейду на заднее сиденье этой дерьмовой сверхроскошной машины.

Это были последние слова, которые полковник произнес в своей жизни. Но до заднего сиденья он добрался и даже закрыл за собой дверцу. Он закрыл ее тщательно и плотно.

Через некоторое время Джексон повел машину с зажженными фарами по дороге, вдоль канавы, обсаженной ветлами, и стал искать, где бы ему повернуть. Наконец он осторожно развернулся. На правой стороне дороги, став лицом к югу — к развилку, от которого шло знакомое шоссе на Триест,— Джексон зажег свет в кабине, вынул листок с приказом и прочел:

В СЛУЧАЕ МОЕЙ СМЕРТИ УПАКОВАННУЮ КАРТИНУ
И ДВА ОХОТНИЧЬИХ РУЖЬЯ ИЗ ЭТОЙ МАШИНЫ
ВЕРНУТЬ В ГОСТИНИЦУ «ГРИТТИ», ВЕНЕЦИЯ,
ГДЕ ИХ ПОЛУЧИТ ЗАКОННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ.

Подпись: *Ричард Кантуэлл,*
полковник пехотных войск США.

«Не беспокойся, вернут законным порядком»,— подумал Джексон и включил первую скорость.

СОДЕРЖАНИЕ

Эрнест Хемингуэй

ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

Редактор *А. Тимофеева.* Художник *А. Егизбеков.* Художественный редактор *Л. Тетенко.* Технический редактор *Н. Галицкая.* Корректор *Д. Аханькова.*

ИБ № 3864

Сдано в набор 12.03.86. Подписано к печати 26.05.86. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,2. Усл. кр.-отт. 20,5. Уч.-изд. л. 21,9. Тираж 600 000 экз. (5-й завод —400001—500000 экз.). Зак. № 405. Цена в переплете № 7— 2 р. 20 к., в обложке —1 р. 80 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Полиграфкомбинат производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480002, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 41.

2р. 20к.


Эрнест Хемингуэй
За рекой, в тени деревьев